

Генрих Сапгир

Генрих Сапгир

АРМАКЕДОН



МИНИ-РОМАН

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МИНИ-
РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

АРМАКЕДОН

«Руслан Элинин»

Генрих Сапгир

АРМАГЕДОН

Художественное оформление и иллюстрации
Александра Юликова

Генрих Сапгир.

с 20 **Армагеддон.** Мини-роман, повести, рассказы.

М.: Издательство Руслана Элинина, 1999. — 336 с.

Генрих Сапгир — известный поэт, детский писатель и автор сценариев популярных мультфильмов. Настоящая книга представляет в основном его позднюю прозу средних размеров — мини-роман, повести и рассказы. Ирония и гротеск, фантастика и психологизм ситуаций, парадоксальное мировоззрение автора делает эту книгу остросовременной и интересной для широких слоёв читателей.

Генрих Сапгир

АРМАЈЕДДОН

МИНИ-РОМАН

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ



Издательство
Руслана Элинина

Москва 1999

СОДЕРЖАНИЕ

Сингапур (мини-роман)

7

ПОВЕСТИ

111

Дядя Володя

113

Армагеддон

165

Бабье лето и несколько мужчин

235

РАССКАЗЫ

255

Коктебельские встречи

257

Пустоты

267

Голова сказочника

279

Соседи

289

Ангел Алексей Иоанович

297

Оружие

303

Человек с золотыми подмышками

309

Человек со спины

319

Камни

327

СИНГАПУР

мини-роман

Бабочка в полете –
Тысяча крылышек –
Одна душа.

(хокку - 13 век)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Длинная трубочка, свернутая на конус из тонкого листа латуни. На конце – отогнутый назад коготь. Надела на палец и стала таиландочкой. Глаза газели улыбнулись – щеко-тала мне подбородок, слегка царапнула. От тебя и пахло теперь по-другому: чем-то пряным, сладким, гнилостным. Кругом по-прежнему стены, пестрая мебель. В белом окне уходит вверх зимняя Москва, будто она такая узкая и – в горах, крыши над крышами, – напоминает дагестанское селение, вот только купол с крестом золотится. Старая Москва в районе Покровки.

Ты приближаешь лицо почти вплотную. Глаза шире лица.
– Увези меня в Таиланд.

По всему вечернему Бангкоку шляются длинноволосые парни и узкобедрые женщины, их плоские лица улыбаются. Мы их видим в просвете полураскрытой двери, там где должен быть коридор – неестественное солнце. Я беру тебя, легкую, узкую, как таиландку, на руки, усаживаю в твою коляску и вкатываю тебя прямо в Сиам Центрум.

Витрина элегантнейшего магазина: черные шелковые платья, разрисованные рубашки из тончайшего батика, золотые зажигалки, сумочки из кожи питона – ты остановилась пораженная, даже поехала назад.

Снизу, с тротуара, протягивает к тебе, к твоим коленям, остро торчащим над выдвигной ступенькой, свои изуродованные проказой руки нищий – полусидит, толстая слоновья пятка вывернута наружу гниющим развороченным мясом. Господи! Там дальше из темной улочки вдруг повеяло чем-то сладким, соевым, тошнотворным, запахом густым, как соус, – тропиками, востоком.

Испуганно я потянул кресло назад – через порог в нашу квартиру. Как это у нас получается? Не знаю, мы даже не туристы, обыкновенная женатая пара, москвичи не первой

молодости, к тому же у тебя отказали ноги — и мы не можем путешествовать и ходить в походы, как бывало в студенческие годы. Может быть поэтому мы научились попадать в разные места, обычно от нас удаленные, другим способом.

Когда это нам открылось, мне показалось, никакого секрета и особой сложности здесь нет. Механизм прост. Все дело в интуиции. Иногда, обычно в сумерки, мы начинаем чувствовать особую теплоту, тягу друг к другу.

Раньше я брал тебя из кресла на руки, легкая, ты крепко обнимала меня за шею: «Какая у тебя шелковистая гривка!» — и мы оказывались вдвоем на кушетке, на полу, в ванной, где придется. Обычно ты не снимала легкой юбки, просто сдвигала шелковые трусики. Очень скоро мы начинали чувствовать себя одним — единым. И вот это четвероногое и двухголовое существо могло оказаться где-нибудь на песке у моря или на крыше нью-йоркского небоскреба, например. Нас пугали сначала такие мгновенные и странные перемещения. Открываешь глаза, а ты где-нибудь в пойме Амазонки. Скорей, скорей отсюда, в жидкой грязи уже плеснуло хвостом и задвигалось... Ну, не мешкай! — где ты? — скорей уноси нас...

И вкидывает нас обратно на холодный пол нашей кухни. Или на клетчатый плед. Впрочем, научились перемещаться по желанию, хотя и не совсем. В последнее время все больше Сингапур нам показывают или в Таиланд заманивают. Пожалуй, ни я, ни моя жена не протестуем, хотя каждый раз это случается неожиданно и не всегда во время нашей близости. Что-то там меняется в таинственном механизме, работающем с нами и в нас, но пока что ничто не угрожает.

Глаза твои заслоняют все. Узкие смуглые руки обвивают меня. С карниза вдоль окна свисает толстый ярко узорный удав.

Головка его покачивается и тянется к нам. В кресле мой смятый халат, поперек ворсистой ткани сползает узкий пояс, нет, это бледная ядовитая змейка. На комод, на стол, уставленном темными фигурками и цветами, сбоку на полке и в алтаре — всюду свернулись, повисли, дремотно раскачиваются в сизом дыму курений ядовитые гадюки, кобры. Аро-

матный дым постоянно погружает их в полусонное состояние. Одна лениво скользит плоской головкой по длинному телу своей подруги.

Служитель сказал, что можно потрогать. Опережая тебя, провожу пальцем вдоль плоской черепушки, змея на ощупь зернистая, сухая — точь в точь кошелек из змеиной кожи. Чувствуя нажим моей подушечки, она медленно приподняла голову и уставилась на нас тусклыми бусинами. Мы замерли. Ничто, буквально, пустота смотрит на нас, раздумывая, ужалить или все равно. Или все равно ужалить.

Благородная смерть поползла вниз, серый поясok от твоего китайского халатика, сползает на колесо коляски.

Но внизу вокруг медных кронштейнов с пучком курительных палочек лежат куриные яйца, и змейка передумала. Стремительно скользнула туда — и вот уже ее головка (пятна и глазки как нарисованные) натягивается на смуглый овал яйца, как чулок.

В другом зале Змеиного храма фотографируют туристов. Я медленно вкатил тебя туда, бритый молодой монах склонился смуглым выбритым досиня затылком с ложбинкой, приглашая нас к змеиным объятиям — запечатлеться. Вдруг я окаменел. Тощая всклокоченная американка яростно хохочет всеми крупными, яркими, верно, вставными, руки, шею и волосы обвивают змеи, настоящая Медуза Горгона. Вокруг сверкают молнии — в три блица ее фотографируют спутники. Будет что показать дома, где-нибудь в Алабаме на воскресном пикнике.

Другой монах в красном — он протягивает к тебе сразу двух удавов, они ползут к тебе по воздуху и уже готовы обвиться вокруг твоих гладких темных волос. Неожиданно вся содрогнувшись, ты уклонилась от змеиных ласок и объятий. И я вспомнил: узкая, гибкая, ты принимала меня, втягивала по-змеиному — и уже в памяти растягивающаяся головка гюрзы, надетая на куриное яйцо. Видимо, ты вспомнила нечто подобное — окружающее затуманилось и механизм сработал, иначе выразиться не могу.

Мы не спеша двигаемся, скользя друг по другу, я — по твоей спине, срастаясь и разъединяясь, ты разрастаешься

вокруг, и теперь уже совсем — пряный куст с желтыми цветами, в который проваливаемся мы оба...

Прозвонил телефон. Рядом с нами — на постели. В белой раме белая Москва в высоту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весной я научился уходить один. В кармане у меня лежал магический предмет — хрустальная пробка. Я выходил из дома, будто бы за сигаретами. Ненадолго. Иначе были бы расспросы: куда, зачем, почему она не со мной, можно взять такси, если далеко. Шел не по улице, там она могла меня увидеть, просто уходил в глубину двора и дальше — выломанный железный прут в ограде.

На пустыре среди гаражей я присаживался на длинной скамье, будто обглоданной каким-то чудовищным животным, перед четырьмя столбиками — прежде это был стол. Вынимал из кармана хрустальную пробку — она вспыхивала на солнце. И, поворачивая ее, медленно, всеми гранями, погружался в это мерцание — в транс.

На лужайке перед храмом стоящего Будды играли дети. В быстро сгущающихся сумерках Будда глядел с высоты. Плоское золотое лицо его было непроницаемо. Он стоял, прислонясь к наружной стене храма — голова выше храма. Желтый плащ паломника ниспадал вниз крупными складками. Детские голоса одиноко и пронзительно перекликались в сиреневающем воздухе. Стриженная скелетообразная нищая лежала на каменных ступенях ничком.

В пролом от нашего дома выскочила черная собачонка, за ней следом вышел пожилой усатый (я давно заметил: похож, похож на меня, не на меня, с которым происходит, а на меня, который наблюдает). Конечно, он не видел ни храма, ни стриженной, иначе он не наступил бы на алюминиевую миску и не прошел бы сквозь простертое в молитве тело, да и в гранитные ступени он погружался почти по колено. Бегло кивнув мне, усатый свистнул собаке. Но меня здесь уже не было.

Между тем черненькая собачонка видела все отлично. Она остановилась, нет. Не пошла в стену. Усатый посвистел

еще раз. Собачонка не посмела послушаться: она обогнула нищенку и побежала вверх по ступеням к резной двери. Со стороны это выглядело так, будто собака плывет вверх по воздуху. Ошеломленное лицо хозяина застыло маской вне времени. Псина непринужденно прыгнула с каменного крыльца на землю. Оглянувшись на меня (но меня здесь действительно не было), она подняла заднюю ногу и окропила незримый храм. Усатый решил – с ним что-то не в порядке, привиделось вроде. Я же вот тут был у железных баков. А меня здесь нет, я там. Да и что мне здесь делать, если я не гуляю во дворе со своим кокером. А нахожусь совсем-совсем в другом месте.

Передо мной мутно-желтая вода, в которой плавают широкие листья лотосов, кокосы, шелуха от бананов, смятые стаканчики из пластика и всякий легкий мусор. Я двигаюсь в лодке-катере по узкому каналу. Вокруг возникают жилища-шалаша на сваях под пальмами.

Жизнь вся наружу. На полу сидит женщина в чем-то синем цветастом и рассматривает себя в ручное зеркало. Как у Гогена.

Стриженный костистый старик таец, рядом дог мышиноного цвета – оба стоят на помосте, надолбы которого купаются в воде. Старик улыбается мне всеми морщинами и кланяется, дог мрачно глядит. Мимо проплывает черный пустой кокос.

Мы пристаем к плавучему супермаркету. Здесь большеголовый слоненок, привязанный за ногу цепью, бестолково мотается в толпе туристов. Хоботом чистит бананы и отправляет их в рот. Я погладил его. Кустится жесткая шерсть – живое.

Сухой седой англичанин посадил себе на голову мохнатую обезьянку, что-то ласково говорит ей и щекочет ее шею. Обезьянка нежно обнимает его и осторожно целует. Она сидит на седой голове, как розовая пушистая шапка-ушанка.

– Монки, монки! – позвал я. – Хочешь апельсина? А банана? А яблока?

И тут случилось совсем неожиданное. Обезьянка прыгнула. Мою голову обволокло пушистое тельце. Маленькие коготки вцепились в мою шею. Я взмахнул рукой, чтобы со-

гнать ее. Больно! Мартышка не хотела слезать. Со мной творилось что-то странное, почти непристойное. Слоненок тянул меня за рукав своим мягким и настойчивым хоботом. Я заскользил по мокрым доскам и даже осознать не успел, как мы опрокинулись в темную воду. Сразу ослепило.

Потом я увидел, что мы оба барахтаемся у помоста: я и слоненок, на голове моей, вцепившись мне в волосы, визжит розовая обезьянка. Рядом плещутся волосатые кокосы и пластик. Сверху тянутся руки, наклоняются лица. Но я не могу дотянуться, не могу закричать, я захлебываюсь, потому что шею мне обвивает не то пятнистая вода, не то толстая анаконда. Это неправдоподобно, но я видел такую в питомнике или где там их разводят... Господи, даже позвать на помощь не могу... Может быть это сон или кино, но уж слишком все натурально... Затягивает в глубину. Так приятное превращается в гибельное ужасное... И так непоправимо.. Там, дома, даже и не узнают, где и как я погиб – нелепо и случайно...

Все-таки я выплыл или меня вытащили из очень теплой и мутной воды. Слоненок выбрался сам. Но я уже не видел, чем все это кончилось. Потому что бежал через закатный двор к нашему дому. Вода текла с меня ручьями. Черная собачка кидалась и яростно лаяла на меня, чуя, видимо, запах гнилых фруктов и курительных палочек и не понимая, откуда я сейчас появился. Усатый хозяин ее, к счастью, разговаривал с дворничихой, которая опять что-то мела. Что они все время метут, ведь во дворе если не постоянная пыль, то грязь и лужи. Ну, прямо как там, в далеком Бангкоке.

Я уже входил в свое парадное, кто-то ухватил меня за мокрый пиджак. Я обернулся: давешний слоненок – совсем близко, маленькие глубоко сидящие глазки, честное слово, улыбались.

– Привет.

– Привет, – повторил я машинально.

– А я к тебе, по поводу статьи, кутьи и тому подобной галиматьи...

– Послушай, – растерянно пробормотал я, – почему ты не там, а здесь? И что за дикость затягивать хоботом и топить в гнилой воде?

— Что ты имеешь в виду? В воде, в виду или в аду? — недоумевал слоненок. — Я пришел, чтобы посоветоваться. И в журнале я тебя не топил, а наоборот...

В сером животном постепенно проступали знакомые черты: маленькие глазки, низкий широкий лоб и жесткая щетинка волос. Я сделал над собой усилие. Господи, это же Сергей из «Триумфа»! Действительно, пришел ко мне посоветоваться, как и что ему писать насчет нашей давнишней литературной группы «Конкрет».

— Да, да, конечно, — заспешил я. — Я знаю твое отношение к нашему кружку и с удовольствием тебе помогу.

— Где это ты под дождь попал?

— Дворник случайно окатил. Да ничего, надену сейчас сухое, — на ходу придумал я. И стряхнул незаметно кожуру пахучего плода с рукава, зацепилась кожистыми колючками.

Мы поднялись в мою квартиру.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всю ночь мне снились простодушные промытые до костей белорозовые старушки американки среди белых и серых непроницаемых великанских ступ и на каменных ступенях широкой лестницы в резиденции короля Рамы Пятого.

А наутро ты страшно разозлилась на меня, просто вся изжелта побледнела. Как тайка или китаянка.

— Ты был там!

— Вовсе нет.

— Не ври мне. У тебя рубашка пряностями пахнет.

— Может, от прошлого раза.

— А это тоже от прошлого раза? — и она протянула в узкой ладони смятый белый цветок.

— Так получилось, извини, — соврал я, то есть он.

Она отвернулась.

— А как же я? Как же мы? — сказала она в стену. Ноготь раскарябывал след от гвоздя.

— А мы всегда, когда захотим, — ответила стена, то есть царапина от гвоздя. Потому что, когда она была в ярости, я для нее уже не существовал.

– Сейчас. Иди ко мне, – прошептала она стене.

И стена подняла ее на руки и уложила на ковер. Потом стена сама легла на нее – углом между ног. Было непривычно больно.

– Я сама, – сказала она глухо, и подняла ноги, чтобы стена вся вошла в нее.

Луч солнца коснулся темных волос, но это был прежний зимний луч. Они лежали обессиленные. Обещанной близости так и не наступило.

Перелет не состоялся.

– Прости, просто я был там слишком недавно, – прошептали руины. Но и она была не лучшем положении. Гладкая пластиковая головка. Что могла ответить руинам кукла!

Впервые в ее головке зародился простой и коварный план. Кукла еще не знала сама, что уже решила привести его в исполнение. Я, вернее – он, из нее выветрился.

– Попробуем еще, – сказала кукла Тамара из вежливости, снова отвернувшись к стене.

Но стена обрушилась. Там была дыра. Из дыры дуло. Дыра что-то невнятно говорила, обещала, уговаривала. Даже пыталась приласкать. Но как может приласкать отсутствие чего-то. А здесь было отсутствие всего, только голос, раздражающий своим вкрадчивым тембром. Кукла Тамара еле могла дожждаться, когда голос удалится и смолкнет совсем. Но наступило и это – ближе к вечеру. Не хлопнула входная дверь, как обычно, будто выругалась коротко и грубо, никто не звонил. Просто вдруг в квартире ощутилось его отсутствие.

«Уйду один! – обиженно-раздраженно подумал я, то есть какой-то посторонний во мне. – Уйду совсем.» И ушел. Даже из собственной памяти. Потому что не хотелось мне ни вспоминать, ни думать, ни понимать все, что произошло между нами.

Тем временем личинка ярости, досады и непонимания совсем окуклилась. Освоившись в своей новой хитиновой броне куколка Тамара сняла черную трубку и тоненьким голоском попросила Сергея. Скорая помощь приехала действительно очень скоро – наверно, взял такси.

– Андрея дома нет, – сказала кукла.

Сергей удивился и стал похож на Андрея.

— Возьми меня на руки и покажи мне Бангкок. Я сама не могу, видишь. Не бойся. Нам будет хорошо.

Сергей заморгал, как Андрей. Но протянул руки и вынул куклу из инвалидного кресла.

— Переложу тебя на кушетку, — командовала кукла. — Наклонись ко мне. Ближе, ближе.

Вблизи он был страшно похож на Андрея. И Тамара поняла, что все должно получиться, хотя риск был.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Солнце прожигало огромные вечерние купы деревьев — лучи сквозь черную листву падали на скопление джонок и баржей, в которых жили семейства рыбаков, уличных торговцев, вообще бедняки. На шоссе рычали и взрывывали моторы без глушителей. Бензиновый чад подымался в желтое небо Бангкока.

Я свернул в одну из узких улочек, в конце которой остановился туристический автобус. Туристы, по виду европейцы, толпились возле. Я не спеша подошел, будто гуляя, и встал рядом, на меня посмотрели, но ничего не сказали.

Гид — пожилой исчерна-тощий индус сказал:

— Now we look around the temple of China.

К храму шли через двор. По обе стороны были склады, жили люди. Женщина на камне чистила ножом рыбу. Гараж велотакси. В полутемной длинной комнате дремали синие и красные повозки с велосипедами.

Дальше жила выдра. Длинный серый с темной полосой вдоль спины зверек лежал на крыше своего домика. Что-то от кошки. Тело зверька перепоясывал кожаный ошейник с цепочкой. Внизу, в глубокой цементной канаве, поблескивала проточная вода.

А тут жил храм. Причудливо изогнулись зеленые драконы и лапами когтили белесое небо. Позолоченные львиные морды, яйцообразные головы старцев с лукавыми щелочками, изгибы, извивы, завитушки, финтифлюшки — яшмовая пена направленной фантазии: мгновение — вечность. Отрицание времени.

Двигались мы или не двигались. У входа стояли два гранитных, стершихся от времени круглых китайских льва. В пасти каждого свободно катался каменный шарик (шар в шаре!). Некоторые сунули руку в пасть и покатали — на счастье.

Гид продолжал бодро рассказывать:

— Европейский человек представляет счастье так: любовь, деньги, свобода. Мы — иначе, — и он показал на расписанную фресками стену.

Плоский китаец, сидя на корточках, слушает флейтиста и смотрит на гейшу, изящно прислонившуюся к декоративному дереву. Другой дремлет, облокотившись на стол. Третий блаженно почесывает себе спину деревянной чесалкой. Четвертый ест рыбу.

— Всё это — счастье. Особенно — почесать себе спину, — гид нас явно старался развлечь. — А знаете, какие самые нежелательные вещи на свете? Жить в японском доме. Получать зарплату, как китаец. И быть женатым на американке.

Между тем, все незаметно для всех изменилось. Мы — туристы поднялись в воздух и распределились по стенам.

Один старый американец — седые волосы заплелись косичкой — слушает гида, присев на корточки среди круглых, как булки, облаков, и любит молодую блондинку в очень короткой юбке. Та вся выгнулась по изгибу стены, прислонясь к декоративному дереву, высокие ноги сжаты. Лысоватый провинциал (неизвестно откуда — все равно провинциал) задремал, облокотившись на стол. Двое молодых супругов-немцев почесывают друг другу спину деревянной чесалкой. А я ем рыбу. И откуда она взялась! Полу-сырая. Вкусно и странно. Но это же японская пища, насколько я понимаю!

Посредине храма стоит небо.

Несколько святых старцев с ореолами над яйцевидными кумполами благожелательно рассматривают свиток, на котором нарисованы две рыбки — одна головой к хвосту другой, капля, круг. Старцы неслышно хихикают, щелочки лукаво блестят, будто видят нечто приятное и смешное.

И я понял: мы — две забавные рыбки, одна головой — к хвосту другой. И все наши выпадения в этот мир и возвра-

щения — одна капля. И никуда мы не уходим, и ни от чего мы не уйдем. И поплыл выше по своду, чтобы уйти хотя бы от этих насмешливых мудрецов. Туда, в синий дым нарисованного неба. Мне ужасно захотелось тебя увидеть. Чтобы вместе, чтобы как эти две рыбки... неважно куда... Переворачиваюсь — теперь храм наверху — и ныряю в самую синь...

Тут я и оказался у себя, вот и окно — в стоящее дыбом Замоскворечье. Фонари лучатся на темном закате. Весна.

В глубине квартиры в приотворенные двери было видно отражение в зеркальном шкафу: ты лежишь на кушетке навзничь, между твоих ног и тебя обнимаю... я! Вот и мой лысоватый затылок, темные волосы — даже гривка видна, и ковбойка, и спущенные джинсы...

Но тут же отражение в зеркале затуманилось — и мы исчезли, оставив меня одного в полном недоумении.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Все в нашем кругу говорили разное, а думали только о себе и поступали так или иначе только для себя, поэтому эффект получался самый неожиданный. Мы были близки что называется поневоле, впрочем, давно привыкли к этому. И общались после всех наших душевных выплесываний, после обид и долгого замирания-не появления, как ни в чем не бывало.

Вот она в берете, который никогда не снимает. Сидит на диване перед нами, на низком журнальном столике — бутылка. Бледная колбаса и желтое масло. Она тянется вилкой к очередному ломтику, острые колени высоко подняты, юбка ползет вверх — приоткрываются плоские бедра с синими отметинами. Она увлеченно рассказывает о последней выставке, впрочем, нет, она рассказывает о замечательном молодом священнике, который понимает (вы представляете!) в современном перформансе.

Она всегда рисует картины перед моим умственным взором. Вот и сейчас. Я вижу, она (Таня) сидит на коленях этого молодого священника, скрестив длинные худые — позади его, он — в одном белье, таком вязаном, грубом, она голенькая, но в берете, и прижимается грудками. И как

ей от бороды его не щекотно! Обняв ее худенькие полушария, он ерзает под ней. Оба тяжело дышат. Ничего себе, перформанс.

Подобные картины она мне показывала часто и прежде – со всеми моими друзьями, признаюсь, и со мной тоже. Я, правда, ей не говорил, что вижу. Но она понимала, она всё понимала. Вообще-то она пришла к моей жене. И мне приходилось что-то врать насчет того, что Тамара спустилась вниз, что кто-то, что-то, тем более, срочно...

– Да она из дома обычно без тебя не выходит! – удивляется Татьяна. И смотрит сквозь меня своими острыми карими глазками. Я делаюсь стеклянный. И мне неловко и как-то хрупко.

– Она с моим двоюродным братом, – изворачиваюсь я не очень умело. Она смотрит на меня так, я совсем таю в воздухе. Но что-то, видимо, остается. – У меня есть брат, очень похож, просто не различишь, художник по костюмам. Она поехала с ним на вернисаж. – (Брата я только что придумал, но вдруг понимаю, что он у меня есть, просто мы давно не общались).

– И на все вернисажи она с тобой ездит. У вас что-то происходит, признайся. Вы – такие домоседы. А теперь и не приглашаете. Никто даже трубку не берет. Куда вы все деваетесь? – допытывается дотошный беретик. Крупная родинка на левом крыле довольно милого носика вызывающе уставилась на меня.

Теперь она показывает мне такую картину: здоровенный пожилой дядька насилует ее сзади прямо на полу. И написана эта откровенная непристойность широкими смачными мазками. Мазня. Я все-таки беспокоюсь: ведь я, пожалуй, знаю, куда девалась Тамара, но где же теперь я? По всем физическим законам я не могу быть сразу в двух местах. А вот она, беретик, видимо, может. И, может быть, попробовать выяснить, кто это был... Может быть, действительно, Игорь... Чушь... – Я вздыхаю.

– Что ты меня поймешь, я не сомневаюсь, – продолжаю я неуверенно, – но все-таки надо нам объясниться. Мы все, во всяком случае, кое-кто из нашего кружка, живем в нео-

пределенном времени и месте. Мы теряем себя и находим в самых неожиданных местах. И все отделяемся шуточками. Но мы уже достаточно об этом говорили, — говорю я этой, глядя на ту, которая задыхается под здоровяком, смуглым, волосатым и совершенно лысым.

— Ты уже давно говоришь, как пишешь, и пишешь, как говоришь. Но это что-то новенькое. Ну, выкладывай, — беретик смеется глазами. Но я вижу, что посерьезнела и собралась. Потому что вставила неприличную картину в массивную золотую раму и куда-то задвинула.

— Ну вот еще, — информация к размышлению. В свое время, и ты тоже, учти, мы все дали обещание Абсолюту достигать высот и падать в глубины без лекарств и наркоты. Чтобы без насилия над природой. Но не без того, что ты мне сейчас показала.

— Но это же просто фон, — усмехнулся беретик, не знаю чему.

— Скорее всего ты мне показываешь свои мысли, но бог со всем этим. В первое время мы собирались и рассказывали о новых ощущениях. О сыром дуновении весны, хотя бы. О том, как на глазах разворачиваются в почках зеленые новорожденные. Такие свежие. Будто клеем смазанные. И пахнут так, что улетаешь.

— Это ты о себе, учти.

— А потом вы все стали приходить к нам все реже. Никто ни о чем не рассказывает. Никого нигде нет. Поостыли. И мы тоже. Но, признаться, у нас с Тamarой появился Сингапур.

— У нас у каждого свой Сингапур.

— Нет, нет, мы не стали снова баловаться. Ни ЛСД, ни жидкий героин, ни кристаллический, ничего подобного. Сначала мы улетали, когда мы были вместе. Но недавно я научился уходить один.

— Мастурбировал?

— Вроде того. Воображал.

— Ну и сильное у тебя воображение.

— Не ярче твоего. Развлекаешься.

— Видят и глазам не верят, ну это кто видит... Вот ты, например.

– А теперь...

– Теперь она ушла одна. Это ясно.

– В том-то и дело, что не одна. Со мною. Я сам себя видел.

– Не брата?.. Нет, все-таки ты пачку номбутала сжевал. А что, бывает. Спрятался сам от себя и употребил. Как старый пьянчужка.

– Таня, ты – нам близкий человек. Seriously. Ушла она, будто бы со мной. Уже поздно. Целый вечер нет. Может быть, там с нами случилось что-то. Хотя что я говорю! Я здесь. Можешь меня потрогать.

– Но ты же видишь... – беретик абсолютно серьезен.

– Да, ты умеешь создавать среду.

– А что же ты не последовал за ней? Ведь ты умеешь.

– Не очень-то приятно столкнуться с самим собой нос к носу. К тому же, я не уверен...

– Я думаю, куда ей деваться. В Сингапур отправилась. Ну, мы тебя найдем, подружка, – и Татьяна хлопнула полную стопку. Пила здорово, вровень, как говорится. И ничего.

– Водка не помешает, – снова остро глянула сквозь. И засмеялась, будто увидела нечто забавное за моей спиной.

– Да тебя я увидела. Тебя. А теперь смотри, со стула не слети.

На ковре я увидел себя – на Татьяне, голой, в одном беретике. Как в зеркале, не совсем в зеркале. Там, у той Татьяны, губы были как покрашенные. Бесстыдные. Над моим плечом они извилисто улыбались. Я видел, мне было хорошо. Мне. Действительно. Было. Хорошо. Она извивалась, как ящерица. Я еще успел подумать со стороны или будто со стороны: «Почему у меня с ней ничего не было? Что нам помешало? Она такая магическая, она – совершенство».

– Ты горячий, как лошадка, – говорила та Татьяна, поглаживая его, то есть меня по обнаженной спине.

– Слушай, а ты – я тебя так чувствую... – и не успел я это сказать, как почувствовал, вернее он почувствовал, да и вы все, мы почувствовали...

Плывет, поворачивается белый мраморный Будда с алыми губами. Губы неуловимо улыбаются, почти порочно. Из-под мягких век белый зрачок – в себя.

И закатный свет — у входа, дворик, зелень, деревья. Я еще не Он. Но я уже почти Я. Я — символ, знак, колесо вечного движения. В пустоте полудня рисую свой иероглиф, который вписывается в вечно живую книгу космоса. Кто-то сказал. Я ответил. Кто-то сказал? Я ответил? Всё кончилось.

Мы вышли наружу. Храм был тридцатых годов этого века. Для туристов ничего особенного. Колониально-выставочный стиль. На белом фасаде — три красных свастики.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я всегда думала, что Андрей и Сергей похожи, как дядя и племянник, все-таки Андрей постарше. Но сейчас, когда он толкал мою коляску по белому волнообразному песку к стоящему стеной невдали океану, я чувствовала, меня везет Андрей. И, как всегда, благодарность и любовь, кто бы что ни говорил. А то, что произошло накануне или даже сегодня, казалось, было давным-давно и совсем с другим Андреем, к этому, молодому, не имеющим никакого отношения.

— Смотри, — сказал молодой Андрей, — а волны желтые, совсем не голубые.

— Зато какие! Даже страшно!

Волны, действительно, были океанские — спокойно и величественно надвигались на нас всей своей массой и распластывались далеко по песку. На линии их отката валялась всякая мелочь. Пальмовые листья, древесный сор, черные кокосы и розовая кукла без платья и головы. «Вот так нырнуть, а потом всплыть где-нибудь на просторе без платья и головы!» И мне ужасно захотелось сбежать туда, к прибору, и лечь там на живот. Пусть накатываются и накатываются на тебя огромные волны.

Что-то внутри меня сдвинулось, будто часы переставили. Даже пискнуло. Удивленное лицо моего спутника. Молодой, молодой Андрей.

— Я хочу туда.

— Я тебя туда свезу.

— Погоди, я сама.

– Не чуди, пожалуйста. – «Всегда вежлив, всегда, при любых обстоятельствах».

– Я серьезно.

– Я тебя подниму и донесу.

– Нет, я сама. Просто помоги мне вылезти.

«Не стал спорить». – Обопрись на меня. Крепче.

Не знаю, почему, я знала. Поднимусь сама. Несмотря на то, что руки и ноги как протезы. Слушайте меня, деревянные.

И вот по спине и ногам побежали холодящие мураши. Боже, я превратилась в целый муравейник. Рывком встала, кресло откатилось. Я пошатнулась, Андрей успел – поддержал меня.

Я сделала один шаг. Другой. Казалось, это не песок, а камень, который при каждом шаге ударял меня в подошвы, подбрасывая. Но я шла. Господи, я шла. Пошатываясь, неуверенно. Откуда? Куда? Океан приближался рывками. Но все еще далеко. Я старалась бежать навстречу угрожающе огромным волнам, переставляя ноги, как палки, чувствуя себя неуправляемым деревянным циркулем. Ближе. Ближе. Рядом. И я упала лицом в волну. В очень мокрую, очень соленую, горькую, ласкающую воду (волосы сразу стали тяжелыми), захлебнулась от счастья.

– Тамара! Постой! погоди, этого не может быть! Тамара! Ты же не можешь! Упадешь! Упадешь! Ты летишь! Возьми меня с собой! – запоздало кричал совсем юный Андрей где-то рядом.

– Но ведь доктора... – осекся он.

– Дубье – твои доктора, – сказала я с удовольствием и засмеялась прямо в волну.

– Доктора – шулера, – почему-то уныло согласился он.

Желтая раковина на алом фоне: ШЕЛЛ – надпись поперек. Бензоколонка на берегу.

Раковины точно такой же формы валяются здесь повсюду на крупном белесом от солнца песке.

Раковина цвета слоновой кости, небольших размеров. От краев к выпуклому центру сходятся легкие бороздки. Левый уголок отогнут, как краешек носового платка.

Если глядеть долго, перестаешь понимать, что это. Белый купол гигантского здания? Панцирь доисторического суще-

ства? Вот она — на ладони. Может быть, знак приветствия? Открытка из другого мира? Ключ, который может открыть во мне новый источник света и любви? Подумать только, какая совершенная и непонятная глюковина — раковина!

Мы идем по предвечернему городу, я толкаю впереди уже ненужную инвалидную коляску — не оставлять же на берегу. Перед нами по кафельному тротуару в мягком свете открытых магазинов движется индус в длинной белой юбке.

Малайцы, китайцы, индусы, нищие,
магнитофоны, рубашки, джинсы,
чемоданы, баулы, зонтики,
зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
обувь, аптека, часы, харчевня,
часы, часы, часы, часы,
ткани, ткани, ткани, ткани,
золото, золото, золото, золото,
всякие мелочи и всякие мелочи,

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В нашей жизни был еще один мир: экран телевизора. И это был самый загадочный и призрачный мир. Дикторы — симпатичные и красивые, гладкие мужчины и женщины заученно рассказывали нам о том, что происходит в стране, в Москве и в верхних этажах власти, как они это называли. Но дело в том, что вокруг ничего подобного не происходило. А верхние этажи власти были для нас сказкой, мифом. Время от времени до нас долетали звуки речей, торжественная музыка с высот, их показывали на экране, их просветленные лица, их красивые галстуки. Но что там совершалось на небесах, какие сшибались крылатые рати? Доносились лишь крики и звон стекла, предсмертные хрипы и шум падения грузных тел коммерсантов, расстреливаемых в упор киллерами.

Вокруг была третья жизнь, занятая самой собой. Высшие власти часто ругали, но все это как-то не касалось повседневности. Даже если не платили кому-то, то был это негодяй и вор — директор, и рыло его было всем знакомо, и кабинет его был известен.

Сначала была зима. И было холодно. Потом пришла весна. И стало тепло. В прежние годы у нас, жителей, было много денег, в магазинах зато было маловато продуктов и товаров. А то и вовсе все смывало с прилавков, как во сне. Теперь товаров стало много, а денег мало, но и это пройдет, как говорится. Вообще жизнь у нас шла полосами. Она как бы протекала сквозь нас, то синим небом, то облупленной штукатуркой нежилого здания, то уставленным бутылками длинным столом — так и течет насквозь вся эта грязная посуда с объедками на скатерти, когда же наконец кончится? А то начнет кружить в вагоне метро по кольцевой, будто едешь и едешь — никогда не выходил. Но главная-то жизнь — это теперь: блаженная полоса Сингапура, и все больше и шире затягивает, как новые безвредные наркотики. Да так ли уж она хороша? Не оттяпывает ли по ходу куски души? Этого я пока не знал.

Но вернемся назад, если вы уже не позабыли, туда — к моему мужскому, вкупе с Таней, варианту Сингапура. Итак, вечерняя, лучащаяся золотом, улица продолжается:

Всякие мелочи и всякие мелочи,
Фотоаппараты и парфюмерия,
Парфюмерия и конфеты,
Парфюмерия и аптека,
Парфюмерия и часы,
Часы, часы, часы, часы,
Зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
Запахи, запахи, запахи, запахи,
Апельсины, папайя, бананы, дурьян,
Кухня на колесах, кухня на колесах,
Жареные бананы на больших сковородках,
Утки по-пекински, рис по-сычуански,
Китайцы, малайцы, индусы, машины
И — мотоциклисты! —

в красных, серебряных, голубых, золотых шлемах с блестками — и все это проносится, сверкает, кружится, завывает, глазает, пестреет, насыщается, курит и пьет, будто огромное колесо китайского базара днем и ночью вращается вокруг нас. Только ночью все — мерцающая огоньками в душной тьме. А кругом — незримый океан.

Черные силуэты больших деревьев на желтом закате. Темнота наступила сразу. Я и Таня двигались в толпе среди множества туристов, как я понимаю, не выделяясь ничем для местных. Я разменял стодолларовую зеленую бумажку на сингапурские доллары. И мы поели прямо на улице, присев за пластиковый столик. Увидев, что я отложил в сторону палочки, хозяин протянул нам вилки. Нет ничего вкуснее горячей лапши из крупных креветок с соевым соусом!

Под лихим беретиком сияли ненасытные Танины глаза. И я наблюдал время от времени в толпе странные картины – как просвет. В этом просвете – беретик то сплетался с каким-то смуглым юношей, то ее насиловал коротконогий щетино-головый хозяин, то целая гирлянда пестрых мяукающих кошек повисала на голенькой. Хорошо, что кроме меня этого не видел никто. А если кому и нарисовалось и мгновенно исчезло, думаю, разумом не понял и не поверил.

– Перестань озоровать! – сказал я Татьяне.

Она засмеялась, но прекратила.

Пустая никелированная коляска свободно катилась по тротуару, рядом по обочине вез кого-то велорикша. Он с удивлением покосился на нее, не остановился. Но я-то знал, чья она.

– Здравствуй, – повернулась ко мне инвалидная коляска.

– Я тебя ищу, – отвечал я.

– Здравствуй, Таня, – сказал кто-то рядом. – Только не показывай картинок.

– А, Сергей, – поприветствовал я приятеля. – Конечно, я был не я, я так и понял.

– Конечно, не ты, – засмеялся слоненок. Но смех был каким-то напряженным.

– А ты... – обратился я и осекся... За спинкой инвалидного кресла стояла миловидная тайка – и смеялась всем: длинными глазами, челкой, белым воротничком блузки. Правда, можно было узнать мою жену, но в индо-китайском варианте. Моложава, как все вокруг. Игрушечная женщина. Я и не знал, что она может быть такой. Выздоровела каким-то чудесным образом.

– Поздравляю, – неуверенно произнес я.

– Ты будто и не рад.

Что-то во мне взорвалось. И все вокруг засверкало. Я как будто вспомнил себя, каким был, это была она. Это была снова она сто тысяч лет тому назад. До революции. До болезни. Еще здоровая или опять здоровая. Бесконечно и привычно дорогая, неужели я мог об этом позабыть? Но это же она. И чтобы понять это, надо просто прикоснуться.

Я протянул руку и коснулся ее узкой кисти.

Вдруг черное небо обрушилось на землю очень теплым тропическим ливнем. И все закипело, потонуло в стреляющих от асфальта струях дождя. Мы успели спрятаться под навесом какой-то авиакомпании. В пустом помещении горели настольные лампы. И отовсюду на нас глядели лаковые рекламы, плакаты, мерцали экраны компьютеров. Улыбались фотомодели-красотки и настоящие мужчины заученными улыбками. И мы сами себя ощутили «по щучьему веленью, по моему прошенью» беззаботными и счастливыми. Ты показала мне: рядом, прислонясь к стеклу стоял коричневый мишка-коала почти в человеческий рост. Не сразу понял, что чучело. Неподалеку, не обращая внимания на потоп, почти по-московски ловил такси парнишка в рубашке из синего батика. Башмаки на платформе. Видно, небольшого росточка. Глянул, равнодушно улыбнулся – и мы все вместе с коала и туземным юношей закружились в дымящемся хороводе, в огнях под счастливым небом Сингапура.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На краю Сингапура лев-русалка (герб города) скалится на океан. А там на рейде – сотни торговых судов на весь горизонт. Белое солнце (оно же черное, если долго смотреть) в облачках и наливающаяся мутью половина неба. Львиный город – весь на вертикалях. Небоскребы – в тени и на солнце. Одни – в ромбических балконах. Другие – закругленные, как пароходные трубы. Небоскребы-стелы с круглой стеклянной коробкой наверху. Дом, похожий на океанский лайнер: внизу круглые иллюминаторы, высокий борт, несколько палубных этажей и выше ступеньками балконы, уставленные

экзотическими цветами. Билдинг весь стеклянно-золотой — так отсвечивают окна. Ниже ярусом — солидные викторианские дворцы с колоннами, церкви, мечети, китайские храмы. И в глубину — прямые двухэтажные улицы с вывесками: латиница, иероглифы, арабская вязь. Но заслоняют все огромные натуралистичные афиши американского кино: героиня с пистолетом в мини — ноги, пожалуй, выше небоскребов.

Таким Сингапур предстал мне с Тамарой и, возможно, нашим спутникам. Мы теперь, считай, одна семья. Наскоро посоветовавшись, мы решили не возвращаться пока. Тем более, что по всей видимости мы были вовлечены в какой-то бесконечный тур. Нас подзывали гиды к автобусу, везли к очередному отелю. Там кормили, вручали ключи от наших комнат. А поднявшись в номер, мы обнаруживали наши чемоданы, уже распакованные и одежду, аккуратно развешенную горничной в шкафу. Это было настоящее волшебство, но не волшебней всех наших прежних перемещений. Допустим, кто-то за все заплатил и просто не хочет в этом признаваться.

Одна была неловкость, к которой лично я все как-то не мог привыкнуть. Номера наши были двухместные, но в сущности это была жизнь вчетвером. Душными ночами (не везде был кондишен) Тамара называла меня Сергеем. И я ловил себя порой, что обнимаю не ее, а Таню, между прочим, с особым сладострастием. Или это были просто волшебные картинки нашей приятельницы? Которая вместе с Сергеем (так я думал!) занимала соседний номер. Или, подозреваю, жила тут же в этой комнате, но каким-то вторым планом, неявно. Кто знает, во что превращается и какие причудливые формы может принять праздник жизни, когда исполняются все наши желания! Впрочем, это бывает только в воображении. Но если им поменяться местами — воображению и реальности... Наверно, мы все были сумасшедшими, что насколько не мешает нашему прыгающему повествованию.

Главное, Тамара была как прежде — когда-то, пусть неуверенно, часто присаживаясь отдохнуть, она ходила и ездила с нами всюду. Она была счастлива и не жаловалась на ноги.

Вот и теперь в храме Спящего. Во всю далекую глубину его простиралась фигура возлежащего гиганта, очертания ее терялись в полутьме за колоннами – холмы и предгорья. Подробности трудно разглядеть, всюду – подмости, по которым расхаживают рабочие в синих комбинезонах, временами непочтительно оглашая храм деловыми возгласами. Статую, видимо, ремонтируют, подновляют.

Из полутьмы – огромный полузакрытый глаз. Око, следящее за тонкой муравьиной струйкой туристов, привычно текущей где-то там, внизу, от головы гулливера к пяткам. Наверно, Ему из его Вечности мы виделись нескончаемым ручейком. Ведь Ему надо сделать определенное усилие, чтобы отделить сегодня от завтра, год от года, столетие от столетия.

Туристы с гидом шаркали где-то впереди, мы с Тамарой несколько поотстали.

– Ты не устала?

– Как легко здесь дышится! Пахнет сандаловым деревом, слышишь?

– Это от курительных палочек. У тебе голова не кружится?

– Кружится... хорошо...

– Давай отдохнем? Здесь можно сесть прямо на пол.

Мы опустились у колонны. Скрестили и поджали под себя ноги, как азиаты.

– Пружинит. Удобно, – сказала Тамара, – ты сам – и стул, и сидящий на стуле мудрый восток.

– Восток знает многое – другое, чем мы.

– Спящий! Он же больше самого себя! Во много раз!

– Интересно, какими мы ему кажемся? Наверно, ничтожествами какими-то, букашками.

– Как приятно чувствовать себя ничтожеством. Я никто, – сказала она и посмотрела на меня потемневшими большими глазами. – И ты никто.

Мне понравилось.

– Давай будем так и звать друг друга: никто.

Она счастливо засмеялась.

– А на имя не будем откликаться – ни Сергею, ни Тане.

– Да есть ли они сами?

– Сергей! – неожиданно громко позвала Тамара.

Молодой монах в желтом укоризненно обернулся. Он прижал палец к губам и не спеша, бесшумно ступая по гладким шахматным плитам, подошел к нам. Присел на корточках. Возвел глаза и руки к далекому куполу. Неожиданно деловито спросил:

– Where are you from?

– We arrived here from Russia, – ответил я, радуясь случаю поговорить по-английски, который я знал нетвердо – иначе говоря, badly.

Монах повел себя странным образом. Он неожиданно выпрямился, отскочил, затем наставил на нас пальцы автоматом-пистолетом:

– Тра-та-та-та! – изобразил автоматную очередь.

– No, no! – заторопилась Тамара, – Not at all! Russia is not war. Russia is peace!

Монах вскинул костистую стриженую голову к уходящей вдаль храмины горе и указал нам на нее. Затем опустился на корточки и погрузился в свои медитации или во что там еще, во всяком случае мы для него больше не существовали, хотя ты заговорила несколько повышенным тоном, явно надеясь привлечь снова внимание молодого монаха.

– Вот как здесь о нас думают.

– О них, не о нас, – поправил я.

– Не в этом дело, просто для них мы тоже определенный стереотип, – возбужденно продолжала Тамара. – Но как им объяснить, что всеми своими медитациями они не достигнут того, чему мы с тобой научились и так легко. Любовь – вот ключ ко всем тайнам.

– Или нас с тобой этому научили, – поправил я.

– Кто?

– Может быть, Он, – я показал на Спящего.

– Мы меньше чем ничто, мы Ему снямся, – задумчиво произнесла ты.

– И чувство наше... Возможно тоже – Его воображение...

– Нет, оно принадлежит только нам, – твердо сказала ты и сразу переменяла тему. – Смотри, они уже дошли почти до конца. Идем посмотрим на пятки Спящего.

Пятки, действительно, были великолепны. Они торчали перед нами, как две памятных плиты, колоссальные ступни черного дерева с перламутровой инкрустацией. На пальцах — дактилоскопические узоры: на каждой подушечке — красная спираль. Разматывается в бесконечность: нарастание, преобразование, повторение. На подошвах были изображены картины человеческого бытия. И все мы, перед ними стоящие, боялись нарушить гулкую тишину, понимая, что все это про нас.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мне было немного досадно, что монах так небрежно отнесся к нам. Андрей, как всегда, не понял, не врубился. И сразу пропал для меня. Я уже не могла говорить с ним, его просто не стало, рядом со мной шлепало войлочными тапочками по плитам пустое место. Я из вежливости поворачивалась к нему, что-то односложно отвечала. Из пустоты дуло разными умными словами. Но здесь я могла размышлять только о главном. А оно было перед моими глазами.

1. Вот сидят мои мать и отец за обеденным столом. На тарелке перед ними лежит сияющее яйцо. Окно забрано решеткой. Снаружи в него заглядывают дикие лица.

2. Вот мои родители сидят в гнезде, опутанном колючей проволокой, между ними птенчик с моим личиком, можно узнать.

3. Вот горящее дерево. Сами ветви его, похоже, из колючей проволоки. На дерево падают бомбы. Ангел схватил за шиворот моих родителей и выхватил их из гущи веток, они сопротивляются и дрыгают ногами в воздухе. Мама прижимает птенчика к груди.

4. Отца ангел уронил, и он с криком исчезает в пламени. Кто-то говорит: «Сводка по медчасти. Сактировать».

5. Меня и маму перенесло на дачную клумбу. Мама положила меня среди пышных подмосковных пионов. Я уже не птенчик, и цветы осыпают бордовыми и белыми лепестками мечтательную худую девочку.

6. Под высокой сосной мы, дети в белых халатах, считаем падающие сверху шишки и складываем в высокие кучи. Кучи шишек растут. Кто-то говорит: «Замуж пора».

7. Я и какой-то — дыбом волосы — смотрим на яйцо, сияющее на тарелке посредине белой скатерти. Вид сверху.

8. Дыбом волосы в ярости бросает яйцо на пол. Оно разбивается. Я плачу. Кто-то говорит: «Старая сказка. Уезжай. Сохрани хотя бы себя».

9. Я убегаю от самой себя. Я маленькая, в ужасе бегу по лугам и горам от большой себя, к тому же вооруженной большим ножом.

10. Догнала и зарезала себя без жалости. Меня судят. За судейским столом кто-то знакомый. Говорит: «Виновна, но достойна снисхождения.» Узнаю, судья — тоже я. Отпустили на поруки. Самой же себе. Зарезанной.

11. Длинная очередь. В горе — дыра. Там фабрика. Откуда столько каолиновой глины? Кто-то говорит: «Перемолоть». «Надо ей сначала Сингапур показать, — возражает кто-то. — А если и тогда себя не сохранит, вылепите из нее ночной горшок и разбейте его без жалости».

12. Херувим с восемью крыльями, множество очей по всему телу, берет и несет меня по синему небу на остров небоскребов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Перед торчащими ступнями Спящего столпились почтительно и недоуменно. Шли, шли вдоль великана — и в конце пути вот такие непонятные изображения.

Тамара уставилась, как в трансе, (знаю я это ее состояние — глаза-точки) на концентрические круги и геометрические фигуры, начертанные на пальцах. Они напоминают картины и мобили, которые выставляла группа «Движение». В свое время Тамара рисовала нечто подобное, я помню ее синие и красные солнца на вернисажах подпольного искусства. До сих пор помнят художники ее взлет, а она, как села в инвалидное кресло, стала делать эскизы для фарфора и тканей. Я и сам тогда писал стихи, непонятные самому себе. Знато-

ки говорили, что стихи мои написаны в духе и стиле герметизма. Но их никто не печатал, надо было зарабатывать на жизнь и вообще определяться, общество было жестким к инакомыслящим, я устроился работать в газету и даже начинал находить особое удовольствие ночью просматривать еще не просохшие, с липнувшим к пальцам оттиском, свежие листы. Мой товарищ по лито Иванов-Петренко, сатирик, говорил: «Добро века ты променял на злобу дня».

Между тем концентрические круги медленно вращались и затягивали меня в глубину, неуклонно ускоряя свое движение. Я падал, кружась по спирали все теснее и теснее. И, наконец, очутился в неопределенном пространстве, где все фигуры колебались, изменяясь и расплываясь. Как будто нас кто-то рисовал, не вполне уверенный, что именно хочет нарисовать.

1. Надо мной наклоняется большое сердитое лицо отца, которое переплывает в оскаленную морду овчарки. Но это морщинистое лицо нашей бабушки в белых буклях.

2. Бабушка-овечка злобно говорит: «Нас всегда воспитывали и закаляли. Мы и зимой ходили с голыми ногами по Тверской. А ты не хочешь есть манную кашу всем нам на радость».

3. Мама насильно всовывает мне в рот непомерно большую ложку, которая раздирает мне губы: «Ешь, сыночек, ешь! Это тебе полезно.» Каша горячая и обжигает мои внутренности.

4. Меня моют в корыте. Чьи-то жесткие неумолимые руки. Я не хочу, не хочу. Едкое мыло разъедает мои глаза. Подняв голову, вижу вместо родных лиц грубые, будто прокопченные черты прачек. Прачки поют хором: «Будь мужчиной! Будь мужчиной!»

5. Я скольжу по волнистой стиральной доске и скатываюсь в бассейн. Там на меня набрасываются толстые голые женщины. Со всех сторон – груди, руки, ноги, губы, залепляющие мне свет. И все кричат: «Мы твои мамочки!» Еле вырвался. Где я теперь?

6. Мы сидим амфитеатром – монахи. На кафедре красивая женщина. Кричит резким голосом Гитлера. Мы поднимаемся и выходим вперед. Корчимся и подпрыгиваем. Го-

лос подстегивает нас, как хлыст. Выходит из-за кафедры голая в высоких сапогах, неужели мама? Она обнимает меня — вся прижимается. «Будь мужчиной, сынок». От волнения теряю сознание.

7. Очнувшись, понимаю, что держу в руках большую деревянную винтовку образца 1891 года. Мы идем строем, рассыпаемся цепью в парке, бросаем деревянные, ярко раскрашенные гранаты. Нами командует какой-то парикмахер с полуседой щетиной. Мне становится так хорошо, как не бывало никогда прежде. Меня никогда не убьют. Меня убивают.

8. В гробу меня бреют. Мой командир в белом отутюженном халате, заботливо склоняясь и придерживая двумя пальцами мой заостренный нос, намыливает мои щеки и снимает хлопья белой пены опасной бритвой. Слышу голос: «Теперь наконец ты станешь мужчиной, сынок».

9. С изумлением смотрю на малыша, которого показывает мне незнакомая женщина. Я, оказывается, сам отец. А это моя жена. Она передает мне ребенка. Неожиданно он вцепляется мне в лицо, раздирает с нечеловеческой силой. В ужасе отбрасываю его. Не хочу быть мужчиной.

10. Я убегаю. Моя жена и мой сын — этот, выпутываясь на бегу из пеленок, гонятся за мной. Прячусь в неровностях земли.

11. Совсем угнездился в ямке. Я такой маленький, что меня можно принять за мышонка. Я всегда знал, что я мышонок.

12. Сверху опускается хищная тень. Когти обхватывают меня и поднимают в высоту. Кто-то показывает мне города и дороги. Столько вижу людей, что не в силах с этим примириться. Летим над океаном. Вдали светится остров небоскребов. Все ближе, ближе...

Восемь штук медных накладных ногтей в пакете сунула мне в руку пожилая быстрая женщина. Мы толпой вышли из ворот. Я показал их Тамаре. Она засмеялась и отрицательно покачала головой. Я отдал пакетик продавщице. Но она тащила за мной вдоль крепостной стены к автобусу и настойчиво убеждала меня: — Ван доллар! Ван доллар!

Улучив удобный момент, настырная торговка снова вложила пакетик в мою руку. Как не купить, тем более, что с этих медных ногтей начинается наше повествование.

Вокруг кричащие гомонящие мальчишки осаждали туристов. Медные колокольчики, открытки, грубые деревянные статуэтки, мечи в резных деревянных ножнах. Туристы смущенно отбрыкивались и лезли в автобус. Мальчишки не унимались. Они чертили пальцами на стекле цифры, просовывали деревянные мечи в открытые двери автобуса. Всюду сверкали черные глаза этих сингапурских цыганят. «Действительно, – подумал я, – правду нарисовали мне пятки Спящего, всем от всех что-то надо в этой жизни. Вот и мне навязали медные когти, которыми я могу только царапать свою тетрадь вместо авторучки».

На душе было смутно. Да и Тамара была неразговорчива. Куда делись Сергей и Таня, я не понимал. Но кое-что подозревал все-таки.

Когда мы выходили из соседнего индуистского храма, по обеим сторонам нас провожали изваяния двух демонов: красный и синий. Женственно изгибаясь, обе фигуры будто текли всеми своими чертами. У красного демона волосы стояли дыбом. А синий, воздев руку, длинным, неестественно изломанным пальцем указывал на рельеф, идущий поверху стены. В разных ритуальных позах садились друг на друга и сплетались мужчина и женщина, пухлые и похожие, как близнецы. Это были явно Танины картинки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Посередине мутной широкой реки, вся она шла мелкими волнами. Мальчишка вынырнул из воды – ухватился рукой за борт катера. Другая рука протягивала нам мокрую деревянную фигурку Будды.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В антикварном магазине я склонилась, рассматриваю гладкие деревянные фигурки демонов под стеклом. Очень старые и очень живые.

1. Демон с губой, отвисшей до колен, пытается что-то сказать.

2. Демон засунул в пасть свою руку и ногу и пожирает их.
3. Демон высунул длинный язык, которым щекочет свою же пятку.
4. Демон обеими руками яростно сдавливает свои женские груди.
5. Демон жадно пьет из чашки свою кровь.
6. Демон щипцами откусывает себе причинное место.

Вы знакомы, мне демоны самомучения. Сколько раз я топтала свое самолюбие, унижала себя завистью, и ревностью терзала себя по ночам. Я думала, что я небрежная, забывчивая, но христианка. А мои демоны пожирали меня у всех на глазах.

Теперь знаю, мне показали моих демонов. Они — во мне.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— **Хэлло!** — горничная, с виду подросток, вошла днем в наш номер перестелить постель. Тамара была на пляже. Видимо, горничная решила, что я хочу отдохнуть или что там еще, не знаю. Она наклонилась над покрывалом и из-под алого форменного платья выглянул ужасающе грязный край шелковой сорочки. Оглянувшись, она легко и страшно улыбнулась.

Вечером — уютные и хрупкие. Широкие лица и широко поставленные глаза, чувственный плоский рот и слегка приплюснутый нос.

Так округленно и женственно движутся, покачивая задиком, что уличные фонари и лавки китайских ювелиров льют золотые слезы, отражающиеся в черном канале, где темнеют плавучие жилища-лодки, крытые рифленным железом.

Здесь кошки обыкновенные, как и у нас.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

260 ступеней вверх ведут к пещере — храму, посвященному индуистскому богу войны. Вверх, в гору, текла струйка туристов, среди которых были и мы с Тамарой. Тамара быстро утомилась, мы присели на каменную скамью.

- Спустимся вниз, – предложил я.
- Нет, хочу взглянуть, какое лицо у бога войны.
- Понятно, какое: вместо глаз – дула орудий, вместо зубов – черепа, вместо ног – гусеницы танков.
- Не думаю. Скорее всего он похож разгневанного Шиву: шесть рук – и все вооружены мечами и копьями.
- Ну, одна-то, наверно, со щитом.
- А кто на него может напасть? Он бог войны.
- Его побеждает время.
- Время побеждает всех, – сказала ты – и усмехнулась.
- Почему женщины так чувствуют время? – подумал я вслух. – Оно вас разрушает, вот почему.
- Но у нас есть свой Сингапур, – на лице твоём блуждала странная обреченная улыбка.
- Не у всех, – заметил я.
- И не навсегда, – сказала ты.
- Ты так говоришь, будто тебя скоро казнят.
- Кто знает...

Наконец мы одолели все 260 и вошли в высокую пещеру. Там, высоко над нами, примерно метрах в тридцати, то тут, то там из дыр в каменном потолке падала с шумом вода. В полу пещеры тоже были проемы, и вода исчезала в них, сливаясь где-то там внизу в отдаленно грохочущую подземную реку.

Вот он, алтарь бога войны, он украшен гирляндами цветов, розовых и белых. Сам бог закутан в красную и черную материю. Семейство индусов благоговейно взирало на него. Полная женщина в темнозолотистом сари низко присела перед изваянием и увенчала его круглую головку розовым венком. Сложив темные ладони, молились ему две ее взрослых дочери. А статный, в белом, супруг благодарно склонил свою смуглую лысину.

Страшное лицо у бога войны. И странное. Приглядевшись, обнаруживаешь, что это сталактит с намеченными на нем суриком глазками и ртом.

– Но это же каменный фаллос! – сказала ты в глубоком изумлении.

Рядом веером торчит разнообразное оружие. Стальной трезубец – на нем тоже красные глазки и ротик. Черная па-

лица — тоже с нарисованным личиком. Меч также провожает нас своими воспаленными косыми глазками. Разные, во-человеченные личины бога войны, который сам не что иное, как напряженный мужской член.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

(Читатель, надеюсь, меня извинит, что я весь Моллукский полуостров называю Сингапур — и Малайзию, и Таиланд. Это мой Сингапур, наш).

Простодушные, промытые до костей белорозовые старушки американки в резиденции короля Рамы Пятого. Они мне снились прежде.

Натуральные фигуры слонов, каменные парадные лестницы, колонны, скорее в греческом стиле — дворец девятнадцатого века. Равнодушные солдаты охраны с американскими карабинами.

Изогнулись в лазури золотыми когтями танцовщиц коньки на кровлях пагод.

Во внутреннем дворике случайные встречи.

Красавица итальянка, миндалевидные глаза, косо спадающие гладкие волосы. Такую и в кино не увидишь. Улыбнулась, да так откровенно — не мне. Вон той. Порочное создание.

Опустила глаза. Хотя — почему бы нет. Таиландочка, в чем-то желто-сине-зеленом, сидящая на плитах террасы и читающая книгу. В которую заглядывает сбоку серое изваяние: лошадь-крокодил.

При выходе из храма нефритового Будды. Под раскидистым деревом с плотной глянцевиной листвой, обласканные белесым солнцем, улыбаются в камне, существуя блаженно вне времени, — святой и две обезьяны.

Трепещут листочки сусального золота на лице, на губах и веках каменного Целителя. *О, милая!* Он мимолетно улыбается. И меня посещает блаженство. *Я выпадаю.*

Жгут покойника. Вдали мягкие складки гор. *Это твои холмы.*

У сараев на зеленом лугу с проплешинами — места прежних сожжений — стоят автомашины, грузовики, толпится народ, родственники, монахи в желтом. *Это твое лono.*

Жарко горит красный с золотом деревянный саркофаг. Многоярусная кровля на четырех витых ножках. Занялась. *Прижмись ближе!*

Оставляя полосы дыма, одна за другой взлетели в синезеленое небо четыре ракеты. Лопнули со страшным треском в высоте. И с легким шорохом вознеслась душа. Лишь отгоревшие кольца падали вниз. *Меня здесь нет, я — в твоём небе.*

О, золоченые демоны-девы на куриных лапах!

О, демоны-петухи!

О, лысый человечек с киноаппаратом!

О, солдаты в чалмах, их мужское достоинство — их карабины!

О, простодушные старушки американки, их веснушчатые руки!

О, когтистые лапы пестрых перил!

О, узкие кисти с бледными ногтями, перелистывающие детектив!

О, все эти Хемингуэи, Грэмы Грины, Ремарки и Маркесы моей юности!

О, все пойманные ими форели, блеснувшие на солнце!

О, все их женщины, улетающие в простынях!

О, все бьющиеся в клетку юношеских ребер сердца!

О, все эти ступы, одна другой выше и толще!

О, этот путник, уходящий все дальше и дальше!

О, его уже почти не видно в глубинах пространства!

О, он опять вырастает, бритый, круглоголовый, мягкие складки одежды, заслоняя небо! Стучит и стучит его миска!

О, золотые когти пагод, когтящие небо!

О, небо, когтящее сердце!

На лугу догорали три костра. Народ не спеша расходился. Некоторые улыбались, старались, видимо, не показать свое горе, ведь ничего ужасного не случилось. Души перешли в иные существования. И, может быть, мы еще встретимся на перекрестках многоярусного бытия во вселенной.

Очень далеко видно. Пожалуй, даже за горизонт.

За стеклами отъезжающего «мерседеса» — бритые головы, желтые складки ткани. Зачем разъезжать в «мерседесах»

монахам? Пусть медитируют или берут пример с нас, обитающих где-то по соседству на ближайшей странице.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Душная темнота окутала нас — тяжелое ватное одеяло. Скользкие руки, груди, животы едут, перекатываются — плоть раскрыта своей алой во тьме изнанкой...

...краешек лунного квадрата

...губы и небо

... луна на смуглой спине

...снова удаляется путник

... догоню, догоню, догоню!

... гладит мою шелковистую гривку

...Я ужасно ревновала тебя. Вокруг было столько женщин: и в амфитеатре и коридорах. И все они такие бесстыдницы! Подходили, не обращая на меня внимания, так — искоса стрельнув нарисованным глазом: кто, мол, такая? — оживленно заговаривали с тобой. А ты нарядился: красный пиджак, желтая рубашка, зеленые брюки и галстук в цветочек — почти до полу — настоящий клоун. И ты мне ужасно нравился. И чтобы отомстить за то, что ты мне так нравишься, я наступила на конец твоего нелепого галстука. Ты рванулся, запнулся, не понимая, потерял равновесие и полетел — шлепнулся на гладкий паркет. Вокруг засмеялись. И вот такой — растерянно-недоумевающий, с коленками в пыли и поцарапанным ухом, свергнутый с вершины твоего торжества и мужского кокетства, ты мне нравился еще больше!

...луна заливаает все бунгало, можно сказать, окунулись в луну.

...твои губы, язык...

...снова пробуждается: я — это он!

Темная рама окна — с головкой ящерицы...

...кто кричит: мы или ящерицы? Или птицы на берегу? Черный мохнатый страусиный кокос.

...плаваем друг в друге.

Я сидел в парикмахерском кресле, довольно крупная женщина-парикмахер стригла меня, прижимаясь то коленом к моему бедру, то нависая и впечатываясь в мое плечо большим мягким животом. Я был совсем юным и худым, мослы мои выступали, ребра можно было пересчитать, и окунаться в такое стратостатно-воздушно-упругое было очень приятно. Я видел в зеркало: она о чем-то говорила парикмахеру за соседним креслом, поворачивала мою голову легким и точным толчком руки вправо, влево, вниз подбородком — теперь я не видел ее — и продолжала прижиматься ко мне. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.

...луна уходит с постели.

...и ты отвернулась.

...я и не заметила, когда ты отодвинулся от меня, потянув на себя простыню, почти на край.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Зажги свет.

«Болит низ живота».

— Не надо. Луна.

«Будто и не она. А как кричала!»

— Хорошо здесь.

«О, мой бог войны!»

— Я даже не знаю, где мы.

«Не все ли равно».

— Ящерица — на стене. Замерла.

«Душно. Море дышит».

— Это она руки твоей испугалась.

«Надо принять таблетки. Где они?»

— Ты не видел, где мои таблетки?

«Опять она — свои пилюли!»

— Посмотри в своем чемодане, там, в кармашке.

«Уже охладел. Они всегда так».

— Ты куда?

«Не видит, что ли...»

Пауза. Все-таки слышна в комнате звонкая струя и шум падающей в фаянсовую чашу воды. Вернулся. Завернутая в простыню кукла усталилась в стену.

«Надо ей что-нибудь сказать. Не может без романтики».

Между тем все — в белом призрачном свете: стена, стул, тень от ящерицы. Ты сама — тоже одни глаза.

— Какое все призрачное. А тело твое прозрачное. Джин с тоником хочешь?

«Наконец-то повернулся ко мне душой!»

— Просто швец, без джина, со льдом. Смотри, ящерицы прыскают по стенам, как темные струйки.

— Держи.

«Глаза блестят, спрошу».

— Ты не хотела бы вернуться?

«Хочет вернуться! И слышать не хочу!»

— Куда?

«Сама знаешь».

— В Москву.

«Ну да, в инвалидную коляску!»

— Пошли на берег, искупаемся в океане.

«Не хочет отвечать».

— А все-таки?

«Убила бы!»

– Видела я твою Москву, в кривом чайнике Кремль – пузырем. Признайся, к своим потянуло? Литературная душа.

«Сердится».

– Ну и глупо.

«Слез с меня, сразу все забыл. А я боюсь. Боюсь возвращаться. От ярких – к бесцветным. Из океана – в коляску».

– Там все церкви, музеи – фанерные декорации, за которыми клопы ползают. А здесь все настоящее.

«Останется? Без меня?»

– А если нас вернут и не спросят?

«Мне отсюда – нельзя. И вправду, вылепят из меня горшок и разобьют вдребезги».

– Уцеплюсь за пальму, притворюсь малайкой, замуж за местного рыбака пойду! Чем опять на вашу помойку!.. Да и есть ли она – Россия? Как на этой планете поверить в нее?

«Лицо исказилось, как подурнела!»

– Ты же знаешь, что мы себе не принадлежим.

«Никому меня не жалко».

– А я им не принадлежу.

«Останется. Решено, вернусь».

– Здесь и правда райские места. Но скажут, знаешь, как говорили в свое время советским дипломатам: вас вызывают в Москву. А нам и не скажут – просто выдернут отсюда.

«Он меня любит. Почему же меня не любить? Кто он такой, чтобы меня не любить? Любит – будет со мной».

– Нет, тебе все равно, что со мной будет.

«Не понимает. Никогда не понимала».

– Нет, не все равно. Все-таки мы здесь чужие, мы из другого мира. Сретенка, Покровка – слов таких здесь сроду не слышали. Когда я сказал одному мальчишке-торговцу, что мы русские, «Russian! I know! – обрадовался он на пиджи. – Вы испанцам в футбол проиграли».

«Боюсь нутром».

– Знаешь, я всю свою недолгую жизнь хотела куда-то. Оказывается, я хотела только сюда.

На стене, белой от лунного света, происходило вот что. Ящерка догнала ящерку и мгновенно взобралась на нее – обе

застыли в лунном свете двухголовым чудовищем. Длинные извилистые рты улыбались знакомо. Танина, Танина картинка.

— *Угадай, кто мы?*

«Нет, этого не может быть! Ящерка в беретике!»

— *А как насчет вчерашних демонов? Еще не то покажу.*

Разбежались ящерицы на стене. Мы в тенях, как в прозрачной паутине.

— Чистые пруды мне уже и не просвечивают, — тихо сказала она. — А что, если это все: океан и небо — и есть настоящая реальность?

«Наверно, я ее не люблю».

— Боюсь, это прекрасный сон, проснешься, а ты дома.

— *А я всюду дома, даже в теле твоей дурочки — моей сестры.*

— Нет, нет, это мы там спали. Ехали в метро — спали, слушали лекции — спали, сидели на службе — спали, толковали вечером о свободе — спали на кухне, и когда любили — тоже спали друг с другом, ничего другого нам просто не оставалось. Спасибо Спящему, наконец-то мы проснулись. На берегу хорошо. Только шепот какой-то слышен, посторонний. Слышишь?

«Это Таня».

— Никого.

«Это я».

— Непокойно на душе.

«Вернешься. Ты вернешься».

«Таня, ты где?»

— Не позволят нам быть вечными туристами. Кто бы они ни были, Тамара!

«О ком ты думаешь? Думай обо мне! Ты обязан думать обо мне».

— Ты считаешь, это экзамен?

— *Прощай.*

Ящерка метнулась в щель двери. И сразу стали слышны писки летучих мышей, шорохи змей и ящериц — и все покрывающий своей влажной пеленой шум океана.

— Страшно, а вдруг не выдержишь? Экзамен, ерунда! Неужели меня, вот такую гибкую, ладную, меня можно разо-

брать, размолоть, развеять? Брать и разобрать... Брутто и нетто... (она что-то забормотала). Брат мой, любимый, помоги мне... объясни... Не хочу уходить из него... из тебя...

Я глядел на тебя и думал. Конечно, ты была беззащитна и таинственна. Может быть, слишком сложна для меня. Прежде о тебе надо было заботиться, брать тебя на руки, скорей всего, ты мне заменяла ребенка, которого у нас не могло быть. И я тебя отнес в твой Сингапур. Но здесь ты — полноценный человек. И не нуждаешься во мне. Что за силы заботятся о тебе? И не бросят ли они нас в этом раю, который нам показывают? Забудут где-нибудь в китайском квартале. Слишком хорошо все, так складно, что почти бессмысленно. Как калейдоскоп. Каждый раз, когда поворачиваешь трубку, возникают новые симметричные узоры. А это просто кусочки стекла пересыпаются, отражаясь в трех зеркалах. Я подумал, что таким может быть сон, а не жизнь. Но, видно, ты и хочешь свою жизнь прожить во этом сне. А я?

Ты уснула, белея в постели, даже черные твои волосы белесы. Полная луна окатывает серым светом и нашу туристическую хижину, и берег океана совсем рядом. Такие бесконечно длинные шелестящие звуки ложающейся на песок гигантской волны-медузы не услышишь где-нибудь у нашего Черного моря. Все здесь крупнее: и луна, и пальмы, и волны. И такое блаженство, что все равно — жить или совсем не существовать.

И все же сквозило мне в ночи сквозь лунную завесу, сквозь всех этих сиамских ящериц, сиамских кошек, сиамских близнецов, сиамский бокс — мелькающие ноги и руки — и сиамских слонов. Московское небо, крыши и люди. Волна грянула, докатилась до своей крайней точки и должна отхлынуть, отступить в породивший ее океан. Примерно так думал я или должен был думать этой ночью, потому что сильно не понравилось мне в храме Спящего показанное мне. Видно, и Тамаре было показано что-то в этом роде.

И я вспомнил виденное вчера вечером в городе. Держа за задние ноги белую в пятнах, жалобно визжащую собачонку, продавец-китаец вышел из освещенной лавки. Он пересек тротуар и опустил ее в ржавый бак для мусора. Собачонка сразу затихла.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Но мы продолжали свое неожиданное путешествие. Пока никто не торопился отправлять нас обратно ни во время нашей близости, ни просто самолетом.

Я все больше и больше чувствовал присутствие Тани. Оно возникало даже в мелочах и деталях вроде архитектурного завитка или узора — кудри или изгиб тела. Таня не оставляла нас. Сказать по правде, мне нравилось это преследование. И когда нависающей над баллюстрадой веткой глицинии она будто невзначай касалась моей щеки, я спешил ухватить ее губами, кусал и ломал ветку. Тогда она тихо вскрикивала от радости, а все вокруг не понимали, почему я ем цветы. Какой-то англичанин даже попробовал, на меня глядя, но тут же выплюнул. Горько. И вообще, сумасшедший русский. Они такие.

Тамара с подозрением смотрела на меня. Кто-то определенно стоял между нами, какая-то женщина. Но никого возле не было.

Сам я стал бодрее, скорее вскакивал с постели, похудел и помолодел, по-моему. Тамара в полусне часто называла меня Сергеем. Обиды никакой быть не могло, ведь Сергей в данном случае это был я, только моложе и сильнее. Или все же не совсем я.

Однажды я вышел ночью на балкон посмотреть на луну, покурить. Когда я отворил дверь в наш номер, я увидел на твоей постели под простыней два страстно прижимающихся друг к другу тела. Правда, головы его не было видно на подушке. Но она была ниже, я уверен, гораздо ниже. Ярость внезапно ослепила меня. Я быстро подошел и сорвал с тебя простыню. Ты лежала навзничь, раскинув свои смуглые длинные ноги, одна. Ноги конвульсивно двигались, желтые глаза твои сияли.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ночью у меня был Сергей, муж смотрел на него во все глаза, но так и не увидел. Я неожиданно поглядела на нас его, Андрея, глазами — странное зрелище:

...На постели под простыней два страстно прижимающихся друг к другу тела. Правда, головы его не было видно на подушке. Но она была ниже, я уверен, гораздо ниже. Ярость внезапно ослепила меня. Я быстро подошел и сорвал с тебя простыню. Ты лежала навзничь, раскинув свои смуглые длинные ноги, одна. Ноги конвульсивно двигались, желтые глаза твои сияли.

...Совершенно уверена, мы видим и чувствуем разное, отсюда анекдотические ситуации. Грустно, конечно. Лучше бы увидел и убил.

...Еще не решила. Полдня ходила по городу, примеряя на себя встречных во плоти, как платье в модном бутике.

Стемнело быстро. В темноте, сшибая плоды с деревьев, ударил косой тропический ливень. Я стала под навес какой-то лавчонки. Плотный китаец, извинившись, деловито прошел мимо, раскрыл синий зонтик и шагнул в дождь. Я оглянулась.

Сзади в дверях стояла молодая китаянка, держа на руках маленькую девочку-младенца. (Вовсе не на спине.) Она, видимо, сердилась. Обе мне улыбнулись. Она — незряче и запоздало. Девочка — разумно и заинтересованно.

Это я улыбнулась на руках у мамы незнакомой красивой старухе, белой и потому очень странной. Папу жалко. Вечно мама на него кричит и ругается, даже меня потихоньку больно щиплет за ляжку, чтобы я плакала.

Вот он! — возвращается наконец. Не мог позаботиться и захватить из дома второй зонтик. Ночью громко сопит, лаская меня. Толстяк — не люблю. Не люблю и буду мучить. Зачем мне эта крикливая девочка. И жить с ним совсем не хочу.

Плотный китаец, виновато улыбаясь, (ох уж мне эти улыбки!) раскрыл большой бумажный зонт, который он, видимо, купил по соседству, и передал мне, то есть своей вечно недовольной жене.

Зонт и зонтик прошествовали мимо меня и исчезли в кипящей мгле. Девочка мне улыбалась из-за плеча матери.

Дождь, кажется, утихал. Вода текла во всю ширину асфальта. Черная палка в коротких штанах и белой рубашке, сняв сандалии, с удовольствием шлепала вброд по улице.

Это я шлепала по воде. Я не была счастлива, больше — я была привычно голодна. Но есть мне, как всегда, не хотелось. Я спешила, вернее, спешил к приятелю уколоться, у него, я знал, есть, пусть плохо очищенная. И мне нет никакого дела до европейской женщины в синей юбке и белой блузке, которая внимательно провожает меня взглядом.

В дожде над морем снижается размытый белый огонь — самолет.

Я решила выпить что-нибудь, покрепче дождя. Прошла по крытой галерее к синей неоновой надписи. Там внутри был алый полумрак и столики, я поискала взглядом свободный, присела. Тут же появилась передо мной белая рубашка и черная бабочка. Виски стоил сверхдорого. Ага, вот почему.

На эстраде, на фоне постоянно меняющихся цветных экранов раздевалась, изгибаясь, смуглая коротконогая стриптизерка. Нет, на это стоило посмотреть. Артистка держала в руках две круглые пачки горящих свечек. Она лила на себя воск, и через некоторое время ее — мое тело все засветилось блестящими бляшками. Я танцевала танец живота. Мой покрытый светящимся панцирем живот крутился сам по себе — горячая сковородка. Я знала, всем этим рыбкам хотелось шлепнуться на мою сковородку, и презирала их всех. Скоро я наброшу халатик и сбегу по ступенькам вниз в полуподвал. В гримерной перед зеркалом муж будет бережно и ловко снимать с меня чешую из парафина, смазывая смягчающим кремом кожу, — и все равно будет очень больно. Кожа у меня нежная, чувствительная.

Внизу заплотировали. Мне некогда было их разглядывать. Надо было работать, за это мне неплохо платили.

Я, голая, опустилась в светлом круге на колени и, непристойно содрогаясь, запрокинув голову и высунув розовый острый язык, ловила ртом стекающие сверху капли, струи воска, как сперму. Мужчины внизу пришли в шумный восторг. И я незаметно выплюнула мокрый жеваный комочек воска в ладонь.

Нет, не хотела я, Тамара Сперанская так жить и работать. Но кем же мне здесь остаться? Работать вообще я не привыкла, особенно мне внушала отвращение теплая жирная

мыльная вода на ресторанной кухне. А жить и рожать глупой гусыней у богатого китайца я не согласна.

Дождь недавно кончился, но все уже высохло, только теплый асфальт дымился. Неподалеку светился цветными фонариками китайский ночной базар. Молодая китайка продавала парики под аркой галереи. Она надевала парик на лиловую болванку — лысую голову из резины. Я была этой лиловой головой. Меня можно было мять и сжимать, я принимала прежнюю форму. На меня надели нарядный парик. И узкая рука колючей стоячей щеткой тщательно расчесывала его, как шерсть на собаке. Не хотелось ни о чем думать, только смотреть и смотреть, как смугловато-желтоватая рука тонкой кости водит щеткой по моим ненастоящим волосам. И я, Тамара — лиловая голова, вспомнила все лысины, которые когда-то склонялись над мной. И бледную киношную, поросшую пушком. И красноватую — старого пройдохи и выпивохи. И смуглую южную лысину с жгучими глазами и густыми черными усами под вислым носом. Всем им пошли бы эти красные и сиреневые парики, но они и так были клоуны. И напрасно они старались надо мной.

И тут я увидела проходящую мимо в желтом, стриженную под мужчину, у нее был угловатый благородный череп, она явно была англичанкой. Ей, очевидно, не нужны были парики и вообще все внешнее. Она провела по мне глазами, видевшими иное и далекое, и они блеснули на миг тем, иным и далеким. А впрочем, монашка была вполне ко всему равнодушна, лишь постукивала пальцами без маникюра в свою алюминиевую миску. И мне страстно захотелось сделаться ею и такой здесь остаться.

Я попыталась проникнуть в нее, но не тут-то было. То, что в ней происходило, было похоже на кадры какого-то кинофильма. Итальянская вилла с французскими окнами до полу — в сад. Тренировочный зал, я ногами поднимаю штангу. Стою под контрастным душем. Молодые люди во фраках. Девочка и мальчик — бегущие навстречу дети. И лохматая огромная собака. Потом — мои холеные красивые руки душат какого-то неприятного старика. Тюрьма, в окно для свиданий просовывает

ся бледный толстый нос и лысина адвоката. Но этот фильм я уже смотрела, причем не один раз... Не за что уцепиться. Вместо настоящей реальности мне представлена наскоро придуманная подмена. Не пускает в себя. Сильный характер.

Тогда я решительно догнала монашку и обратилась к ней. Англичанка равнодушно-приветливо посмотрела на меня и отвечала что-то, по-моему, по малайски. Пока я растерянно хлопала глазами, монашка протянула мне миску для подающих, я бросила в нее несколько монет — машинально.

...Да так и осталась стоять под фонарем.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утром мы долго ехали. Мимо полей, где крестьяне в широких соломенных шляпах убрали рис. Как на картинке в учебнике. Мимо школьного стадиона, где всё шумело и волновалось. Шли соревнования — и сине-белые школьники махали сине-белыми флагами. Обгоняли пестрые грузотакси, под жестяным, разукрашенным вычурными наивными рекламами, навесом в кузове на скамейках и в проходе теснились люди, узлы и корзины. Из дверей пузатого автобуса свисали живыми гроздьями.

Наконец нас — туристов привезли к быстрой мелководной реке, за которой на склоне горы толпились джунгли. Мы перешли мост над прозрачной водой, закипающей стеклянными водоворотами над красными мелями, и пошли наискось вверх по тропинке, проложенной среди густой зелени и свисающих лиан. Солнце припекало не очень. Вблизи слышались какие-то щелкающие звуки.

Я как-то позабылся. В зелени загудела пчела. И на миг стало все узнаваемым. Это в Подмосковье летом я иду по лесу. И стучит в соснах дятел. Так недавно на улице я вдруг понял, что говорит один смуглый тао другому, на мгновение мой слух обманулся русской речью.

Или вот еще. В отеле у бассейна. Я читал русскую книгу. Рядом на белых лежаках загорали белые пары. Глянув поверх страниц, я почувствовал близость и обычность этой реальности, уже не новой для меня. Как будто в Крыму. А где-

то там, за лужайкой, за оградой отеля МАНДАРИН рычал и задыхался вонючий Бангкок на черном закате.

В общем, я уже соскучился. Но здесь нас ожидали слоны.

Я еще издали увидела — серые, непомерно большие и все-таки не такие большие. Огромные своей натуральностью, тем, что вот они — были далеко, в считанные минуты стали близко. В цирке и зоопарке слоны не такие большие, подбирают их, что ли, таких нарочно дрессировщики. Но здесь, на фоне пальм и тропической зелени, они были уместны и естественны, и стало видно, какие они кожаные, большие и неторопливые. На шее каждого животного сидел мальчишка-погонщик и подбадривал его ударами босых грязных пяток в мягкую изнанку ушей. Слоны слушались, как бы снисходя к своим маленьким хозяевам, и двигались, перетекая мускулами, с большим достоинством. Ужасно захотелось очутиться на широкой слоновьей спине с острым хребтом посередине и бить, толкать пятками в эти шевелящиеся уши, спадающие мягкими складками.

Уже наполовину мальчишка-погонщик, я подошла ближе. И тут же стала забавным слоненком, который подталкивал кустистым лбом худенькую немку к корзине, полной свежих бананов. Я толкала ее в плечо довольно ощутимо: «Ну, купи! Купи, пожалуйста!» Мне эта игра была давно знакома и доставляла удовольствие. Торговец стоял, прислонившись к серому стволу дерева и, казалось, не принимал во всем этом никакого участия.

Немка беспомощно улыбалась и не покупала.

Тогда пришлось вылезти из слоновьей шкуры, достать кошелек и протянуть слоненку целую гроздь бананов.

Я осторожно взяла у себя хоботом желтое лакомство и отправила себе в рот прямо с кожурой. Потом вскинула свой хобот и издала почти непристойный звук. Я уже умела трубить.

Между тем слонов заводили в глубокую ложбину. Там были дощатые сходни, покрытые плетеным настилом. И по ним можно было перейти на спину слона.

Я попрощалась со слоненком, он положил мне хобот на плечо. Какой странный шевелящийся нос! Я погладила его. Серая толстая кожа неожиданной нежностью отозвалась на мое прикосновение.

Затем по настилу я радостно перешла на крышу пагоды, иначе не могу выразить мое чувство. Мальчишка толкнул слона пятками, и пагода двинулась. Восседая на циновке грубого плетения, я крепко ухватилась за петли каната и поплыла высоко среди деревьев и пальм, покачиваясь на волнах — подо мной двигалось громоздкое тело. Штормило довольно сильно. Но я всегда любила стихию.

Я оглянулась. Андрей, издали так похожий на Сергея, остался на берегу. Так я и думала, не решится. Он уплывал все дальше и дальше, заслонили деревья, как будто и не было. Меня охватила паника, как малыша, потерявшего из виду мать. Скорей, скорей поверни свой корабль назад, погонщик! Я шлепнула ладонью в темную спину. Миловидная коричневая рожица повернулась ко мне: что, мол, вы желаете, белая госпожа? Я только жалко улыбнулась ему: ничего, ничего, все идет так, как и следует ему идти.

— О кей! О кей! — он потыкал в затылок слона прутиком. И мы поплыли дальше.

Мы поднимались в гору. И над вершинами леса я увидела другую серую гору, двигавшуюся в ту же сторону. Я не очень хорошо вижу вдаль, но сейчас я видела: в джунглях шагает Путник. Я различала гладко выбритую голову и спадающие складки желтого одеяния. Я уже видела его прежде.

Он стоял, прислонясь к храму — головой выше кровли. Внизу на лужайке играли и бегали дети. В быстро сгущающихся сумерках Путник смотрел вверх — на свой срединный путь. Плоское золотое лицо было непроницаемо. Желтый плащ паломника ниспадал крупными складками. Детские голоса одиноко и пронзительно перекликались в сиреневеющем воздухе. Стриженная скелетообразная нищая лежала ничком на ступенях. Жестяная миска белела внизу в траве. Как шла, так и упала без сил.

И теперь я уплывала за Ним в зеленое море джунглей. Я видела свой путь ясно. Я буду плыть, ехать, идти, стриже-

ная, худая, оборванная, с белой миской для подаваний. Пока не упаду перед Ним без сил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На крыше отеля МЕРЛИН разноцветно сверкала вывеска полинезийского ресторана АЛОХА — цветные лампочки всю ночь отражались в темной воде бассейна.

Вечером Тамара откуда-то пришла, стриженная, в желтом монашеском одеянии. В руке у нее была жестяная миска для подаваний, которую она бережно положила на стол. Я попытался заговорить с ней, но она вела себя более чем странно, отчужденно смотрела сквозь меня и демонстративно не отвечала.

Мне надоело. «Чертова кукла!» — раздраженно подумал я и ушел. Спустился в вестибюль отеля. А там наугад нырнул в неостывшую к ночи темноту улицы.

Оттуда с океана дует влажным теплом. Крытая галерея. Решетки запертых магазинов. На тротуаре свернулась клубком белая собака, спит. В той же позе спит на циновке седой индус. Спит щербатый велорикша, запрокинувшись поперек своей коляски. Дреmlют, сидя на стульях и привалясь к стене бородатые сторожа: один в зеленой чалме, другой в розовой. Уличный торговец поджаривает мясо на вертеле. Из бара вышли две проститутки. Шевеля своими пышными телесами, пошли, как собаки, на запах жареного. Подкрепиться. Спит реальность, спит воображение. Только ветер с океана горяч и настойчив.

Дальше светился китайский ночной базар....

Когда вернулся, Тамара уже спала, худенькая во сне особенно, неловко уткнувшись в подушки, как-то мучительно и судорожно порой вздрагивая. Миска на столе сосредоточенно отсвечивала яркой точкой настольной лампы, как будто стараясь напомнить о себе.

Проснулся. От острого чувства одиночества. Я был один. Было еще темно. Но темнота уже редела — свет наносило ветром оттуда, с океана. В соседней мечети запел муэдзин. Оборвал пение. Пауза. И снова. Красивым высоким голосом — перед рассветом. Какая это тайна — проснуться одному в

чужом городе. Вновь мелодический вскрик. Тишина. Лишь редкие машины шаркают мимо. И ровным фоном — теплый тропический ливень.

Я опустился на подушку, натянул на себя простыню. Ты заворочалась, но не проснулась. Увидел — в синем свете ночника: поверх одеял лежат наших четыре руки. Странно: две мужские волосатые, и две тонкие, почти детские, темные. Похоже, они двигаются. Полусогнуты в локтях — медленно перемещаются по гладкому хлопку сонным большим пауком. Будто угрожают нам наши собственные руки. Или это новое, удвоенное в любви и ненависти существо? Порожденное нами и нам же угрожающее. Ее тоже называют четверорукая.

Вчера на улице — 12 часов дня. Влажная рубашка прилипает к телу.

На каменных беленых воротах уселись розовые, синие круглопузые демоны. Заглянул во двор. И сразу зябкие мурашки пробежали от затылка по желобку спины.

Они сидели у входа в храм — по две с каждой стороны, как бы удвоенные. В два человеческих роста. Обнаженные груди — восемь обнаженных каменных сисек; казалось, сожми их — и потечет каменное молоко. Выпуклые глаза с обеих сторон смотрели на меня выжидающе. Каждая богиня держала в одной руке волнообразный крис, в другой — раздувающую капюшон кобру. Всё сладострастно извивалось: и кинжалы, и змеи, и складки одежды. Богини сторожили храм, вернее, то священное и таинственное, что пряталось там, — я уже видел — в багряной полутьме.

Я снял сандалии и в одних носках вошел в храм. Там, внутри, меня обступили раскрашенной толпой изваяния, как будто даже толкаясь и настойчиво тесня дальше в глубину. Нахальнее всех вели себя два каменных жонглера. Два бога Шивы манипулировали — каждый четырьмя руками: подбрасывали и ловили нечто, и так ловко и быстро, что я не успевал разглядеть, что это. И это нечто было легче пушинки и хрупкое, как перепелиное яйцо, зависящее от тысячи случайностей, затерянное здесь, на острове небоскребов вблизи экватора, и брошенное сюда, в красноватую полутьму к

подножию Той, что темнела в глубине алтаря-витрины, в складках алой материи, тускло освещенная сбоку.

Это была статуэтка четверорукой богини смерти. Все четыре руки ее держали или возносили что-то золотое: медальон или трезубец. Нет, не давалось это зрению... И всё выскальзывает, выпадает из памяти, улетучивается. Видно, невыносимо ей такое удерживать. И хотя я понимаю, что виденное мной имеет ко мне прямое и непосредственное отношение, что разгадка — просто вот она, тут, еще одно движение, усилие — и я прикоснусь, вспомню... Нет, не хочу я делать этого движения, не должен вспомнить, не могу. Иначе я сорвусь со всех крючков, как пружинка, и выскочу из этого золотого обольстительного круга — в слепое безумие, не знаю во что! Что во мне кричит, не умолкая? Что просит каменного молока вечности? Ребенок-переросток, которого неразумная мать еще держит в колыбели и вообще отвернулась, зовет хриплым басом родных, но, не дождавшись помощи, сам себе затыкает рот пустышкой — тут же выплевывает ее.

Когда я, наконец, вышел из храма, небритый мужчина в розовой чалме и очень темный мальчишка в сторонке чистили две высоких медных курильницы в виде чаши на лапах. Собственно, чистил мужчина. Мальчик окунал тряпку в белый порошок и подавал ему. Одна курильница уже был вычищена и так горела всей славой на южном солнце, будто понимала, что еще сегодня будет возносить ароматный дым курительных палочек, прислуживая богине.

— Кали? — обратился я к мужчине, чтобы что-нибудь сказать.

— Кали, Кали, — заулыбался мужчина.

— Шива?

— Сива, Сива, — улыбаясь, подтвердил он.

И теперь, задремывая, вижу переливающийся дымчатый шар, который для опытного зрения слоится миллионом реальностей.

Вот что цепко держала богиня смерти Кали всеми своими руками.

Вот чему улыбался мужчина во дворе храма.

Вот чему улыбались бритоголовые, расходясь после церемонии сожжения красных катафалков.

И шар кружится, перекатывается в пустоте и показывает нам то, что мы способны увидеть — и очень многое, что мы просто не видим или пока не видим... Миллионы человеческих глаз вглядываются в незримое — слишком шумное для нашего зрения...

Между тем, в темноте шум тропического ливня как-то перестал походить на самого себя. Я прислушался теперь он был больше похож на звуки летнего дождя, который барабанит по московским крышам. Было слышно, как неистовые струи ударяются о железо и об асфальт. Как где-то рядом гремит и жалуется водосточная труба всеми своими ржавыми ревматическими коленами. Просветлело, и правда обозначила себя нашей московской квартирой, с темными квадратами картин и голым предрассветным окном.

Спящая рядом легко вздохнула и открыла глаза — в моей реальности или где? Смотрю — и не узнаю.

Я не ищу истины. Она и так есть, ей даже не надо обнажаться, чтобы увидели ее. Истина очевидна. Просто мы сами закрываем глаза и отворачиваемся.

...В предрассветных сумерках, когда все еще смутно и неопределенно, приподнявшись на локоть, я рассматривал рядом спящую. Я не был уверен, что это Тамара, что она последовала за мной, уж очень не хотела. Лицо было еще полустерто сном и не выявлено светом. Тем более, что черты распустились, расправились – во сне оно помолодело. Стрижка как у мальчика. Плоские веки, губы без косметики – она была похожа на многих женщин, которым я заглядывал в лица. Скупое намеченное, обобщенное. Любимое, целованное мной не раз (губы, которые мягко, податливо раздвигались ищущим моим языком, их обволакивающая, засасывающая в сладость трясина) – да! Но чье, не уверен.

Мгла между тем все истончалась и редела, и рисунок на смятой подушке проявился вполне. Она открыла глаза сразу – и я отпрянул.

Это была не Таня, не Тамара. Даже не похожа на них. Восточные с поволокой глаза, еврейские пухлые губы, подбородок с ямочкой. Главное, когда-то полу мальчиком я ее знал, и был не то что влюблен, а как бы тягостно прилепился – все время хотел ее видеть и трогать. Тяжелое вымя, довольно большой живот – вся она отпечаталась во мне. Смугло-коричневая, она была похожа на сладкую сливочную помадку, и коровий взор ее так же тянулся ко мне. Алла – вот как ее звали.

Она посмотрела и не удивилась. Потерлась о мою щеку щекой – «какой колючий!» – перелезла через меня и, тяжело ступая по полу, подошла к стулу, начала одеваться.

«У нее и одежда тут», – подумал я.

— Тебе вчера звонили из журнала, — вскользь сообщила, втискивая себя в джинсы. — Главный недоволен, где материал? Приходи хоть к четверем, передал, но чтобы статья была вовремя. Надоело. Так и передайте ему, надоело.

«В курсе моих дел. Что, она живет здесь?»

— У меня сегодня дежурство с утра. («Она же врач!») Так зайди в магазин и купи что-нибудь на вечер. Да и сам не поздно приходи. И не пьяный. Что молчишь?

— А чего отвечать?

— Услышал ты меня или нет, мне ведь тоже знать надо.

— Услышал.

— И на том спасибо.

— Пожалуйста.

— Не хаами.

С этим Алла прошествовала на кухню пить свой утренний кофе — большую кружку, с молоком. Почему-то я знал ее привычки. «Неужели она моя жена? — панически пронеслось в голове. — Лично она в этом не сомневается и распрягается мной привычно. Не один год, видно, живем — ничего не помню. Надо Сергею позвонить. А как же Тамара? Еще вчера я засыпал в номере отеля, мраморный умывальник, розовый унитаз и ванна, а просыпаюсь — вот она — почти коммуналка. Если я здесь живу, то кто же в мое отсутствие тут жил за меня, жениться успел? Слава Богу, детей, кажется, не успел нарожать, ведь она к этому всегда была готова — и все мои будут».

— Чао! — на ходу сказала жена Алла и протопала копытцами-туфельками к выходу.

«Неужели кто-то похожий на меня? А если это я, тот же я, но со своим сознанием? Вот сейчас он, который я, явится — видно, загулял, и, известно где — как мы этот узел развяжем? Хоть драться не станет, себя я знаю. А может быть, он там остался, среди пальм и кокосового мусора на берегу океана, и это я вынырнул оттуда? А если меня выписали из сумасшедшего дома и Алла ведет себя, будто ничего не случилось, для профилактики, ведь она врач!»

Много вопросов я задал сам себе. Тот, другой, возможно, мог бы на них ответить, но я ничего вразумительного не на-

ходил. Одно было неоспоримо: я работал в своем журнале, на работу несколько дней не являлся, материал не предоставил. Неужто запорол?

Зазвонил телефон.

— Алло! Слушаю.

— Ну вот, наконец-то! Ты что загулял, видел я тебя с черноглазой, или на дачу ездил? Лето в этом году, правда, никудышное — дожди.

— Кто это?

— Сергей.

— А как же Тамара?

— Какая Тамара?

— Ну да...

— Приезжай сегодня пораньше. Статью твою ждут.

— Зияние. Нет пока статьи.

— Борода будет очень недоволен.

— Значит, битым быть.

— А ты свою старую, помнишь, показывал, переделай. И тут и там о новом в литературе.

— Но ей же уже три года.

— Подумаешь, там о концептуалистах, здесь речь пойдет о постмодернистах. Не одно ли и то же? На полчаса работы. Только фамилии другие поставь. А можешь и эти оставить...

— Пожалуй, я так и сделаю.

— Не сомневайся, Доберман.

— Спасибо, выручил, Слоненок.

— Бросайся и хватай их за жопу.

— Ну, ты забыл, я все-таки добер ман.

— Я не забыл, это ты забыл.

— До встречи в редакции.

Я залаял и зарычал, подражая злобному псу.

Он в ответ задудел в нос.

Все обстояло, как прежде. Да и что здесь могло измениться. Возможно, приснилось. Летаргический сон, продолжается целую неделю, бывает в природе. Вот Гоголя откопали, а он на другой бок повернулся. Хотя на какой другой бок, он же носом вверх лежал! Чем? Ну, произведением своим вверх! Куда вверх? В крышку гроба. Чепуха какая-то!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так и пошло и поехало по старым рельсам под прежний мотив. Впрочем, кое-что поменялось. Например, жена. Я-то помню, что у меня Тамара была и шрама у меня на лбу наискосок не было. А радикулит не беспокоит. Недавно себя в зеркале изучал. Толстое стекло старалось выглядеть честным до малейшей подробности. Но что-то в нем с краю поблескивало косым срезом (зеркало старое), из голубоватой глубины подмигивало — чем, не разглядишь.

Размашистые брови, вечная небритость, этот шрам. И смотрит отчужденно. Кто его знает, может быть, и не я. Но окружающие на этот счет не беспокоятся. Наверно, им видней. Хотя мы ведь к другим не присматриваемся. Какими запомнили когда-то, такими и видим. Прическу поменял! Заметим. Усы сбрил! Тем более. А тот ли человек перед нами? Паспорт есть, значит, сомнения нет. А потом и говорим: «Этого я от него не ожидал!» «На него это непохоже». А он совсем и не тот. Ну, да ладно.

Выждал несколько дней, Татьяне позвонил. Не удивилась, сразу к себе позвала. Я сразу и поехал.

Живет в белой башне-многоэтажке на краю Ленинского проспекта. Само название, казалось, должно исключать всякую мистику. Но пока ехал, минут сорок, пришел к выводу: в самой фигуре вся мистика и заключается, хоть материалисты ее и отрицают. И просто видно, как от этой восковой куклы в мраморном торжественном подвале темные лучи во все стороны расходятся. Настоящий вуду. А вокруг — зомби, зомби, зомби. Не хватало только свежей кровью петуха желтый лоб окропить.

Шел наискосок через поле-пустырь с березками по краю шоссе. В любое время дня и ночи здесь собак прогуливают, без поводков. Рослые собаки носятся за палками и усердно их приносят хозяевам. Вечная игра. Доберманы (как я, я тоже быстрый), доги, ротвеллеры. Бросить бы им куклу, мигом бы растерзали. Зато зла в мире поубавилось бы. Вот такие и подобные им праздные мысли приходили мне в голову. Как понимаю, заслон, чтобы я не думал о том, что посто-

янно шевелилось в глубине, хотело оформиться — покоя не давало.

— Ну, здравствуй, лягушка-путешественница! — обняла и мимолетно, полудружески прижалась плосковатым, с девичьими грудками. Удивило: дома — она без берета, коротко подстрижена.

Усадила за чай, сервированный на журнальном столике. Естественно, к чаю — сыр и водка. Специально для меня расстаралась. Сама пила кофе.

— Картинки показывать будешь?

— О чем ты?.. — а сама улыбается — извилистая линия губ — ящерка пробежала.

— Я буду задавать сумасшедшие вопросы.

— На вопросы будут ответы.

— Поговорим как магнитофон с магнитофоном.

— Ты — свое, а я — свое.

— И никаких картинок.

— И никаких картинок.

— Представь себе, на берегу Тихого океана очень теплая ночь. Белая луна над темной полосой всякой кокосовой ветоши на песке. Мощные шлепки прибой. В бунгало для туристов по стенам бегают ящерицы. Помнишь?

— Не помню, но вижу.

— Две ящерицы — одна залезла на спину другой — ведут себя совсем непристойно. Как впрочем и обитающие там мужчина и женщина. Вспомнила?

— Не помню, но знаю. Мужчина на спине женщины. Очень ярко изобразил.

— Не смейся.

— Я не над тобой, над собой.

— Тамара, это имя тебе ничего не говорит?

— Какая Тамара?

— Моя жена. Теперь ее нет, ну вообще...

— Интересно.

— В инвалидном кресле передвигалась.

— Понятно.

— Там, где мы оказались, она бегала легко, как девочка.

— Где же вы были?

— Во сне или у экватора, думаю. Но она там осталась!

— Кто?

— Тамара — моя жена и любовница.

— Насчет любовницы не уверена, но твоя верная и любящая — Алла, вот уже десять лет наблюдаем.

— А как же Тамара?

— Ты ее здорово придумал, вот что я тебе скажу.

Между тем вижу, за спиной моей собеседницы туманно рисуется. На мягкой кушетке, которая служит ей постелью, две головки рядом: каштановые кудряшки-завитушки — Таня и темная стриженная под мальчика — Тамара. Таня обнимает Тамару — рука между ног, та беззвучно смеется.

Я даже слов не нахожу.

— Но вот же она!.. Вот... Ты сама ее мне нарисовала!..

И стерла...

— Глупенький. Ты же знаешь, мне передалось и ты увидел.

— Но это же она!

— Конечно. Тебе приснилось? или ты вообразил. И в тебе такой заряд остался, что мне передалось.

— Но и ты там была. Со мной.

— Где я только с тобой не была.

— Я не про ЛСД!

— Ну, в другом месте и в другое время. Разные куски реальности. Совсем разные. Несовместимые друг с другом. А ты, голубчик, взял и наложил одно на другое. Так нормальные люди не делают. Вот такой странный Сингапур и получился, причем с китайскими узорами.

— Если там не была, откуда ты — про Сингапур?

Еще налила водки. И себе. Опять извилисто усмехнулась.

— Уж поверь, в таких случаях всегда какой-нибудь Сингапур получается.

— Значит, не было ее здесь.

— Теперь, считай, не было.

— А прежде? Я инвалидное кресло на колесиках на ант-ресолях обнаружил. А ты — не было!

— Инвалидное кресло — еще не доказательство, — усме-хается и новую картинку мне показывает. На клетчатом шот-

ландском плеле две зубчатых тропических ящерики — одна на другой. Исчезли.

Вспомнил я, что еще больная тетушка моя в этом кресле сидела. Действительно, не доказательство.

Так мне и не удалось ничего выяснить у моей давней приятельницы Татьяны. Интереса своего, особенного женского, она не проявляла ко мне, как прежде. Или мне показалось. Однако подозрения мои окрепли. Дразнит она меня, что ли? Или все же мы были с ней в нашем Сингапуре? Действительно, что-то у меня сместилось, и все-таки. Я же помню, что уходил — и даже один. Почему не попробовать снова — может, получится.

Хрустальная пробка куда-то задевалась. Искал в буфете, нашел недопитую бутылку «Столичной», пробку от шампанского и резиновую пробку от бутылки с бензином. Хотел было пойти в антикварный и купить какой-нибудь хрустальный графин — боюсь, все равно не получится. Я уже вертел перед глазами на солнце рюмку из хрусталя — одно мерцание. Что-то ушло. Совсем?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Время стояло. Обычно мы этого не замечаем, ведь солнце движется, стрелки часов кружатся. А потом ахаем: вот и год прошел, как же мы этого не заметили? А год не шел, он стоял. Как погода на дворе стоит. Просто никаких событий, впечатляющих и подвигающих наши души, не случилось. Этим измеряется движение времени, не солнцем, не часами. Время — это ты сам в своем внутреннем ритме: напряженный — значит, время идет. Но перестал слышать свой ритм. Пружина ослабла. Молоточки внутри затихли. Колесики — стоп. Будни. Ничего не происходит. Время стоит.

Крошечный чертик все же попискивал во мне. Я искал в квартире следы другой женщины. Ведь если мы жили столько лет вместе, следы, как я предполагал, должны были остаться. Прежде всего на свое жилье женщина накладывает свой особенный отпечаток: ее книжка, ее журнал, сунутый за туалетный столик, ее помада... Но разве эти окурки в же-

стяной мятой банке на кухонном столе не говорят о ней, как и ее волосы, жирные пятна крема с краю зеркала? А черные трусики, которые с утра — под подушкой. И стулья тоже расставлены: один наискосок, другой всегда у изголовья, а этот — ножка сломана — выставлен в коридор, чтоб не сядились. Однако забывчивая хозяйка все время ловит гостей на эту приманку. Где стул? Да вот он! И ничего не подозревающий гость садится и тут же опрокидывается вместе со стулом. Ах, простите, он у нас сломан! В общем всюду — Алла и никакой Тамары.

Стал старые фотографии разбирать. Они у меня в большом пластиковом пакете без разбора напиханы. Разные женские лица, но больше — все та же Алла, даже неприязнь к ней шевельнулась. Ведь любил же, любил. Зачем же в моей жизни так явно присутствовать? Чуть было не подумал: лезть! Пальмы, это в Ялте. Опять Алла.

А вот песок, край моря, лежит в темном купальнике, тоненькая, голову на фотоаппарат повернула. Есть! Нашел. Гораздо моложе, правда. Улыбается слабо. Улыбайся, улыбайся, милая. Ты сейчас сделала замечательное дело, ты меня спасла и вооружила. Проглядели тайные силы, проворонили. Не все в моей квартире и в сознании окружающих вычистили. Халтурно работаете, ребята. Спешите, наверно. Вы и в Коктебеле побывали, даже призрак ее у моря развеяли. Никто из коктебельцев никакой Тамары, ручаюсь, теперь не помнит. И в пластиковом пакете пошуровали — что я, не вижу! Будто ветер прошел по мне и моим друзьям и знакомым! Однако один фотоквадратик пропустили, видимо, с другим склеился. Сразу на душе легче стало. Освободился я от тягостного недоумения. Был Сингапур, был.

Подсунул я при случае это фото Сергею в редакции. Посмотрел, отодвинул.

— Ничего, девочка.

Придвинул снова. Стал рассматривать.

— Послушай, а ведь это та — твоя подружка, сколько же лет назад это было? В Коктебеле, помню. И я со своей пермячкой — ночи на пляже проводили, от прожектора с заставы за лежаками прятались. Да, развлекались солдаты сроч-

ной службы за наш счет. Хорошие времена были, сказочные. Возьмем банку, вино дешевле воды, и пьем с вечера. А с утра опять — железную бочку на набережную привезут, пей сколько влезет, море рядом. Голова только от вина болела. Вспомнил! Мою звали Мариной — все Цветаеву читала в самые неподходящие моменты, а твою — Тamarой.

Верно. Могло быть. Возможно, и было так — во всяком случае, все в таком роде помнят. Нет, не промахнулись вы, ребята, уж не знаю, как выглядите. Приманку на виду — одну — оставили, я и купился на фотокарточку. Работа чистая. Теперь и себе самому ничего не докажешь. Ведь это главное, чтобы себе самому. Над этим я и бьюсь, можно сказать. «А где я был? У Нинки спал», как сказал поэт Игорь Холин. «А что жене своей (Алле) сказал?» Память у меня отшибает после второй поллитры, если еще и бычок смолить при этом, и дурь-дрянь, что хочешь привидится в синих кольцах дыма, особенно если девочка была в Коктебеле, который был тот же Сингапур когда-то — и явился залитый солнцем снова.

Есть такой Куприян Никифорович, человек простой, учитель жизни. Квартира у него — притон по-милицейски. И решил я к нему заглянуть все же и кое-что выяснить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

У Куприяна Никифоровича — маленькая квартирка гостиничного типа в огромном доме с длинными коридорами (два ряда дверей, мозаичная плитка) и двойными старинными лифтами в проволочной клетке. Углов, по-моему, на этаже было не меньше десяти. И вдруг — тупик, желтая глухая стена, поворачивай обратно — да туда ли еще придешь, неизвестно. По такому дому целый день можно блуждать, во все двери подряд звонить — белые фаянсовые номера, номера мелом, просто без номера — так и не найти нужной квартиры. Кухни были общие на каждом этаже. И уборные — тоже, М и Ж. Этот сумасшедший дом был построен в двадцатых годах архитектором, который верил в общее коммунальное счастье.

В одной из таких квартир на десятом жил Учитель Жизни, как мы его называли полуиронично-полувсерьез. Компания сидела долго и к моему приходу уже сплотилась-склубилась в один липкий ком, осиное гнездо, откуда вырывались сердитые и восторженные выкрики.

- Привет! Пропавший!
- Павший на поле!
- На поле конопли!
- Головки мака приветствуют тебя, путник!

Под потолком синевато витал призрак кайфа. Уже курили. Не хотелось мне эту компанию описывать, не к месту она в моем повествовании. И люди совершенно лишние, нет им здесь никакого интереса, появление их здесь бессмысленно, чужие они, даже пространства, отведенного им на бумаге, жалко. Ну, поскорее, промельком, как-нибудь, чтоб отделаться – тоже не получается. Уж очень яркие и нахрапистые личности. Например, сам хозяин Куприяша – фонарщик. Безволосое лицо кукишем, маленькие хитрющие глазки и тело совершенно атлетического сложения. Неопределенных лет, в прошлом, кажется, сторож на кладбище, потому и «фонарщик». Теперь техник-смотритель этого самого коммунального здания и Учитель Жизни по совместительству.

- Жизнь – бред, мир – балаган, – приветствовал он меня.
- Нельзя с тобой не согласиться, Учитель, – отвечивал я. – Разговор есть.

– Прежде выпей.

– Выпей, выпей! – заверещали, налезая на меня, всякие знакомые, полужнакомые, полупьяные и пьяные рожи и рожицы. Одна с размазанной помадой, оплывшая, даже какая-то сальная, лезла ко мне целоваться – всего облепила. Были тут и миловидные девушки и несколько художников. Довольно известный актер.

- Стоп. Теперь рассказывай.
- Я у тебя в пенале лежал?
- Было дело.
- Я про эту неделю.
- Не удостоил.

- Может, заезжал, просил. Ты мне и дал, по старой памяти.
- Пусто было. Межзвездная пустота.
- А как же? Как же? Нам обещал! – заверещала кудрявая смуглая лет шестнадцати на вид.
- Цыц, птичка! Твое дело по зернышку клевать. Говорю, не было ничего серьезного.
- Жаль. Значит, я бредил.
- Я и говорю: жизнь – бред...
- А мир – балаган! – подхватили присутствующие.
- Ну, спасибо, Учитель, – говорю, – разговор откладывается.

– В следующий раз учту, заранее приготовлю, – фонарщик явно показывал, что я не чета другим, что уважает.

И снова загомонили, задвигали стаканами. Слишком шумно, напоказ. Поняли, «фонарщик» больше сигарки не свернет. Веселье на излете быстро угасало. Почувствовав это, Куприян Никифорович снял с себя синюю футболку с рваными рукавами – и явил изумленной компании такой загорелый и вылепленный торс, античным героям впору.

«Фонарщик» вышел на середину комнаты, лег навзничь, раскинув руки и ноги, и предложил девушкам ходить по нему. «Топчите меня смело».

Девушки моментально скинули босоножки и туфли, и сначала нерешительно, потом смелее – одна прошлась, другая – в кудряшках стала ему на грудь.

- Изобрази ласточку, гимнастка.
- Твердо, как броня танка.
- Гуляйте по мне, балетные ножки. Жить философу, дышать легче.

Вокруг одобрительно засмеялись. Видимо, не в первый раз созерцали.

Пьяный художник Леня тоже решил попробовать.

- И я хочу! И мне – топтать «фонарщика»!
- Не лезь своей грязной пяткой!
- Мочало!
- Холсты свои топчи!

Леню оттащили. Он сопротивлялся, стал раздеваться. Плача и рыдая, стал просить, чтобы девушки тоже ходили по

нему. Нежными ступнями. Легкие, как у Боттичелли. Почему им пренебрегают? Он же работал натурщиком. Пусть ходят все! Сцена решительно отдавала достоевщиной.

Я вышел в другую комнату, похожую на пенал, без окон. Здесь был раскинут диван-кровать, на котором обычно глотали таблетки, реже — кололись, чаще — занимались любовью и всегда предавались грезам. Здесь, в необычной для места позе, то есть заложив ногу за ногу и выпрямившись, сидел актер. Он курил, просто курил CAMEL lights. И просматривал какие-то листочки на машинке, видимо, роль из пьесы.

— Вам скучно ?

— Я обычно сюда или в храм хожу, Косьмы и Демьяна. И здесь и там хорошо, интеллигенцию привечают.

По тому, как он сказал: «в храм», а не «в церковь», можно было заключить, что он православный, верующий. Я присел рядом и вдруг ощутил такое доверие к руке его с металлическим браслетом часов, к тонким пальцам, которые держали листки роли, что мне захотелось рассказать ему все без утайки. Я и рассказал о Сингапуре этой руке.

Рука опустила листочки и пробарабанила по столу в раздумье.

— Не верю, — сказала рука с режиссерской интонацией.

— Не убедительно.

— То есть как?!

— Возможно, все так и было. Но это неправильно. Так быть не должно.

— А если бы туда переносил героин? Вы бы поверили?

— Другое дело! Лезешь в небо сквозь потолок и повисаешь там желтым дымом.

— Но можно было все пощупать, кусок дурьяна откусить и выплюнуть, я там был, ручаюсь.

— Когда сатана показал Христу все царства земные, тоже можно было все их пощупать. И откусить и выплюнуть, — пронзительно возвестил апостол.

— Это была параллельная жизнь, — возразил я книге с черным тисненым переплетом.

Новый Завет моментально превратился в конференсье:

– Анекдот на эту тему... «Девушка, платите штраф!» Девушка и говорит милиционеру: «Я же переходила параллельно!» То есть, параллельно переходу.

– Верно, несколько линий жизни. И мы это чувствуем.

– Осуществляется обычно одна. Причем не линия, я бы сказал, ветка жизни, – назидательно отрубил ладонь с браслетом.

– В глубине души вы знаете, ваша жизнь могла бы сложиться совсем иначе, не правда ли?

– Увы, не сложилась, значит, не могла.

– Представляете себе, параллельный вы говорите параллельному мне, что жизнь иначе сложиться не могла. При всем том, что она уже сложилась у нас иначе.

– Думаете? Где-нибудь? Мы тоже? Беседуем? – с такой интонацией произнес актер, но уже параллельный актер.

– Сложнее. Представьте, я Андрей иду в гости, в это время другой Андрей, возможно, погибает где-то в джунглях, а третий всего-навсего возвращается из гостей. Главное, все мы влияем друг на друга. – Я, правда, чувствовал в себе несколько Андреев, которые прятались один за другого.

– Представить можно все, что угодно. Все это дым, – собеседник окутался дымом, как Монблан облаками.

– В конце концов, вселенная конечна в образах своих. Почему бы их сочетаниям не повторяться. Одна творческая манера, – я смотрел на Монблан в калейдоскоп и видел его размноженным.

– Творец выше художника, – сказали ряды судейских мантий.

– Но даже отцы церкви признавали... – не сдавался я-еретик.

– Ориген был осужден на V вселенском соборе, – изрекла авторитетная книга.

– Философ Лосский... философия интуитивизма... – зашелестели во мне страницы.

– А вы читали?.. Франк возражает, он говорит «о единственности и неповторимости»...

Страницы во мне продолжали переворачиваться:

— Нравственное состояние любого, кого ни возьми, бесконечно далеко... Одной жизни недостаточно для перехода в свет... Я говорю о следующих или возможных.

— Человек по природе ленив. Тогда мы все время будем дожидаться следующих жизней или апеллировать к двойникам, — возвестил бородач-материалист с кафедры студентам.

— Признайтесь, вы бы хотели все главные роли переиграть?

— Ох, я жадный! Душа... монада... гусеница... зверь... человек... — это говорил уже Треплев из «Чайки».

В комнату заглянул хозяин, который уже натянул синюю майку на свои великолепные мышцы.

— Жизнь — бред, а мир — балаган, запомните, ребята, — примирительно сказал он. И скрылся.

— Действительно, мир — это театр, где мы затеряны где-то в массовке. А воображаем, что герои, — с иронией и горечью произнес актер, который уже был в своем московском театре, что на улице Чехова. Я даже здание увидел — модерн в виде супницы.

Актер выпрямился, стал как-то значительней, он вышел на подмости. Внизу и вдаль, за сияющим туманом прожекторов — темные ряды, где сидят крепкие кочаны капусты, гладкие и взлохмаченные, — целое поле зрителей. И поле ждет, чтобы его окучили громкими словами, пропололи горячими чувствами и срезали под корень при общем энтузиазме.

— Высшая Сила играет нами, и весь смысл в самой игре, поскольку результат известен заранее. Рано или поздно спасутся все.

— Или не спасется никто, — посмел пискнуть червячок.

— Но откуда тогда такое движение, такой напор? Кусок мяса — и можно было бы успокоиться на этом. Но все хотят рая! Даже сюда, к «фонарщику», за этим ходят.

— У меня был настоящий рай, — вспомнили обломки меня.

— И теперь вас мучает воспоминание об утраченном, — сказал священник.

— Разве грех стараться его вернуть? — спросил я исповедальную кабинку.

— Но вы-то ищете Еву, не рай, — на меня торжествующе смотрел монах. Он все-таки сыграл свою роль.

После я неоднократно возвращался к нашему разговору в пенале. Может быть, действительно, я ищу свою утраченную Еву, а не рай.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Если подумать, был и другой вариант разговора. Начну снова, с самого начала.

Павел Афанасьевич жил на Абельмановской, в старом московском доме, в довольно глубоком полуподвале. Верхняя часть окон верно показывала время суток и погоду, но сами рамы глубоко сидели в каменных карманах, и в квартире было всегда полутемно, как в старых Бутырках. Сие никому не мешало. И стучали сюда условным стуком: бом! бом! бом! — колотили по рваному дерматину в любое время дня и ночи. Павел Афанасьевич был лысоватый, неопределенных лет, лицо хитрым кукишем, и носил прозвище «фонарщик». Сам по профессии художник-оформитель, когда-то в Суриковском институте он ставил на стол в аудитории волшебный фонарь и показывал студентам диапозитивы. Леонардо, Рембрандт — вот и стал не просто фонарщиком, а Учителем Жизни.

Компания, слипшаяся, как осиный ком, шумно приветствовала меня восторженными и сердитыми возгласами, но веселье было явно на излете. Под потолком витал синий призрак. Уже покурили.

— Где ты был? — осведомился «фонарщик».

— Разве не у тебя в пенале?

— Но у меня ничего серьезного и не было всю неделю. А что, плохо?

— Плохо.

— Значит, ты был в другом месте. Там и спрашивай.

— Если бы я знал, где спрашивать!

— Я и говорю: жизнь — бред...

— А мир — балаган! — подхватила компания.

Вокруг стола, мятая клеенка, литровая бутылка бельгийской водки, стаканы — и никакой закуски. Обычный набор:

знакомый художник, полужнакомый художник, незнако-
мый бородатый — неизвестно кто, несколько милостивых
девушек и довольно известный киноактер, как ни странно,
я его знал по компании питерских поэтов. Учитель Жизни,
обняв тоненькую в кудряшках, ерничал и был, как говорит-
ся, в ударе.

Вдруг хозяин скинул с себя розовую футболку и вышел на
середину комнаты. Бронзовая лепка мышц в разворот плеч
вызвала общий ах. Учитель жизни поиграл желваками мус-
кулов и застыл в позе античной статуи. Раздались дружные
аплодисменты. Затем он лег на нечистый коврик, раскинул
руки и ноги и объявил:

— Девушки, топчите меня!

Я уже видел этот номер неоднократно.

Здесь я пропущу сцену попираания хозяина девичьими
стопами и последовавший затем скандалчик, надеюсь, чи-
татель помнит, и перейду непосредственно к интересующе-
му меня разговору.

Я вышел из комнаты в другую — аппендикс без окон, пе-
нал, как его называли посвященные.

Здесь уже сидел и журил довольно известный актер. Нет,
он просто курил MARLBORO lights. Пачка сигарет и блестя-
щая плоская зажигалка лежали рядом на журнальном сто-
лике. Надев очки, он просматривал пачку листов на машин-
ке, видимо, свою роль.

— Мир — балаган, как говорит наш Учитель Жизни, — усмех-
нулся он мне. И на мгновение превратился в «фонарщика».

— Но смотреть одно и то же, хоть бы пластинку сменил, —
в тон ему ответил я. Мы поняли друг друга.

Я тоже закурил, хоть делаю это редко. Я ощутил доверие
к большим роговым очкам и рассказал ему все. Про Синга-
пур. Как ведро выплеснул.

— Верю, — сказали роговые очки. — Убедительно.

— В том-то и дело, — протянул я.

— Она там осталась, вас выкинуло, другого слова подобрать
не могу, сюда. И дверца захлопнулась. А здесь никто ничего —
комар носа не подточит, — полуквадратные очки в раздумье
посмотрели на меня.

– Верно изложили.

– Пьеса может получиться – настоящее кино! Пишите, не раздумывая, – произнес решительный герой со светящегося экрана в зал.

– Но правда ли это? Или мне приснилось? Вот что мне жить мешает.

И тут на пиджаке появились узоры, как на кимоно. И японец глянул сквозь очки раскосым взглядом.

– А не все ли равно, явь или сон. Еще древние японцы это знали: снится ли мне желтая бабочка, за которой я гонюсь с сачком, или желтой бабочке снится сачок, с которым я гоняюсь за нею, – продекламировал он, – это я приблизительно процитировал, не ручаюсь, что верно.

– Но сачок все-таки снится и бабочке, и вам.

– Я, верно, что-то перепутал...

– Нет, сачок снится обоим, и он же есть на самом деле.

– Я бы на вашем месте в парилку сходил, выпарил бы все это с водочкой, а потом по русскому обычаю – в храм, – и молодой купец в духе Островского потряс передо мной своим основательным кулаком.

– Вообще-то я верующий...

– Понятно, по праздникам.

Перед собой я увидел книгу «Н. О. Лосский. ИНТУИТИВИЗМ» – уже во второй раз, по-моему.

– Нет, я крещеный, но уж очень там все нереально. Царствие небесное, например. Кто же в него войдет с таким дремучим сознанием? Из миллионов единицы. Но если цепочка жизней...

– Просветление? Вы верите в эволюцию? – спросил мой собеседник, уже кутаясь в рясу иезуита.

– Иначе зачем все это.

– Не нашего ума дело.

– Гордыня? Понятно.

– Наоборот, разумный эгоизм. Надо принимать все как есть, – продолжал изворотливый последователь Лойолы.

– А если Сингапур появился, от него так просто не отмахнешься.

Окуляры врача блеснули:

— Тогда в баню или к психиатру. Пусть он разложит по полочкам ваш Сингапур.

— Нет уж, извините, рай превратить в лягушку под микроскопом! — и прямо из детства мне явилась распятая лягушка с веснушчатым вспоротым животом.

— Простите, у вас, по-моему, в семье неблагополучно, — продолжал напористый адвокат.

— А у вас благополучно? — вместо лягушки появилась Алла, млеющая на пляже под южным солнцем. И поманила меня рукой.

— Я развелся, — извинил сам себя мой собеседник.

— И я разведусь. Разве это решит мою проблему? Разве я не буду искать параллельной жизни?

— Верно. Идеальная любовь и есть ваша другая жизнь, — заключил актер словами финала какой-то пьесы, видимо, из той, которую сейчас просматривал.

— Но такой любви нет и быть не может.

— Вот я и говорю, вы ищете не свою женщину, а свой утраченный рай.

Было очевидно, он видит перед собой напряженно притихший зал, ожидающей его реплики, которая разразится, как гром, и поднимет зрителей шумной волной аплодисментов.

Так я с ним и не познакомился. По правде говоря, мне было бы напряженно продолжать общение на том же уровне и о том же предмете. Но я думаю, может быть, актер был прав в обоих вариантах. Ведь в обоих случаях он говорил почти одно и то же.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После посещения «фонарщика» я решил навестить музей Восточных Культур: может быть, там я найду ответ на свои сомнения. Какой-нибудь глупый экспонат возьмет и прояснит, что же со мной случилось. И вовсе не нужно ученых разговоров.

На душе у меня была полная неразбериха, можно сказать, городская свалка. Там, погребенные под грудами про-

житых и позабытых реалий памяти, лежали странные и будто бы ненужные воспоминания. Как, например, вот это.

Экскурсия по городу. Я и Тамара вместе с армянами и русскими киношниками. Так получилось. Едем мимо белых небоскребов, мимо банков, фирм, золотых букв, иероглифов, гигантских реклам, пестрых магазинчиков — ссать мне хочется нестерпимо.

Между тем, гида со шкиперской седой бородкой ожидают туристы, и по-русски, и по-английски, где туалет, не спросить.

— Здесь свои местные архитекторы? — интересуется ноздреватый нос. — Или приглашают из Европы?

— Я видела такое только в Бразилии, — кокетничают губы нашлепкой.

— Конечно, приглашают. И едут. Хорошие деньги дают, — говорит армянин по имени Рафик.

Шкипер ведет нас сквозь ряды китайского рынка. Кругом рушат дома (о милое Замоскворечье!). Торчат кучки штукатурки, целые стены, картон. Над всем эти развалом спокойно разворачиваются бетонные домины, как раскрытые книги. Поссать негде.

Рафик, между тем, рассказывает нам, как он с друзьями отправился на Армениан-стрит к Армянской церкви. Вернулись разочарованные. Церковь оказалась пуста. Старые памятники повалены, заброшены. Сторож — и тот индус.

— Здешние армяне делают мани!

— Где же туалет? — наконец спрашиваю я гида.

Он осматривается. И решительно ведет меня в недра китайской закусочной, что застряла здесь между строящимися великанами. За мной по инерции устремляется часть группы, но сразу же отстает. Апельсиновые, анилиновые напитки. Народ — за столиками, промельком, потому что уже не вытерпеж. Дальше — закуток. Зеленая дверь. Наконец-то.

Если я помню такие подробности, то не в бреду я это видел — и Тамара тоже была.

В первом варианте к Арбату мне идти было совсем близко. А во втором я шел через Котельническую набережную к Солянке. Потом сел в метро и доехал. Всюду была Москва. Моск-

ва была и новая и старая. И родная и чужая. Ее снова подкрашивали и сохраняли, как прежде перестраивали и разрушали. Но поссать было негде, как в Сингапуре. Москва равнодушно смотрела окнами зданий в синее прохладное к осени небо.

— Я люблю свою, прежнюю Москву, — подумал я.

— Но ведь и каждый любит свою Москву, — словно проснувшись, возразил мне мой вечный спорщик, мой загадочный двойник.

— Что же их, несколько тысяч? — подзадорил я его.

— Как всякая древняя столица, она умеет обернуться тысячью разных лиц, — продолжал другой Андрей, не люблю его нравоучительного тона.

— Можно, правда, одолжить, — перескочил я мыслью.

— У кого? — спросил другой Андрей.

— У Татьяны. И купить тур, смотри, рифмуется, в Сингапур, — усмехнулся я ему.

— Интересная мысль, — не то одобрительно, не то сомневаясь, заметил мой незримый собеседник.

— Завтра же улечу! — объявил я.

— А как же виза?

— Были бы деньги!

— Без нее не можешь?

— И без нее и без Сингапура!

— Да ты больной, ненормальный!

— Зато ты у меня нормальный.

(Наступила пауза. Каждый из нас думал о своем.)

— А ты уверен, что прилетишь в тот самый Сингапур? — вдруг ядовито спросил меня другой.

— А в какой же еще? — обеспокоено ответил я, уже отштыываясь от той пропасти, которая разверзалась передо мной.

— Ты уверен, что вы были в том Сингапуре, в который летают отсюда лайнеры и ходят океанские пароходы? — продолжал другой Андрей, как будто даже обрадовавшись своей догадке.

— Но там было все, что бывает, даже черные морские ежи на рынке и колючие плоды, похожие на ежей, — земля продолжала уходить из-под ног.

— Ты уже сам знаешь, прилетишь и не найдешь Тамары. Потому ее там нет и не было, — произнес другой Андрей — и стушевался, пропал до поры.

«Надо искать путь в наш собственный Сингапур. Или не знаю куда. Где-то же есть это благословенное место!» — подумали мы оба, вернее, я один. Потому что уже решил вернуться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Музей ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР на Суворовском бульваре. Тут много удивительного, и бывал не раз. Директор, гречанка, моя давняя знакомая, аккуратно присылает мне приглашения на вернисажи и — обижается, если не прихожу.

Новая афиша: СИНГАПУР, и ниже курсивом: *царство нефрита — из собрания братьев Тайгр.*

Был я в музее братьев Тайгр или не был, не помню. Но это было там и тогда. Одно запомнил: воробей бордово просвечивает — из цельного рубина. А может быть, это был совсем другой музей.

Прошел через несколько залов. Обыкновенная экспозиция: блюда, китайские акварели, стеклянные шкафы, уставленные японскими нецке. Нет, не разговаривают со мной, как обычно. Понимают, что некогда мне сегодня стоять возле и выслушивать их истории. Тантрийские изображения, где любовные позы принимают будто бы дети, пробовали было ожить и напомнить мне о Тане, но я прошел мимо. Солнце на затертом паркете и по стенам свои, параллельные залы расчертило. И старушка смотрительница на стуле — ровно пополам: одна половина рельефна всеми морщинами в солнце — прозрачный глазок ярк, другая половина тонет в тени, будто уже умерла.

— Где здесь Сингапур?

— В соседнем зале, — оживилась солнечная половина старушки, — У вас билетик есть? Сингапур — отдельная плата, — и посмотрела на меня ультрамариновым глазком: ага! нет! иди покупай! или не пуцу!

Предъявил ей оба билета. Старушка недовольно отодвинулась в тень и погасла вся.

Следующий зал просто светился на просвет. Мутно зеленый, полупрозрачный, розовый, бежевый, красноватый камень. Сказочная рыба выпучила глаза. Гадюка раздувала свой зеленый капюшон. Слоноенок. Будда в позе лотоса. И тут мне показалось, я вижу то, что уже видел однажды, но совсем не так.

Вот этого длинноносого крокодила я видел на крокодильей ферме. Служитель в одной набедренной повязке хватал его за нос и изображал, что борется с рептилией. Опасное представление. И теперь он тоже обхватил крокодила ногами и руками, зажав ему пасть. Но было ясно, что чудовище никогда не разорвет объятий и схватка будет продолжаться вечно, пока цел этот кусок нефрита.

Этого нефритового Будду, голопузого, как младенец, сидящего, скрестив пухлые ножки, я уже созерцал в храме его имени. Но там вокруг неслышно двигались желтые одеяния, перед ним склонялись благоговейно бритые лбы, и медитации раздвигали губы статуи неуловимой улыбкой. Здесь он незряче смотрел в вечно открытую дверь музея, где на стуле сидела прозаическая старушка, так же неподвижно.

Босоногая танцовщица, замершая в позе древнего индуистского божества. Вскинув руки с загнутыми ногтями, она подняла одну ногу, согнув в колене, и никогда не опустит ее. А там, в ресторане, на ярко освещенной сцене я видел ее вместе с другими, такими же, как она, двигавшуюся под звенящую музыку. И этот ритмичный, бесконечно повторяющийся узор погружал нас в сладкий транс не хуже чем змеи, головки которых и сейчас раскачиваются перед моими глазами: туда — сюда, туда — сюда. Маятник смерти и жизни.

Я очнулся. В зале был мой Сингапур, обращенный в нефрит, забывший о времени. Я уверен, где-то в толпе зеленого и розового была и ее фигурка в монашеском плаще.

Сейчас! Надо произнести определенные слова, надо проделать определенные движения и подумать так, чтобы ни о чем не думать. Все оживет прямо тут — заблестят живые краски, зазвучат голоса. И ты пройдешь сквозь толпу, которая расступится, чтобы дать тебе дорогу.

Нет, я не знал этих слов, не умел делать эти движения и не научился думать так, чтобы ни о чем не думать. Я не мог расколдовать мой нефритовый Сингапур.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда я вышел из музея и направился к Тверской, солнце уже склонялось за комплекс «Известий» к Белорусскому вокзалу. И слепило меня, особенно поначалу. Поэтому я не сразу обратил внимание на прохожих. Я шел быстро и обогнал нескольких китайцев, еще одну китайскую пару. В таком количестве они пока в Москве не встречаются, может быть — у посольства. Странно. Куда они?

На Пушкинской площади, светясь закатными окнами на просвет, удивленно столпились троллейбусы и легковые автомобили. Во всю ширину Тверской движется траурная процессия, невиданная в этих краях. Чего только не увидишь в столице, особенно в последние годы! Но китайских похорон еще не видел никогда.

Впереди несут большой портрет покойного, лысого китайца внушительного вида, и два розовых бумажных фонаря на длинных палках. Следом шагает сияющая медь над головами музыкантов, извергая на оба тротуара: «Glory, Glory, Alleluia!» Перед оркестром пятится китаец с ухватками затейника, весело размахивая желтым с иероглифами флагом.

Медленно едет автокатафалк, причем ухватившись за два каната с кольцами на концах, дюжина парней делают вид, что везут его — тащат, как бурлаки на картине Репина. Некоторые улыбаются остановившимся прохожим.

Сам катафалк причудливый, синий с золотом, на четырех витых ножках, увенчанный чайной крышкой, на которой синий тигр укоризненно покачивает головой в такт оркестру.

За гробом, понурившись, склонив бритые головы, идет несколько парней в рогожных одеждах и колпаках. И кучка растерянного народа. Здесь скорбят и плачут. Особенно выделяется толстый китаец в белом. Он на своих коротеньких ножках не идет, а полубежит. Видно, так и пробежит за своим родным и близким до самого края.

Пройдя метров двести по направлению к центру, процессия свернула в один из переулков. Оркестр взревел и затих.

Я поспешно последовал за этой странной процессией — жалкая надежда, что она каким-то образом выведет меня через путаницу московских переулков — насквозь — и выйдет на главную улицу Сингапура, я даже знал где — у отеля МЕРЛИН. На минуту я страстно поверил в это. Потому что нечто подобное я видел там, на главной улице, возле отеля. И даже китаец, кажется, брат покойного, был тот же зареванный толстяк в белом, который бежал мелкими шажками. Теперь я понял, идут они здесь — сейчас, а выскочат там — тогда, иначе куда им деваться? Только бы успеть с ними!

Но, когда я свернул, пустой переулок стекал асфальтом вниз. Процессия бесследно растворилась. Впереди одинокий китаец в черных очках прогуливал свою пушистую собаку. Я хотел спросить, но он посмотрел на меня своими черными окнами. Может быть, он здесь просто живет. Как и другие иностранцы. Живет — и прогуливает.

Скорее всего он ее откармливает — и съест. В мозгу запрыгало: «Съест! Съест!» Я уже видел золотой купол церковки на Большой Никитской, у консерватории. Я почти бежал рысью, как тот китаец за гробом, я знал наверняка: они еще здесь. Я скакал галопом. Они уходили от меня.

Когда я выбежал на поперечную улицу и очутился перед вальяжно дирижирующей бронзой — рука, удлинненная палочкой, доставала, казалось, до другого края света, — я понял, кто командовал всеми этими китайцами и обманывал меня Сингапуром.

Я только злобно хмыкнул, я же не «бедный Евгений», и не буду спорить с этим истуканом. Не Петр и не Петр Ильич, у него даже имени нет. Наваяли в бетонное время — в угоду начальству — от страха — всех одинаковых, что Гоголей, что Кропоткиных, вот они и правят бал.

Пустота в литой бронзе — любые тайные силы поселиться могут. Прилетели с Индийского океана, с острова Пинанга, например. Как им расхаживать по столице? В виде сиамских кошек куда ни шло, а если шестирукие демоны? Недра иного памятника не хуже отеля. Виктор Гюго, «Отверженные».

Сколько пустых идолов по Москве для темных сил нашим веком приготовлено. А те, что лежат бронзовыми бревнами в траве возле Центрального Дома Художника, еще страшней.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пришел ко мне человек со слоновьим хоботом и говорил гундосо.

Я когда открыл дверь, просто не поверил своим глазам: стоит на лестничной площадке прилично одетый, в плаще, какой галстук — не заметил (хобот впереди болтался), но галстук был.

— Я вам звонил. У меня поручение к вам, господин Сперанский.

Особенно «господин» — гнусаво и невнятно — в нос, в хобот, я бы сказал, по-японски, если бы был в этом уверен. Я сразу понял (сердце екнуло) — от Тамары. Значит, она мне не приснилась. Был Сингапур, был.

— Да, да, очень приятно познакомиться. Проходите, пожалуйста, — делаю вид, что не замечаю, что это обыкновенно, чтобы впереди хобот висел.

— А мне, говорит, как приятно, просто выразить вам не умею.

Снял он плащ. Достал большой платок и — громко и гулко высморкался в хобот. Как в трубу.

— Климат в России неблагоприятен, весьма. Простите, может быть, я не так сказал..

— Что вы! Вы отлично говорите по-русски.

— Это вы из любезности. Все так говорят, — а сам выкладывает на стол большой плотный конверт, на котором почерком Тамары написан адрес и моя фамилия. — Вот вам конверт, господин Сперанский. Можете звать меня Элеф. Не Алеф, а Элеф.

— Спасибо, спасибо, — говорю, — господин Элеф, не стоило беспокоиться.

— Нет, извините меня, господин Сперанский, стоило беспокоиться, — и достает из кармана маленькую пеструю коробочку, перевязанную золотой ленточкой.

– Спасибо, спасибо.

– Пожалуйста, пожалуйста, – серые веки, и хобот скромно опустил, ждет, когда я коробочку распакую и письмо прочту. И что при этом воскликну.

А я ничего этого делать не спешу. Наоборот, верчу коробочку в руках и расспрашиваю: – Как она там?

– Очень хорошо. Travel – путешествует, по-вашему, по-русски.

– По монастырям с белой миской?

– И по монастырям.

– Как же она живет? Неужели милостыней?

– На Востоке короли с мисками тоже ходят. Для спасения души, так у вас говорят? Рама Пятый ходил. И последний принц – тоже.

– Кто-нибудь о ней заботится? Помогает?

– Мы о ней заботимся. И помогаем.

– Кто это вы, простите?

– По-китайски это не сложно, господин Сперанский. На русский тоже можно перевести: Общество Учеников Будды Тринадцатых После Свиньи.

– Как же это все понимать?

– Вы знаете, господин Сперанский, в свое время, когда Будда ходил по земле, поклониться ему пришли разные звери. Первой пришла Мышь, затем – Бык, Тигр и так далее, последней пришла Свинья. Всего 12.

– Знаю, говорю, я сам в год Дракона родился.

– Вы – мифическое существо, господин Сперанский.

– Но почему все же «После Свиньи»?

– А после Свиньи был еще один, тринадцатый, об этом предания, господин Сперанский, молчат. Но был.

– Кто же это, просветите меня?

– Феномен. Тогда это был тот, кого древние греки называли фавном, а христиане – сатаной. Человек с рогами и копытами. Но были разные феномены – и такие, как я. Вы обратили на меня внимание?

– Да, – отвечаю, – я обратил внимание, – а сам подумал: «Нельзя не обратить. И как ты по свету ходишь?»

– Со временем нас стало много. Мы все буддисты. Мы объединились и помогаем друг другу.

- А причем же здесь моя Тамара?
 - Она тоже феномен.
 - Никакого пороссячьего хвостика я у нее не обнаружил. И копыт – тоже.
 - Поверьте мне, господин Сперанский, она – чудо. У нее глаза, унаследованные от иранской газели.
 - Увы, я в них смотрелся когда-то.
 - И вы тоже, господин Сперанский, феномен.
 - Мутант?
 - Мутант, но в хорошую сторону. Сейчас все больше на Земле таких, как вы, господин Сперанский.
 - А поподробнее не расскажете, господин Элеф?
- Гость посмотрел на часы – нет, не слоновая нога, волосатая ручища.
- В конверте фотографии для вас, – коротко ответил он.
- У меня лекция в РГУ, простите.
- Поднялся и откланялся.
- До встречи, господин Сперанский. Обязательно, до встречи. Всего хорошего.
- Я даже остановить его не сообразил, угостить. Чем прикажете угощать человека со слоновьим хоботом поперек лица? Водкой? Или они все только саке пьют? Саке у меня в буфете нет и не было никогда. Тем более у него лекция в РГУ. А говорит, как шпион в кино.
- И остался я один с письмом и коробочкой в пустой квартире. Рассказать кому, не поверит. И как он такой по московским улицам ходит? Шарф у него полосатый на шее. Наверно, воротник плаща поднимет и в шарф свой хобот заматывает, чтобы в глаза не бросалось. А на лекции говорит простуженным голосом. Студенты и не к тому привыкли. Пришел феномен, ушел. Как во сне.
- Но письмо и коробочка – вот они, на столе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сегодня на работе, присели мы кофе попить, передохнуть – надоели больные с своими жалобами – Галина Петровна меня и спрашивает:

– Как муж? Не пьет, не колетя, не терзает?

– Не пьет, слава Богу, и не колетя. И таблеток уже не требует, – и вздохнула, не удержалась.

– Значит, терзает женскую душу, – сказала мудрая Галина Петровна.

– Кто-то у него есть, девочки. Он насчет этого быстрый.

– Уходит?

– На любовницу нужно время, – вмешалась Настенька, медсестричка. Я только поглядела на нее: эта знает.

– Я занята, и сегодня на курсы повышения квалификации иду. А прошлую неделю к маме ездила, как он там без меня, не уверена, как проверишь?

– В карманах пошарь, незаметно. Есть презервативы и деньги, значит гуляет от тебя на стороне. Иначе зачем они ему? – рассудила мудрая Галина Петровна.

– Нет, этого позволить я себе не могу – в карманах шарить. Мужик взбрыкнет и прав будет, – решительно заключила я. – Спрошу напрямик.

– Что он, враг сам себе, – хмыкнула Настенька, – чтобы признаваться?

– Лучше бы таблетки жевал! – откровенно сказала я. – Ждал бы их каждый день. Я бы ему приносила. Как лошадке – краюху с солью. Никуда бы от меня не делся, малыш.

– С ума сошла! – рассердилась мудрая Галина. – Мужика, чтобы удержать при себе, на иглу посадить готова!

– И посажу, если надо будет, – усмехнулась я. – Шучу, шучу, девочки. Вернусь, поговорю. А завтра приходите пораньше, все доложу, как на духу.

– Если у него это серьезно, дай на самом деле таблеток, ты знаешь каких, и без разговоров тащи его в постель, – засмеялась мудрая Галина Петровна.

Надо сказать, мои сослуживицы все про меня знают, а я про них. Такая дружная у нас кардиология. И все красивые, высокие, стройные – на всю поликлинику славимся. Честное слово, то на одни курсы нас тянут, то на другие направляют. Старики профессора тоже равнодушны. Тем более обидно, муж молчит, он у меня странный бывает. И хлопотно мне с ним. Кажется, прошла трудная полоса. Все равно беспокойно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пришла вечером поздно, в квартире — отсутствие его, я это всегда чувствую, пусто — и шорохи, даже скрип форточки пугает. В никелированном кофейнике вода греется, люблю я в нем отражаться — лицо длинное, худощавое, брови черные, будто не мое. Но что-то еще постороннее на письменном столе — розовый прямоугольник. Посмотрела, конверт: крупным уверенным почерком наш адрес и фамилия, внутри твердая бумага, вытрясла несколько цветных фотографий — полароид. И везде эта женщина в желтом, худая, стриженная, как арестантка. Конвоя нигде не видно, наоборот — сзади храмы с драконами, горы, поросшие красивыми деревьями, пальмы. В общем — ботанический сад, Индия, может быть, Вьетнам. Странно мне стало. Вся оцепенела, замерла.

Будто сплю наяву — и все вокруг такое ватное, вязкое.

Смотрит на меня эта фотография на фоне гор и, губами не шевеля, произносит: «Не забудь фикус на кухне, он полива требует. А кактусы наши на подоконник, на солнце переставь. Поняла?»

«Ты-то какое отношение к моему фикусу имеешь? Что раскомандовалась?» — отвечаю мысленно.

«Потому что я в этой квартире жила, и много лет, имей в виду».

«Врешь, и фотография твоя не краснеет! — возмутилась я. — Я здесь всегда жила, и Андрей.»

«Это теперь так устроилось, что ты здесь давно живешь, — будто бы говорит стриженная. — А если бы я вернулась, тебя бы тут как не было никогда.»

Смешно мне стало от такой наглости. «Куда бы я девалась?»

«А туда, думаю, где прежде обитала. И казалось бы тебе, что так всегда и было».

«Нахалка, я еще знаешь, когда с ним жила!»

«Это по другой версии. Это я виновата, что сдвиг в твоей жизни произошел. Вот уйдет он ко мне, и снова ты с прежним мужем жить будешь, уж не знаю с кем. И будет тебе казаться, что так всегда и было. Ты же нормальная кра-

сивая женщина. Тебе же лучше, может быть, там и дети у тебя есть».

Надоело мне слушать эту галиматью. Скинула с себя оцепенение, перевернула открытки, кверху изнанкой бросила. А там, смотрю, написано: «*Андрею любимому. Решил вернуться, запомни путь — через экспозицию, ключ — три обезьянки...*» И какие-то цифры, телефон, похоже. Такая меня злость разобрала, не помня себя, разорвала все фотокарточки на мелкие клочки. На кухню отнесла и в мусоропровод бросила. Все! Нету тебя! И никогда не было здесь, поняла?

Ключ в двери поворачивается. Чего испугалась, дура?

Вошел припозднившийся Андрей, в редакции сидел. Они всегда так, то днями не ходят, то за полночь сидят, над материалом.

Сказал, что там поужинал и сразу — к письменному столу. Ящиками подвигал и — ко мне: где большой конверт?

Я руки на груди сложила, и такое во мне враждебное к нему поднялось.

— Какой конверт, Андрюша?

— Большой, розовый, с фотографиями, вот здесь лежал, — по столу хлопает.

— Никакого конверта я не видела.

— Не мог же он сам уйти!

— Это по твоей версии не мог, — подмывает ему наперекор, — а по моей версии в форточку улетел.

— Выбросила! Дура волоокая! — побелел даже весь. — Куда дела? К тебе это отношения не имеет!

— Вот что я тебе скажу, Андрюша. Жила я здесь больше десяти лет и жить буду. Развестись хочешь, уходи. Но чтоб больше — никаких стриженных уголовниц! Даже фотографий чтоб не было!

— И адрес, и код, и телефон! А... все равно не поймешь! — и рукой махнул. — Хорошо, что ключ сохранился.

И тут я увидела. На стопке книг три нефритовых фигурки сидят — обезьянки. Он тут же схватил и в ящик на ключ запер. Жалко, не заметила прежде, а то бы вместе со всем в мусоропровод спустила. Ночью проснулся, хотел меня об-

нять. Почувствовала, спиной к нему повернулась, да не спиной – задом. Права была мудрая Галина Петровна.

Снились мне китайские храмы с воздетыми к небу кровлями, с изогнутыми коньками-дракончиками.

Будто я – в вестибюле элегантного отеля. Ко входу подкатывают блестящие обтекаемые машины.

В раскрытый багажник лилового длиннозеркального кадиллака служащие в униформе ставят золотые подносы, сосуды, чаши, шкатулки.

Посыльные в светло-зеленых и желтых униформах неторопливо поспешают, поднимаются на лифтах, разносят по номерам напитки.

Стены коридора обиты желтой тисненой кожей. Номер прохладный, прекрасно обставленный полированной мебелью. В туалете и ванной мрамор серый с белыми прожилками, вода голубая. И всюду длинные белые каллы. «Это потому, что они с моим именем рифмуются!» – радостно думаю я. И так мне хорошо! Звонит белый телефон.

– Я жду тебя в баре, дорогая, – воркует в трубке такой бархатный мужской голос, за ним брезжит белый блейзер, сердце мое сладко замирает. Наскоро взглянув на себя в зеркало – элегантна! – спускаюсь вниз.

Навстречу полный индеец в зеленой чалме несет большую голубую куклу в человеческий рост, кисея, множество побрякушек.

– Свадьба кончилась! – жизнерадостно объявляет всем.

И тут, к ужасу моему, в кукле я узнаю себя. Как в зеркале. Куда меня несут? Вы не смеете! Меня ждет в баре мой самый, самый! Но меня складывают – ноги к животу и суют в темноту багажника. Сверху валяются сумки, шуба. Багажник захлопывается, и в полной тьме меня везут куда-то, куда я совершенно не хочу.

А в Сингапуре я и не бывала. Что мне Сингапур!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В редакции у себя нефритовых обезьянок в одном куске камня на стол поставил и стал рассматривать. Одна глаза за-

крыла руками, другая уши зажала, третья — рот. Гляжу на них и думаю, зачем она мне их прислала? Ключ? А как им воспользоваться? Нет, не она прислала, они. И посол явился с хоботом недаром. С хоботом и с инструкциями. Жалко, выбросила конверт. А если самому догадаться?

Не слышу, не вижу, не говорю — идеальное состояние человека. И чем дольше смотрю на обезьянок, тем свободней себя чувствую. И тут начались чудеса.

Лежал на столе иллюстрированный журнал, причем раскрытый прямо на середине. Со страницы улыбалась знакомая красавица в ярких красках.

Вероника Кастро была вынуждена на некоторое время прервать работу в телесериале «Мексиканская Роза», попав на операционный стол в связи с обострением язвенной болезни. Врачи сделали все, что надо, и актриса вернулась на съемочную площадку. Энтузиазма ей не занимать: Вероника снимается после годичного перерыва, полностью отданного работе в театре. К тому же ей не хотелось бы подводить своего брата Хосе Альберто Кастро, продюсера «Мексиканской Розы».

Такое вот семейное? предприятие в сфере телебизнеса.

Статья как статья, но знаки вопроса, поставленные как бы случайно, выглядели подозрительно. О чем они спрашивают? И само собой сложилось. Хочу ли я вернуться к своей жене? Семейное ли это предприятие, мое возвращение?

Пока я решал этот вопрос, за столом напротив появился Сергей. Он кивнул мне и хотел было углубиться в свои записи, но тут взгляд его остановился на трех обезьянках. Так на них и замер — и просветлел необычно. Сергей достал из потрепанного портфеля бутылку водки, только для этого он портфель и носил, налил полстакана мне и себе.

— С добрым утром, — сказал он и выпил.

— А работа?

— Работа — не волк, — и выпил еще. — Ну, как у тебя дела? Статью у себя списал? — при этом он не сводил взгляда с куска нефрита. — Устроим утренний загул.

Признаться, я и сам был не прочь уйти от своих назойливых мыслей.

— Может быть, нам Наташе позвонить?

Наташа работала в секретариате, она была любовницей нашего главного — высокого, смуглого и с решительным носом, как-то они устраивались здесь же, по вечерам. При всем том бросала на нас откровенные взоры.

Через некоторое время мы пили втроем, Наташа плотно сидела у меня на коленях и обещала, что не обидит и Сергея. Хоть и не вполне круглое, лицо его разругалось, честное слово, как сковороды.

Сковорода, на которой жарились сардельки, скворчала-ворчала:

— Не люблю я тебя, Андрей. Дружу с тобой сколько лет и не люблю, прямо признаюсь. Думай обо мне, что хочешь. А почему не люблю я тебя? Потому не люблю, что похож ты на меня, как две капли воды, только постарше. И я каждый день вижу, какая перспектива меня ожидает. Ты — неудачник, и не понимаешь этого. Ты манкируешь, есть такое старинное слово, работой, в редакции висишь на волоске. Ты постоянно говоришь, что пишешь, но признайся, ты уже давно не пишешь и не способен ничего написать!.. Впрочем, как и я...

Живая тумба вдавила себя между моих колен.

— А я люблю тебя, Андрей. Добрый ты человек, и не такая тебе жена нужна. Тебе нужна интеллектуалка и сексапилька, а не эта корова Алла. Ты уж прости мою прямоту. А вообще, ребята, я всех вас люблю, кроме этого носатого. И сейчас мы устроим представление всем на удивление.

Тумба перестала меня давить, слезла с моих колен и, стоя спиной к двери, стала снимать кофту, затем расстегивать блузку.

— Наташа, прекрати. Сейчас будет планерка. Тебя уже ищут, — напрасно зывал я к ней.

Сковорода, между тем, продолжала свое скворчание:

— Не люблю. Мы — лишние люди, оказались совсем не лишними для конца века. Нас развратил развал империи, мы развратили свое перо и вписались в общее ерничество, в голове у нас — куча цитат, раньше это называли: эрудиция,

компиляция, плагиат, а теперь все называется постмодернизмом. Имя новое, глупость старая. Не стихи, а текст. Не текст, а говно... вот почему я тебя не люблю, дружище. А ты, блядь, иди ко мне и люби меня прямо на столе, как своего носатого.

Я молил бога, чтобы никто не вошел. Грудь у Наташи была что надо. Невольно опустил глаза. В журнале на фотографии улыбалась Наташа. А Вероника Кастро резво прыгнула ко мне на колени и, увидев нефритовых обезьянок, быстро схватила их, я не успел ее остановить. Прямо сказать, не решился, потому что на коленях у меня парила звезда киносериала, обольстительно хлопали длинные ресницы и от пушистых волос ее пахло совсем не Наташей.

— Какие хорошенькие мартышки! Ладно, молчу, никого не слушаю и глаза закрыла, — Вероника Кастро зажмурилась, как от сильного света юпитеров и кокетливо выпятила губы. — Подари их мне! Подари, не жадничай, Андрео! Я буду на них смотреть и думать о тебе.

Ну как тут было устоять!

Дверь скрипнула, и в кабинет заглянул главный. Он смотрел на полураздетую звезду, и на птичьем лице была написана растерянность. Он стал похож на испуганного аиста.

— А, вот ты где...

Затем аист увидел трех обезьянок, которых преступница поспешно положила на стол, и взгляд его затвердел, как у хищной птицы.

— Наташа, сейчас же приведи себя в порядок.

Вероника Кастро на глазах становилась Наташей, та, прикрывая грудь, путаясь в лифчике, быстро оделась и выскочила за дверь. Видимо, боялась его ужасно.

— А вы постоянно нарушаете трудовую дисциплину, просто не ходите в редакцию, не уважаете всех нас. («Только тебя»). Я поставлю о вас вопрос. (Он продолжал смотреть на обезьянок и стал нести совсем несуразное). Приносите в кабинет предметы, которые развращают сотрудников. Торчите тут, пьянствуете, вам надо быть совсем в другом месте! Да я вообще вас вижу впервые! Откуда вы такой взялись? Предъявите ваш пропуск.

Главный спрятал мой пропуск в грудной карман пиджака, боковым зрением я заметил, что Сергей успел опустить бутылку и стаканы под стол и с преданным видом созерцает начальство. Коршун — злой колдун когтил добычу:

— Отныне вы уволены. И память о вас будет вычеркнута из анналов издательства.

Оборотень зашагал из кабинета. Сергей посмотрел на меня, как на пустое место. Он достал из ящика вишневый гребешок и зеркальце, долго приводил в порядок свою прическу — назад и наискосок. Затем почесал в паху, как-то нелепо, через джинсы, торцом того же гребешка. Меня здесь явно не существовало.

Аргентинский актер Хорхе Мартинес, знакомый нам по «Мануэле», переживает идиллический период: вместе со своей женой, актрисой Александрой Гавиланес он купил виллу в окрестностях Буэнос-Айреса и настолько полюбил свою «фазенду», что старается покидать ее только в исключительных случаях. Сейчас они строят планы о совместных съемках в очередном телесериале. Может быть, снимут его прямо дома?

Этот вопрос, как я понимаю, тоже относился ко мне. Я собрал в «дипломат» свое нехитрое добро, да и не было у меня здесь почти ничего. Взял шлифованный кусок нефрита, повертел в руках, ощущая тепло и скользкость камня, мне захотелось выбросить его в окно: ведь это они во всем виноваты! И тут я уразумел, что мне надо делать, чего от меня хотели. Я даже усмехнулся: как умело вытесняли меня из этой реальности.

Я попрощался с Сергеем, который мне не ответил. Вот тебе и друг. Спустился вниз, мимо охранника, тот даже не спросил пропуска, видимо, память обо мне была вычеркнута прочно, вышел на площадь. Теперь мне осталось перейти по подземному переходу и проехать три остановки на троллейбусе. И тут я вспомнил: понедельник — и музей сегодня закрыт.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Метадон я купила у Володи, нарколог, работает в лаборатории и сам употребляет лекарства, привык. Элегантный,

можно сказать. Несколько старше своих лет, я всегда думала, что ему к пятидесяти, брюшко торчит и рубашка внизу под галстуком расстегнута, неухоженный, видно. Приятный мужчина, что говорить, только дорого берет.

— Осторожнее с ним, Аллочка. Новый вид, всех побочных действий еще не знаем. Сам, честно скажу, не пробовал. Может, это уже и не метадон вовсе.

— Мне — одному старому человеку, дяде, очень просил. Умирает от рака. Пусть себя в раю хоть в последние дни почувствует.

— Смотри, дозу минимальную сначала. Привыкание большое.

— Что я, не врач?

Зачем мне ему говорить правду! Принесла домой. Андрей дома уже.

— Что, спрашиваю, не в издательстве?

— Носатый выгнал. Заорал: «Чтобы памяти о тебе не было!» Да там меня никто и не помнит, будто никогда не работал. Смешно.

Огорчило меня это. Последнее время ожидала подарочка вроде этого, что от себя таить. Бегает по бабам, а там его терпи. «Дам, думаю, сегодня же, чтобы дома сидел.»

— Видишь, какой тебе никчемный супруг достался. Ничего, последний день тебе терпеть.

— А завтра что?

— Завтра в музей Востока пойду. Такую командировку предлагают! Такие деньжищи!

— Куда?

— Кажется, в Сингапур.

— Тебе? Не верится.

— Увидишь. Сразу весь твой узел развяжется. Уж не знаю как, но станет тебе хорошо и спокойно, так я думаю.

«Командировка, деньги, другая подхватит, китайка — они высокие, в брюках... Нет, сейчас же дам, чтобы ко мне вернулся».

— Выпил бы я сейчас.

— Вот тебе слабое снотворное.

— Что это?

Сказала, что в голову пришло:

– Нозепам.

– Нозепама – таблеток шесть, одна – мне как мертвому припарки.

Не успела я рта разинуть, сгреб всю пачку и выпил. Расслабился, присел на наш диванчик и говорит сонным голосом:

– Потерпи до завтра... Я в такую... в такую командировку отправлюсь... может никогда не вернусь... – запрокинулся и захрапел.

Я сначала внимания не обратила: уснул мужик неудобно, храпит, дело обыкновенное. Смотрю, дергаться стал во сне, как щелкунчик. Судороги, этого мне еще не хватало. Отвернулась на минуту к аптечке, а он как грохнется на пол! Рот развевает – воздуху ему не хватает, почернел. Господи, думаю, сейчас он у меня здесь кончится. Подушку под голову, а сама звоню – «скорую» вызываю. «Скорей, говорю, скорей! Человек умирает!» А от чего умирает? От таблеток моих умирает! Сама виновата.

Сию, как кукла, в ступоре. Скорую жду. Откроют следствие – криминал. Володю в эту историю втянула, хороший человек пострадает.

И вдруг, как ударило меня. Встрепенулась. Это же мой, родной, весь привычный и душой и телом, кровиночка моя! Потасила его в ванную за ворот – тяжелый какой стал, голова мотается, локтями о дверные косяки стучается, башмаками не умещается. Втянула кое-как, подняла на край ванны, расстегнула рубашку до пояса. Ножа под рукой не было – стала зубной щеткой зубы разжимать, она и сломалась. Тут пчелкой зазудел звонок в передней. Наконец-то приехали.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДАТАЯ

Красное зарево заката стоит над чадящим городом. Мотоциклисты в красных, синих, золотых, серебряных шлемах проносятся по улицам, которые так наполнены полуголым грязным народом, что, кажется, кишат червями. Так жарко, рубашка липнет к телу. Дышать нечем.

И представляется мне, будто я иду по улице — и лежу распростерт под мокрой от пота простыней одновременно.

То тут, то там — обуглившиеся стропила и провалы окон с черными подпалинами вверху. Полусгоревшая крыша двухэтажного дома. Внизу — решетки закрытых магазинов, на втором этаже — синие ставни. Еще живут.

Живут и внизу, под мостом на реке, уже покрытой рябою тенью. В длинных лодках жизнь все время покачивается, как в колыбели. Будто из детского возраста так и не вышли.

Всюду попадаются дети и обезьянки. Дети продают пес-стрые пакетики с арахисом и при этом тревожно озираются. Обезьянки выхватывают из рук туристов орешки. Тут же отпрыгивают, щелкают зубами и тревожно свистят. «Они работают на пару». И думаю я — почему-то это очень важно, какое-то удивительное открытие. Надо о них сообщить властям.

Ребенок. Глядит на меня — внимательные взрослые глаза — и пакетик протягивает. Испугался и купил арахис, на всякий случай.

Ребенок взял деньги и отошел, оглядываясь — черные, блестящие. Подозревает.

Кто-то крикнул. Побежал. Подростки брызнули, как горох.

Сразу — рядом белые полицейские машины, школьный желтый автобус. «И правильно! — мелькает у меня в голове. — Они уже могут оказаться террористами. В пакетах — взрывчатка вместо арахиса!»

Всюду бегут полицейские, низкорослые, как дети.

— Господин полисмен, — обращаюсь я к одному из них, — обратите внимание, дети и обезьянки работают на пару, — почему-то надо именно так сформулировать.

Полицейский-ребенок не слушает меня, схватил, завел мои руки за спину, щелкнули наручники на запястьях.

— За что?

— За незаконную торговлю достоянием страны.

— Каким достоянием?

— Арахисом.

Не слушая моих протестов, серые фуражки запихивают меня вместе со всеми — совсем не детьми, в автобус. Заме-

тил, как только схваченных впихивали в автобус, они сразу переставали сопротивляться. Примирялись что ли, как в тюрьме.

В салоне арестованных ожидают, записывают в книгу имя и фамилию. Предлагают бумажный стаканчик пепси-колы. Можешь отказаться — ничего. Затем на каждого надевают бумажный пакет, на пакет клеят этикетку, на этикетку ставят печать.

Двинулся автобус, покачнуло, покатило.

— Куда нас везут? — вслепую спрашиваю соседа.

— На крокодилю ферму, — Тамариным голосом отвечает сосед.

«Зачем?» — упало сердце. «Зачем нас везут на ферму? Надо же везти в городскую тюрьму! В Сингапуре, слышал, современное здание. Даже телевизоры — в камерах. Сразу буду требовать адвоката! Сейчас же подам протест! Зачем на ферму? Я не умею ухаживать за крокодилами!»

Ехали долго. Я сумел незаметно прорвать свой пакет. Автобус резко остановился. Всех откатнуло.

— Выходи!

Вижу сквозь дырочку в пакете, провели всех в распахнутые для нас ворота. Идем мимо проволочной сетки. Внизу зашевелились, зашлепали мощными хвостами. Стоп. Остановились.

Выровняли всех пинками, палками — построились. Отсчитали двадцать человек, и так, в пакетах, спустили одного за другим по деревянному настилу. Внизу — ужасные крики и быстрые проворные движения рептилий.

Нас — остальных провели к другому вольеру. Один за другим скатываются жертвы вниз к этим ужасным бревнам. Снова шлепанье, вопли, стоны и какой-то отчетливый хруст, будто работает молотилка. Кто-то рядом пытается бежать — вслепую. Его тут же застрелили. Видел сквозь дырочку в пакете.

— Теперь твоя очередь!

Я сопротивляюсь из всех сил:

— Нет! нет! еще не моя очередь! Это ошибка, ужасная ошибка! Дайте сказать хоть слово! В конце концов, я готов. Я готов признать свою вину!

- Не надо было возвращаться!
- Но это же несправедливо, господи!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На углу Тверской и улицы Станкевича, в красной гранитной нише сидит мраморный Будда. Поверх и перед нишей, как бы отдуваемый оттуда теплым воздухом, сыплет крупный снег. Я стою перед ним пораженный – в лохматой шапке и дубленке с выпущенным наружу ирландским шарфом. Мимо – прохожие, естественно, не обращая внимания, мало ли какой антикварный магазин еще открылся в теперешней Москве. Но я-то знаю, меня опять зовешь ты. И надо только шагнуть туда.

Меня сразу охватило горячим воздухом. И еще с минуту я стоял под высоким, расписанным синими драконами куполом, совершенно неправдоподобный, в заиндевелой, будто казацкой шапке, на плечах еще таял снег. Сбоку мелькнуло искаженное ужасом лицо желтого монаха. Подумал – привиделось! Я поспешно огляделся. В этом храме я уже бывал. Весь округлый, светящийся Будда, с мягкой укоризненной улыбкой слабо подкрашенного мрамора, смотрел мне куда-то в ноги. Бог мой! Я же не снял здоровенных финских сапог у входа в храм! Я тут же разделся, будто слез с пьедестала, в носках стал еще нелепей.

Бабочкой взмахнуло пестрое кимоно, смешные китайские львы кинулись на меня, темная головка зарылась в пушистый шарф, и две сухощавые ручки обвили мою шею. Китайские львы, ни слова не говоря, подхватили меня и вынесли из храма.

Боже мой, я был готов увезти тебя куда угодно. Но не ожидал, что опять окажусь на московской улице под недоуменными взглядами прохожих. В одних носках, можно сказать, босой на снегу, обнимающий девушку в одном халатике, расшитом желтыми китайскими львами.

– Это твой фокус? – тихо вздохнули львы в моих объятьях.

– А зачем ты меня позвала? – в свою очередь удивился я.

Львы загадочно улыбнулись. И я все понял.

Таксист был, очевидно, поражен видом своих пассажиров. Но, по обыкновению московских водителей, ни о чем не спросил. Я назвал ему адрес. И желтая машина быстро покатила по заснеженным улицам к Сретенке, унося в своем нутре целый прайд счастливых львов, которые урчали и ласкались друг к другу, переплетаясь одним клубком.

Привез нас таксист почему-то к Тане. Но Тамару, похоже, это не удивляло. А вот и хозяйка нам открывает. В беретике.

— Здравствуй. Почему мы к тебе приехали, сам не знаю.

— А там занято, — и улыбается своей извилистой улыбкой. «Там же Алла, как я забыл!»

— Пусть там и остается, — сказала Тамара, и тоже улыбнулась.

— Узнай, дорогой, — говорит Таня, — мы любим тебя обе. Твоя жена — моя старшая сестра. А я — твоя младшая жена.

Стоят они рядом в кимоно со львами, действительно — сестры. Как это я раньше не замечал?

— Как же так? — удивляюсь я.

— Старый китайский обычай, — с улыбкой объясняет ящерка.

— Я и прежде подозревал. Но это же замечательно! Будем жить вместе!

Тамара по прежнему молчит.

(Таня — услужливая ящерка, младшая жена, предлагает мне чаю. Беру чашку, но там на донышке четкая картинка: мужчина-новорожденный лезет обратно в женщину, которая кричит от боли. Не хочу такого чаю).

— Прежде чем ты станешь этим звонким фарфором, — продолжает Таня, — узнай, что мы два начала — одно существо.

Между тем, Тамара продолжает загадочно молчать.

— Только я — доброе начало.

— А я злое и голодное, — вдруг произносит Тамара мужским голосом. — Хочу тебя. Какая шелковистая у тебя гривка на спине! И вдруг завизжала: — Я ее вырву по волоску!

Уже не Тамара, рычит львиная пасть — и распахивается сладкими тягучими натеками все шире, шире. Шоколадный батон, начиненный помадкой с орехами, раскрылся, изда-

вая свирепый рев, и хочет меня разжевать — и это совсем не реклама приторно сладкого «LION». Черный провал — я падаю, лечу, попадаю между жерновами. Зубчатые колеса механического пианино раздирают мою плоть: живот и спину — ужасно больно! Но мне уже все равно. Я не могу сопротивляться. Я вымазан шоколадом и липну.

— Положите его на живот, — командует кто-то, — давите на диафрагму! Давите!

...Сижу на асфальте у витрины элегантного магазина. Смотрю снизу: кошельки, портфели, женские туфли из змеиной кожи, такое же, с полосками платье. Моя толстая слоновья пятка вывернута наружу гнилым развороченным мясом. На лбу у меня — желвак, опухоль. На шее — вздуваются жилы. Руки сведены, изуродованы проказой. Одна радость. На плечи мне накинут пестрый пиджак с колокольчиками. (Сшил русский писатель Лимонов). Колокольчики звенят. Тону в мелодичном перезвоне.

...Вынырнул посередине реки и — смуглый, блестя на солнце — протягиваю туристам в белом катере мокрую деревянную фигурку Будды. Жесткая, поросшая черным, рука протягивается сверху и бьет меня по голове.

...Ниагарский водопад извергается из меня мощно — и растекается внизу по равнине, где виднеются далекие пальмовые рощи и стада антилоп и жирафов.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Действие переносит меня в голову Спящего. Там в полной темноте светятся цветные огоньки. Похоже на китайский ночной базар.

Подхожу ближе, одновременно чувствую себя лежащем на койке, в нос мне вставлена резиновая трубка. Неприятно. Из нее течет прямо в ноздрю. Вижу, поперек улицы протянут красный плакат с черными иероглифами.

— Что здесь написано? — спрашиваю у плотного торговца в белом колпачке. Кухня на колесах пахнет всеми пряностями, какие есть на свете.

— Can you translate this for me?

– Здесь написано ПОЖИРАЙ РАЙ! – отвечает он неожиданно по-русски.

И я обращаю внимание, что вокруг рядами, перемежаясь с цветными фонариками, висит соблазнительная снедь.

Красновато-золотистые утки по-пекински сладострастно вытянули шеи, подвешенные рядком. Смуглый кордебалет.

Полупрозрачные утки, прессованные, как блин.

Бледные пороссячи рыла взирают на меня, сквозь растопыренные уши просвечивают огоньки свечей. Закрытые глаза, сомнительная улыбка.

– Этот не доживет до утра, – вздыхает какая-то бабьим голосом, с одной стороны жалея, с другой – будто бы рада, что так получится, как она сказала.

– На уколах только и держится, – подхватывает другая.
– Нет, не жилец.

Меня охватывает дикая злость и досада. Нет! Так быть не должно! Это абсурд! Как же без меня дальше все будет продолжаться? И все-таки понимаю: внутри меня какой-то я, которого я не очень знаю, но которому сочувствую изо всех сил, то ли обиделся, то ли просто ему надоело, собирает свои пожитки. Отвернулся, уходит собирается.

– Куда ты пойдешь? – спрашиваю.

– Кого-нибудь найду.

– Ты что, обиделся?

– Без меня обойдешься, – такой упрямый затылок.

– Да без тебя я долго не протяну, сам знаешь.

– Не надо было так.

– Что так?

– Путешественник! Отравили тебя. Да и меня накормили.

– Что же из-за этого умирать? Какая-то нелепость!

– А она всегда нелепость.

– За что?

– Надо было по другой версии.

– Но я не хочу! не хочу! Я найду себя! Не покидай меня.

Пожалуйста!

– Приговор отменят, – говорит полицейский в серой фуражке.

– Подожди умирать, – говорит стриженная Тамара.

Это мне?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В полутемном помещении и на узком тротуаре поставлены тесно раскрытые джутовые мешки со стручковым перцем, белым луком, чесноком, белой, как тыквенные семечки, хамсой, рыбешка покрупней, бобы, кукурузные зерна, ячмень, рис — рисинка к рисинке — и все это сухое, солнечное, пряный легкий запах. Внутри, за столиком, солидный китаеза в очках щелкает, как в старину, на счетах и пишет.

Щелкает у меня в мозгу — и я понимаю: я — не хамса и не рис, а лежу в белой кровати в комнате, наполовину освещенной солнцем. В глубине медицинская сестра склонилась над кем-то со шприцем, может быть, надо мной, я не могу определить расстояние.

Созерцаю марлю, прикрепленную на дверях кнопками. Перевожу взгляд — голову повернуть не могу — и вижу на потолке серое в крапинку пятно, похожее на яйцо кукушки. Сколько времени проходит, не знаю.

Надо мной высятся белые столпы медицины. Откуда и когда они появились, не заметил. Консилиум, вероятно.

Человек с хоботом держит мою руку и смотрит на часы на своем толстом запястье.

— Пульс, наполнение хорошее.

— Здравствуйте, профессор, — говорю как шепчу. — Вы ко мне недавно приходили. Спасибо, я сам все понял. Но не успел.

— Еще успеете, уверяю вас, все успеете. Но я к вам не приходил и вижу вас впервые.

«Значит, он по другой версии». — догадываюсь я. И вижу, что хобот у него короче. Все-таки поражаюсь феноменам: «Если с хоботом, обязательно профессор!»

Кучерявый доктор с козлиной бородкой склоняется надо мной — замечаю небольшие рожки — и качает головой.

— Чем это вы себя накачали, молодой человек? Чуть было концы не отдали.

— Это был нозепам, — говорю я и почему-то начинаю дрожать под одеялом.

Профессор снимает кончиком хобота очки с переносицы и протирает их нервными интеллигентными руками:

— Не надо волновать больного. Мы уже все выяснили, произошла досадная ошибка. Ничего опасного. Скажите спасибо, мы вас хорошо почистили изнутри.

— Но кое-что при этом у вас обнаружили, — прищурясь, сообщает мне фавн с рожками. — Скажите, у вас почки прежде болели?

— Я бы его подержала еще, профессор. Нефрит — заболевание серьезное, — предлагает ящерица-игуана с извилистым ртом, старая и опытная.

Я тут же вспоминаю моих обезьянок.

— Где мой нефрит?

— Ваш нефрит с вами, — осклабился фавн, — в почках, где, увы, и останется пока.

— Больной о своих фигурках спрашивает, — говорит профессор, и поднимает брови. — Каламбур получается.

Он протягивает мне резной полупрозрачный камень. Я зажимаю обезьянок в кулаке. Гладкие и понятные — сразу становится легче.

— Спасибо. Теперь я все знаю, профессор.

— Это хорошо все знать, — благодушничает он. — Вот я, например, знаю далеко не все. И вам еще тоже, молодой человек, поверьте мне, предстоит узнать многое.

— Я далеко не молодой человек.

Хобот маячит перед глазами, как указательный перст:

— Когда первая тысяча лет исполнится, тогда и скажете.

— Нефрит — прежде всего строгая диета и трезвость, — заключает морщинистая игуана в белом халате, чешуйчатыми когтистыми руками поправляя на мне одеяло. — Мы с вами об этом еще побеседуем.

— А ведь вы тоже интересный феномен с нефритом! — смеются глаза бровастого фавна. И вдруг отмечаю, что он удивительно похож на моего знакомого поэта в молодости. И у того, наверно, рожки были. А мы думали, волосы так завиваются.

Небольшая толпа белых халатов, переговариваясь, удаляется, сзади торопится почетный конвой — медицинские се-

стры. Я чувствую себя так, будто в палату на минутку зашли Гималаи и побеседовали со мной о вечном.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рассказ Марии Степановны – смотрителя Музея Восточных Культур.

Я обычно по всем залам гуляю, для моего тромбоза это полезно. С Лилианой Леонидовной стоим в уголке, беседуем. Интересная женщина, пианистка – кому только не аккомпанировала! самому Кобзону! – и большая хулиганка. Разговариваем тихо и серьезно. Посетители думают: две старушки лето вспоминают. А мы их разглядываем и ядовито обсуждаем. И про юбку, и про бюст, главное – про ноги, если женщина. А мужчин на себя примеряем: вот с таким старичком я бы переспала, молодой – слишком горячий, не люблю. Развлекаемся.

Но последнюю неделю со стула не схожу, в моих двух залах расположилась бесценная коллекция, из Индии, кажется, привезли, «Нефритовый Сингапур» называется. Где Сингапур – не знаю, но украсть могут свободно.

Сама глаз не свожу. И слоны, и тигры, и танцовщицы, и лодки под парусом – все из зеленого и розового камня. А есть воробей, сунул в карман – и гуляй, а он из рубина. Целиком! Смотрю на него и думаю: невелика ты, птичка, а сколько долларов за тебя отвалят! Я бы сразу в Америку улетела, там коттедж, мерседес, такой белый-белый, и шофера бы себе купила – крепкого мужчину лет сорока, американца. Там их сколько хочешь без работы ходит.

Замечталась я, смотрю, он снова пришел. Худой, бледный, даже с зеленцой, болел, верно. В прошлый раз за ним следила, стоял долго. Украсть, думаю, примеривается. Точно.

Хотите верьте, хотите нет, врать не привыкла. Посмотрел он на все опять зорко, с прицелом. Глазом буравил. Солнце низко, время к закату. И моя толпа статуэток посвечивать стала.

Слушайте внимательно! Выбрал он одну монашку – с желтизной на просвет. Подошел, и не то что в карман положил, честное слово, вынул из кармана что-то и рядом на

тумбу поставил. Хотела к нему подбежать, все же непорядок, ноги как ватные. Верите ли, оцепенела.

Три обезьянки. В коллекции не числятся. Одна руками уши зажала, другая руки на глаза положила, третья – губы прикрыла. Напекают, мол, ничего ты не видела, ничего не слышала, так и молчи, дура. А я и так слова сказать не могу. Сама в камень превратилась.

Картину эту забыть не могу. Стоит он, глаза горят, как у волка, челюсть отвисла. Солнце из окна пыльными такими столбами почти параллельно в мой нефрит ударило, просветило. Вспыхнули три обезьянки нечеловеческим светом – и все исчезло. То есть я хочу сказать, подозрительный и три обезьянки, как испарились, не приведи Господи. А все остальное, как было. Погасло, правда.

Долго в себя прийти не могла. Однако начальству докладывать не стала, поскольку ни урона у меня, ни прибýtка. Лилиана Леонидовна говорит: «Почудилось. Хватит о мужиках думать. Заведи себе старичка и успокойся».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Телефонные звонки. Надо в отдел ремонта позвонить. Все не туда попадают. И мужские, и женские голоса, то Андрея спрашивают, то какая-то Тамара им нужна. Есть у меня Тамара, но она во Владивостоке живет. Не адрес же владивостокский им давать.

У меня свои заботы. Мой Володя похудел и бороду сбрил.

Мудрая Галина Петровна сказала: «Если бороду сбрил, верная примета, появился у него кто-то. Как он в последнее время с тобой?»

«Нормально», – а у самой на душе неспокойно.

«А если вспомнить? »

«Не очень. Спросила, где вечером в пятницу был. С друзьями, говорит, и в глаза не смотрит».

«В том-то и дело. Дай ему валерьянки, чтобы успокоился. А еще лучше, Алла, приятель у меня в наркологии в лаборатории работает. Так они там приворотное средство научным способом получили. Метадол нюс. Попрошу по знакомству».

«Я заплачу, ты меня знаешь».

«А заплатишь, о чем разговор! За деньги сейчас все достать можно, даже любовь».

Действительно, уйдет, потом ищи-свищи. У нас двое детей: мальчик и девочка. И третий намечается, чувствую, мальчик. Мудрая женщина — врач Галина Петровна.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Но это только одна из версий.

Итак, по одной версии, я встретился с Тамарой, обновленной и просветленной.

По другой версии, я умер в ту ночь, как и предсказывали медицинские сестры.

По третьей версии, ничего не изменилось. Я остался с Аллой и в той же газете, скандал постепенно забылся. К тому же Алла родила позднего ребенка — мальчика.*

По четвертой версии, я ушел от Аллы к Татьяне, из газеты — в другую, подобную ей. Вечерами мы смотрели на экране «Жару в Сингапуре».

По пятой версии, я все же улетел в Сингапур, но самолет по пути потерпел аварию. Аэробус неожиданно полыхнул огнем и лопнул высоко в небе. 283 пассажира и команда рассыпались вместе с обломками. И все умерли.

По шестой версии, я жил в другое время, когда еще и слыхом не слыхали ни о каком Сингапуре. Однако дрался из-за Тамары на дуэли, и был убит.

По седьмой версии, я жил в то же время и прожил так долго, что дожил до новых времен, которые оказались гораздо хуже старого доброго времени.

По восьмой версии я был женщиной, и в объятьях мужчин переносился-переносилась в блаженный Сингапур. Но там не остался-не осталась: появился муж и дети.

По девятой версии, я всю жизнь мечтал о Сингапуре, собрал коллекцию марок и открыток. Наконец, удалось побывать в Сингапуре, и он мне показался бледней, чем мои открытки и марки.

* Вот что показывали мне пятки Спящего — именно эту версию моей жизни. Но ангел, которого я принял за демона, перенес меня на Сингапур.

По десятой версии, я долго жил в Сингапуре, работал в русском консульстве. И Сингапур мне порядком надоел. Ну порядки! За каждый брошенный окурок штраф 700 сингапурских долларов. Платил, знаю.

По одиннадцатой версии, я в детстве отдыхал на Пицунде с родителями. Но всю жизнь мне казалось, что я побывал в Сингапуре.

По двенадцатой версии, я был пятнистой анакондой и ползал в водоеме среди других змей, толстых и длинных на змеиной ферме. Потом с меня содрали шкуру и нацелкали кошельков и бумажников, один из которых попал автору этого повествования и тот сунул в мое рифленое плоское нутро пачку денег — свой гонорар. Я раздулся так, будто пообедал кроликом.

Но есть и тринадцатая версия. Как и многие другие.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

По тринадцатой версии, пока не встретился я с моей стриженной монашкой. Все еще ищу Тамару.

На берегу туманно-солнечного океана — эстрада. Перед ней — куча столов и стульев. Австралийцы, японцы, американцы, многие с детьми непринужденно расположились под брезентовым навесом. Я сам потягиваю пиво из бутылочки. На эстраде все идет своим чередом. Справа — несколько пальм, как этикетка фирмы, насквозь маячит ослепительное марево. Употребил-таки это слово, не обошлось без него. Да и как без «марева» русской словесности? Неопределенно, благородно и душе говорит.

Между тем, на эстраде заклинатель змей в розовом тюрбане, наигрывая на дудке что-то однообразное, продолжает дразнить кобру синей тряпицей. Кобра, злобно раздувая свой серый капюшон, выползает и выползает из плоской плетеной корзинки, будто ей конца нет.

Бородатый мальчишка в комбинезоне вспрыгнул на сцену, лег плашмя на дощатый пол и нацелил свой «никон» с неприлично длинным объективом. Подстрекаемая хозяином кобра быстро поползла на него. Бородач отпрыгнул, как ужаленный, при общем смехе.

Потом был прекрасный танец дракона с мячом. Дракон был как живой: он моргал розовыми ресницами, разевал бумажную пасть, хватал и бросал мяч, лихо отплясывал, скидывая поочередно четыре ноги в черных тапочках.

Звенят браслеты на ногах танцовщиц, обведенных красной хной.

Мне некуда спешить, и я посматриваю то и дело на набережную, на которой каждую минуту можешь появиться ты, худое красивое лицо с ослепительной — особенной для меня — улыбкой. Мне уже были сделаны знаки и послано приглашение. В одном таинственном фонде, можно сказать, фирме, приятный человек, совсем не похожий на должностное лицо, скорей, благодушный фермер в синей рубашке и твидовом пиджаке, успокоил меня и объяснил многое насчет нас обоих. Я даже примирился с некоторым излишеством: шестью пальцами на его широкой руке. Пока мне не приходится беспокоиться ни о деньгах, ни о ночлеге. Но я знаю — это передышка, накапливание душевного спокойствия перед путешествием совсем в другие области.

Нас, феноменов, все больше на планете. И наши периоды протяженностью не в 12 лет, а в 13. За годом Свиньи неуклонно следует год Фавна. Солнце просто взрывается протуберанцами и магнитными бурями, убивающими все в зоне своего влияния и благотворными для нас — феноменов.

Если женщина в 13 или 26 лет рождает, она рождает феномена. А если родит в 39, на свет появляется чудовище, пусть гениальное. Остерегайтесь рожать в 39 лет.

Веды, не те, которые вы читали, а те, в которые заглядывал я, сообщают, что принц Будда был рожден тринадцатилетней красавицей. Если вы раскроете библейские апокрифы, то узнаете, что Моисея мать родила в свои зрелые 13. На востоке вообще рано выходят замуж. Но фараон приказал топить еврейских детей, как котят. И стражники уже направились к дому одного из племени Левиина. Поэтому Моисея-младенца поспешно перепеленали, уложили в тростниковую корзину и пустили вниз по Нилу, где в купальне его и нашла принцесса. О Христе не решаюсь упоминать, хотя Бо-

жья Матьер мне представляется тихой смуглой девочкой с распахнутым небом в глазах.

Вы спросите, что во мне феноменального? Самая малость: волосы мои переходят в шелковую гривку вдоль хребта. А так я — никакого атавизма, даже ржать себе никогда не позволяю. Самый нормальный человек. Профессор Элаф считает, однако, что порода нормальных людей давно вымерла и уступила место всяческим отклонениям и мутациям. Ну, поищите кругом, где среди нормальных людей нормальные люди?

После представления туристы повалили к выходу. Их останавливал разгримированный заклинатель без халата и тюрбана. Вполне европейский человек, я узнал его по тонким усикам. На столике были разложены дудки. Тонкие усики расхваливали свой товар.

Дудка для заклинания змей такова. Бамбуковая трубка с отверстиями всунута в пустую тыкву грушевидной формы. Тыква вся разукрашена цветными квадратиками из блестящей жести (как бабушкин сундук в моем детстве). К ней подвешены стеклянные желтые бусы.

Туристы, не слушая продавца, накапливались у автобуса.

И тут — повеяло чем-то свежим, легким, хотя ни дуновения. Справа показался синий треугольник паруса. Медленно, как на экране, он прошел мимо, сине-матовый, весь мерцающий синими точками, там, в бледном, высоко на полнеба, океане. Во мне была тишина ожидания.

Лишь позади на эстраде звенели браслеты на босых ногах, по краям ступней обведенных хной.

ПОВЕСТИ





Дядя Володя

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сегодня мы обращаемся к нашим радиослушателям с таким вопросом: может ли гражданин какого-либо государства жить в другом государстве без проблем? Какие проблемы вы видите в данном случае? Что вы об этом думаете, уважаемые соотечественники? Наши телефоны в Париже...

— У нас в редакции прозвучал первый звонок. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Назовите себя.

— Петр Иванович, москвич.

— Говорите, Петр Иванович.

— Наше правительство не только, но и... (помехи). К тому же... Нельзя терпеть ни в коем случае... (помехи). И на воображаемых рубежах тем более... (помехи). Народ не потерпит, чтобы наши интеллектуальные рубежи пересекали всякие проходимцы. Если ты лицо кавказской национальности, седи себе на воображаемом Кавказе. Иудеи пусть едут в воображаемый Израиль. Но проникать лишь по собственному желанию в нашу воображаемую Россию, запомните, мы никому не позволим. Наши предки ее крепко придумали, а ее уже почти всю разворовали, где она? — по кускам растащили.

— Что же вы предлагаете?

— Если ты иностранец, тем более инородец, плати тысячу долларов за визу и, пожалуйста, воображай наши березки. Русские девушки — десять тысяч, зато уж воображение на полную катушку. Так, я думаю, будет справедливо. Спасибо.

— Спасибо и вам, Петр Иванович. Хочу напомнить, мнение наших слушателей не всегда совпадает с мнением редакции. Следующий звонок...

(по-французски)

— Сегодня мы обращаемся к нашим радиослушателям с таким вопросом: может ли гражданин какого-либо государ-

ства жить в другом государстве без проблем? Какие проблемы вы видите в данном случае? Что вы об этом думаете, уважаемые радиослушатели? Наши телефоны в Москве...

— Вот уже первый звонок. Представьтесь, пожалуйста.

— Петр Иванович.

— Откуда вы, Петр Иванович?

— Из Парижа.

— Вы эмигрант?

— В какой-то мере.

— Говорите, Петр Иванович.

— Проблемы! Смешно сказать! но самая большая проблема: это не тот Париж. Совершенно не тот Париж, который я воображал в юности, читая «Трех мушкетеров». Это не тот город, который я представлял себе ночью в бараке за колючей проволокой на Колыме. Как поется в песне: «Там девочки танцуют голые...» Где деньги-франки? Где жемчуга стакан? И Бальзак со своей шагренеовой кожей обманул нас — русских эмигрантов. И Гюи де Мопассан. Где в метро увидишь Пышку? Тонкие губки да востренький носик и никакой косметики. И другие французские писатели виноваты, и русские заодно. Раньше обед с вином в любом кафе стоил не больше тридцати франков. А теперь и пятьюдесятью не обойдешься. Не тот Париж, маскировка одна. Тот, настоящий, забрали себе хитрые французы, а нам — Кострому под Париж перекрасили и предоставили: живите. Спасибо, то есть тьфу, мерси и больше не проси.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В России он был француз, во Франции — русский. Лысинка, борода, пухлые щечки и золотые очки. Неопределенных лет. Владимир Владимирович — потомок русских эмигрантов. Не хотелось бы называть его по имени-отчеству. Владимир Владимирович — это величественно, как собор. Он был явный Володя с округлыми движениями и словами. Он строил свою речь из пространственных предложений, что в наше время выглядело старомодно и искусственно. Он говорил не на нашем русском языке, он говорил на эмигрант-

ском языке. Свой, но не наш, как выражалась одна моя хорошая знакомая.

У нее же я и познакомился с ним. Войдя в комнату, сначала я услышал холеный голос, неторопливо и благостно о чем-то вещающий, затем увидел самого, восседающего в кресле, обитом красным потертым бархатом (в это кресло усаживали обычно только почетных гостей), у журнального столика с сигаретой в руке и со стаканчиком водки в другой. Он потягивал то и другое поочередно и часто.

— ...Нам, журналистам, с утра подали джип и повезли, наконец, в джунгли на линию фронта, если можно так назвать извилистый ряд глинистых, размытых и полузатопленных частыми дождями окопов, в которых прыгали лягушки и водилась всякая нечисть. Был сезон дождей, господа. Вьетконговцы сами были похожи на лягушек в своих коротких штанах и соломенных шляпах. Правда, эти лягушки стреляли, и довольно метко. Малорослики — девушек было не отличить от мужчин. Одна все время стреляла в меня своими угольными глазками, простите за невольный каламбур, потом она приезжала ко мне в госпиталь и мы премило устроились прямо у меня под одеялом — света не было, одни керосиновые лампы-трехлинейки, да и те света не давали. Но вернемся на фронт. Командир отряда, пожилой и щербатый, изложил нам ситуацию. Оказывается, мы приехали некстати... Прошу прощения, я рассказываю о том, как меня ранили, — пояснил он мне, как новопришедшему.

Я осмотрел комнату. Слушателей было человека три вместе с хозяйкой. Левон скептически улыбался, что-то зарисовывая в альбом, который он пристроил себе на коленях.

Рассказчик продолжал:

— ...И вскоре, действительно, появилась первая волна самолетов. Он рассыпали ядовитый порошок на заросли. От него и люди болели, если бы вы видели все эти язвы! Как бутоны, которые расцветают чудовищными цветами на теле человека. Американцы — тоже варвары, недаром их во Франции недолюбливают. Мы забились в щель, тем более, что на нас стали сыпаться кассетные бомбы второй волны. Но спрятаться было некуда. Вы не поверите, господа, рядом

со мной на бровке сидел вот такой черный паук. (Он указал сигаретой на тарелку — на бутерброд с черной икрой). И я не смел пошевелиться. Бомбы так визжали и стонали, по моему, пауку было тоже страшно. Сирены провыли отбой. Чувствую, мокро и по рукаву что-то течет, черное. Не люблю крови. В общем, задело меня осколком кассетной бомбы, господа. Мои друзья-журналисты взяли джип и повезли меня в незабвенный госпиталь, где я был счастлив в любви, как никогда в жизни. Но об этом в другой раз, если позволите. Таким образом, я оказался в числе раненых на полях сражения Вьетнамской войны, которую американцы не могли не проиграть, так я полагаю.

— Сколько ему лет? — тихо спросил я Левона.

— В том-то и дело. Война была лет 25 назад, а ему не больше тридцати семи-сорока, — с усмешкой ответил мой сосед-художник, продолжая рисовать. Это был карандашный портрет рассказчика, которого нарисовать похожим ничего не стоило: лоб, очки да борода.

Володя как будто услышал нас, он был вообще чуток к настроению окружающих.

— Ничто не проходит бесследно, вот — шрам от ранения. Если кто-нибудь любопытствует, может взглянуть, — и он непринужденно стал снимать галстук и расстегивать рубашку.

Стриптиз лично меня не очень убедил. Шрам возле правой лопатки мог быть от чего угодно.

— Я, можно сказать, ветеран двух войн. Я воевал и на корейской войне, — продолжал рассказчик, шлепнув очередной стаканчик водки. Ну, это было чистое вранье. Мы с Леоном переглянулись.

— А там как вы оказались? — спросил Леон.

— Я был в Филадельфии и завербовался, такие обстоятельства.

— Какие обстоятельства? — полюбопытствовал я.

— Меня преследовал муж моей очередной пассии, кстати, русской. Мог и убить. Он был грузинский мафиози, — не смущаясь, продолжал Володя.

— И, простите меня, в каком вы были звании?

— Сержант, — скромно сказал врунишка, — Но сержант в американской армии — это довольно большой чин, прошу вас учесть.

— Тогда мы будем звать вас дядя Володя, если разрешите, конечно, — улыбнулся я.

— Господа, зовите меня как угодно, только в печь не ставьте, — блеснул своим знанием русской поговорки новый знакомый.

Вскоре он стал прощаться.

— Завтра с утра ему вещать на Францию, — сказала мне шепотом хозяйка.

— Так он работает на радио? — так же под сурдинку спросил я. Гость услышал меня, затворяя за собой дверь.

— С вашего позволения. В русской редакции в Париже, и наоборот — в Москве вещаю по-французски. Вот мои визитные карточки. Звоните, с удовольствием буду соответствовать. Если я не в командировке, всегда найдете меня на работе — и здесь и там. Оревуар.

Действительно, на одной визитке было написано по-русски, что предъявитель — корреспондент Радио России, московский адрес и телефоны. Другая карточка утверждала, что владелец ее — работник Радио Франции — и тоже телефоны и адрес в Париже.

Странно и не совсем понятно. Левон посмотрел на визитные карточки и фыркнул: авантюрист!

Женщины ему верили безусловно, это я заметил с первого раза. Они слушали вкрадчивый бархатистый голос, главное, тон действовал на них неотразимо. Женщины всегда слушают музыку и ловят в ней затаенный смысл. Дядя Володя разбудил во мне любопытство, которое, как я предчувствовал, в дальнейшем будет удовлетворено.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечером то и дело в темноте стучались яблоки. О землю — был глухой, твердый звук, о крышу звук был сложнее: сначала звонкий удар, будто теннисным мячом, потом мячик катится по скату — и шлеп в траву. Слышно было, иные яб-

локи разбивались о землю. Запрокинешь голову, в просветы между темными массами сосен посверкивают звезды — август. Домик, где помещались душевая и уборная, был на другом конце участка. Там стук был особенно сильным и неожиданным. Сидишь на стульчаке — эдакий медиум, освещенная кабинка будто парит во тьме, а к тебе со всех сторон духи стучатся.

Утром грядки в саду усеяны падалицей — все больше мелочь, на ветках оставалось не так много, и снизу они казались больше, чем на самом деле.

Дядя Володя просыпался поздно и сразу закуривал. Что-то снилось или на самом деле? Он сам называл это «следы другой жизни». Жизней было много, и они наплывали друг на друга, и в каждой жизни была своя женщина, поэтому он часто путал их, называл не тем именем. Здешнюю Марину, например, называл Майей. Впрочем, она не обижалась. Если прибавить к этому, что в каждой частной жизни обычно женщины сменяли друг друга, то можно сказать, что они стучались к нему, как падающие яблоки.

Он их любил — и даже на следующее утро жидкие плавающие груди, изуродованные косыми шрамами живота (будто их неумело вскрывал кто-то консервным ножом), бледные губы и стертые незнакомые черты лица — вся эта падалица не смущала его.

Теперь он жил у Марины на даче. Да вот она рядом — просыпается. Или все-таки Майя? Он не был в этом уверен. Надо было восстановить эту реальность. Он поднялся, влез большими ступнями в тесные домашние туфли (папины туфли), прошел на прохладную с ночи веранду и налил себе стаканчик. Выпил — даже не поморщился, так организм жаждал спиртного.

После третьего стаканчика он принял несколько таблеток норсульфазола. Оса, присевшая на край чашки с чаем, которым он запил пилюли, укрупнилась как-то сразу. Теперь была величиной с голубя, но не так безопасна. Сама чашка и стаканчик, и бутылка водки, и цветочки на клеенке стали крупными и кубически тяжелыми на взгляд. Солнце квадратами лежало на столе и на полу веранды. Он хотел позвать

Марину, губы стали грубыми деревянными плашками, а слова неохотно выходили и стояли кубиками в воздухе.

– Маг бри на.

– Маг бри на мы с то бой ко бис ты.

С третьей попытки он бросил это трудное занятие – двигать непослушными губами. Само время стало золотистым кубом, который поглотил меньший куб – бревенчатую дачу, и его невозможно было поднять и отодвинуть.

После восьмого стаканчика и еще двух заветных таблеток все стало растягиваться: и время (в каждой минуте можно было насчитать не меньше тридцати минут), и все окружающее. Никак не мог дотянуться до бутылки: рука растягивалась, удлинялась, а бутылка уходила, уходила вдаль – вот уже такая маленькая, как звездочка на горизонте. Все-таки дотянулся. Налил, стаканчик тоже далеко, через край – и выпил.

От всего существующего вокруг остались одни души. За террасой синевато восходили в белое небо души сосен. И просвечивали. Сиреневым кубом с проемами в неизвестное колыхалась веранда. Прозрачная душа литровой бутылки была уже наполовину пуста. У ос души не было, они иногда жалили, но почти не чувствовалось. Потому что у дяди Володи осталось только два тела: астральное и ментальное. Они спорили между собой, горячились и даже подрались. Как известно, живую душу не разделишь, не разорвешь, но ей можно дать еще выпить. И два тела дяди Володи: астральное и ментальное поднесли даме еще по стаканчику. Душа водки взвеселила душу души, и все стало непохоже само на себя, неузнаваемо.

Кусты сирени завтракали кошкой. Она орала. Марина из двери выходила по частям: сначала вышел нос, затем – глаз, косынка в горошек, потом кисть руки, потом – запястье, локоть, подол платья, округлое колено и так далее. Как будто выходила целая рота, а не одна Марина.

– Опять с утра пьешь водку! – запел солдатский хор.

– Рота, стой! Раз, два, – скомандовал дядя Володя. – Вольно.

Марина как будто ждала этой команды и рассыпалась по всей дачной местности. Одна улыбалась ему из сада. Другая

через штакетник разговаривала с соседкой — пожилой, приятной женщиной. У магазина было замечено несколько Марин: одна шла за водкой, другая возвращалась с бутылкой. Третья торопилась на электричку. Спутать невозможно: всюду косынка в горошек выдавала ее. Ну и пусть. Пусть хоть все уезжают. Лишь бы принесли.

И Марины не обманули. День начался нормально. Можно было продолжать. И тут зазвонил весь склеенный, перевязанный скотчем телефонный аппарат. Уронив его в очередной раз — бедолагу, душа дяди Володи все-таки взяла трубку и издала звук, похожий одновременно на мычание и мяуканье. Это звонил я из города. Марина перехватила падающую трубку и пригласила меня приехать, «потому что одной уже невозможно». Я и приехал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дядя Володя спал, уронив лысую голову в лужицу водки на клеенке и по-младенчески причмокивая. Я не разрешил Марине будить его и мы прошли по тропинке в глубь участка, где сели за синий садовый стол.

Марина была суховатая милая женщина с большими черными глазами, лет тридцати или больше — острый носик морщился лучиками, тяжелые усталые веки — и хотела говорить только о нем.

— Вот так каждый день, с утра встанет, пьет и спит полдня, потом проснется и снова пьет до ночи. А если куда в город соберется, оденется как на прием, посмотреть приятно, — как же, на радио едет! — и три стаканчика обязательно. Возвращается последней электричкой, на ногах не стоит. Как его еще не обокрали и не убили!

— Пьяного Бог бережет, — сказал я.

— Но еще это вранье. Рассказывает, что работает и на русском, и на французском радио. Не знаю. Куда-то ездит, где-то пропадает по неделям. Денег всегда не хватает. А послушать, он — и советник одной из семей грузинской мафии, и работник ЮНЕСКО, и белый пудель — любимая собачка президента Клинтона. Представляете, он рассказы-

вает об этом совершенно серьезно. А я устала. И при всем том обещает Брюссель. Месяц назад: «Собирайся, поедем в Париж. Оттуда в Брюссель». Но как же так, мы не расписаны! «Секретарем оформил». Через неделю: «Не распаковывай, едем». Еще через две: «Вопрос решается». И так до сегодня.

— Но вы поедете?

— Не знаю.

— Он что-нибудь делает?

— Исчезает постоянно.

— Надо было самой навести справки.

— Позвонила в консульство. А там о его назначении и не знают.

— Что говорит?

— Говорит, и не должны знать. Все наши документы в ООН. И оттуда дадут знать в Бельгийское посольство. Устала я, — передо мной сидела старушка с темным осунувшимся лицом. Мне показалось, это он делал их такими безнадежно старыми, чтобы тем скорее потом оставить их навсегда, как бы проводить карету на кладбище.

— ...А я не спал, — сказал трезвый с виду дядя Володя, внезапно появляясь перед нами.

Он поставил на стол новую литровую и три стаканчика. И сел сам. Пожевал верхней нижней губу.

— Люблю закусывать малиной и черной смородиной с куста, — сказал и налил нам.

Марина глядела на него блестящими глазами и больше ни на что не жаловалась.

— Ну как, выспался?

— Говорю тебе, не спал. Вот неверующая, а я жил своей побочной жизнью.

— То есть как это? — удивился я.

— Простите меня. Я еще тогда на вас внимание обратил. Вы ведь мистик?

— Скептический мистик.

— Но при всем вашем скепсисе, мне кажется, вы многое допускаете.

— Пожалуй.

— Это главное. Вам могу признаться, я живу несколькими жизнями, есть и побочные. При нашем знакомстве я говорил, что воевал в Корее. Левон не поверил, а вы отнеслись серьезно, не так ли?

— Вполне.

— Не буду утверждать, что жил при Иване Грозном или Вашингтоне...

— Ох! — сказала Марина.

— Ох! — сказала чье-то эхо за забором.

— Но в девятнадцатом и в начале двадцатого жил. Главное, помню. Все же основано на памяти. Что вы не помните, того и не было. Сам Зигмунд Фрейд после многих сеансов и то не вытащит из подсознания жизнь, которую оно не хочет отдавать. Иначе он бы написал что-нибудь вроде «Сны, сновидения и другие жизни».

— Я помню что-то, — сказала Марина. — Но что, не помню. В смысле — до рождения.

— А вы — ну хотя бы вашу побочную жизнь.

— Пожалуйста. В одной из побочных жизней я — белый пудель, не падайте в обморок, любимая собака президента Клинтона.

— Ох и ох! — Марина широко раскрыла глаза.

За штакетником что-то рухнуло.

— Ну и как там в Белом Доме? — спросил я.

— А вы не улыбайтесь, — дядя Володя выпил свой очередной. — У иной собаки душа вполне человечья. Подстриженные американские лужайки, трава — хоть на хлеб намазывай и ешь. А поле для гольфа! Ровное, как затылок новобранца. Есть где побегать, я ведь прыгучий, вся обслуга любит. Вечерами лежу возле камина из яшмы, тускло поблескивает медь каминных щипцов, рука президента плотно ложится на мой загривок. А если Билл посмотрит своими голубыми в мои золотистые, преданности моей нет предела.

— Позавидуешь, — вздохнул я.

— Было бы правдой, я бы так хотела жить, — грустно высказалась Марина.

— Есть и свои неприятности, — продолжал «опрокидывать» и рассказывать дядя Володя. — Враг у меня — морской

пехотинец. Знаю его запах: черный табак и марихуана, мазь от прыщей и потеет сильно. Подойдешь как к человеку, ткнешься влажным носом, а он по носу щелкнет или в живот — ботинком. И сам же вопит: «Он меня укусил!» — садист из Индианы.

Он и убить может. И убьет. Отравит, подлая душа. Я уж и то: президентский повар-китаец при мне собачьи консервы открывает, тогда только и ем.

Неприятный случай пережил, господа. Ворота снаружи чугунные, недаром всякие идейные старики и девушки себя наручниками к решетке приковывали. Ну да не о том речь, машина проедет — приоткрыты остаются ненадолго, вот и забежала к нам в Белый Дом рыжая сучка-колли. И мне пушистым хвостом виляет благосклонно. Течка у нее. Я тоже виляю хвостом, приглашаю в Белый Дом, заходи, мол, дорогая. И так слово за слово — увожу девушку на изумрудные поляны. Бежит вашингтонская блондинка на тонких ножках, осмелела. Бегу за ней, язык высунул, ничего не понимаю. Только облизнулся, повернулся на спину ей запрыгнуть, выстрел! Как хлыстом ударило. Я отскочил, перепугался. Смотрю, моя рыжая красавица легла на траву, вытянулась, ощерилась — и все, сдохла.

Подошел Боб — морской пехотинец, карабин еще порохом пахнет, ослабилась, подлая душа, подбежавшему агенту секьюрити:

«Покушение на президента!»

«Ты что?»

«Сучка-то бешеная, сразу видно».

«Молодчина Боб! Доложу о тебе».

«Пуделя тоже проверить надо».

Я бы этого прыщавого сукина сына на куски разорвал! Взяли за ошейник, отвели к врачу. Как ни сопротивлялся, сделали укол, для профилактики. Я сразу отпал, закайфовал и вот — очнулся здесь, — дядя Володя опрокинул очередной стаканчик. — Кстати, меня там Реем зовут.

— Милый мой Рей! — сказала Марина. — Ты просто — Тургенев. Налей и мне на доньшко моей собачей миски. Вы так внимательно слушали, вы ему верите?

— Не совсем фантазия, детали верные, как бы это назвать поточнее? — сказал я.

— Дяди Володино вранье, — любя, сказала Марина.

— Простите, я наблюдал за вами и отметил, вы ведь не выдумываете. Вы все время где-то там обитаете, — продолжал я серьезно. — В какой-то особой реальности.

— А зачем непременно верить? Не верьте, сделайте милость. Я не обижаюсь, — прищурился дядя Володя.

— Нет, нет. Расскажите мне и о других ваших жизнях. Что-то в этом есть.

— В другой раз, идет? А сейчас напьемся в этой, под солнцем среди сосен, в ностальгической, лирической России, — и стал декламировать: — «И в новой жизни непохожей забуду прежнюю мечту...» Но сбился, и — снова стаканчик.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дядя Володя не был вполне человеком в психическом смысле этого слова. Ибо не чувствовал себя заинтересованным в окружающих, в родных, в близких друзьях. Одни женщины были ему любопытны, и он мог увлечься даже малопривлекательной суховатой особой. Скорее, он изображал интерес и ждал, когда и как с ней это произойдет: вся помягчает, волшебным образом засветятся и расширятся глаза, увлажнятся тонкие губы и талия податливо вытянется под его лапой — красавица! Женщина раскрывалась перед ним, он терпеливо подыгрывал и, глядя со стороны — влюблен и добивается своего как мужчина, нет, на самом деле он никогда не хотел этого. Ему было все равно. А в самые сокровенные минуты просто было любопытно, как она стонет и выворачивается наизнанку, полузакрыв веки и прокусив нижнюю губу, эта неподатливая черствая особа. Дядю Володю можно было увидеть с любыми женщинами и в любой ситуации. Даже в какой-нибудь секретной и стерильной лаборатории с доктором наук в юбке, вернее без юбки, когда все сотрудники уйдут.

Но дон Жуаном дядя Володя тоже не был. Дон Жуан сам безумно увлекался каждой или подогревал себя в этом

смысле, потому что искал — крепость, которая бы устояла перед ним. Искал, но не находил. Так или иначе, приступом или измором этот дон овладевал крепостью. Она, крепость, раскрывала перед ним ворота и была счастлива, если можно так выразиться, всеми своими башнями. А всадник уже покидал ее и стремился к новой твердыне, мечтая о той, которая устоит перед ним.

Дядя Володя, напротив, никого не завоевывал, он только мягко и постепенно уступал женщине. Или вдруг и быстро. Тогда у нее создавалось впечатление, что еще недавно чужой — и вот, неожиданно близкий, он силой овладел ею. Между тем мягкий, бесформенный, как медуза, он только поддавался. А потом, когда наскучивала эта игра, ускользал.

Влюбленные в него женщины, естественно, старались удержать, привязать... Но удержать его было не за что, а привязать нечем. Как намыленный, он выskalзывал из гибких и страстных женских объятий.

Гомосексуалистом тоже не был. Не потому что не мог очароваться каким-нибудь ладным и стройным юношей. Я так понимаю, что дядя Володя очень и очень понимал любовные движения смуглых и стройных членов, независимо от того, кому принадлежали эти бедра, ягодицы, икры и лодыжки. Но там — в однополой любви — все было слишком серьезно. Попросту убить могли.

Нет, дядя Володя обладал женской чувствительной душой, но вполне равнодушной, простите за каламбур. Любовь он понимал как игру воображения. Оттого и врал без конца. Потому и дружили с ним, сами себя не понимая, даже те, которых он бросил в одночасье. Именно в одночасье, потом что уходил без объяснений и боялся выяснения отношений, как огня.

Можно было бы этим портретом ограничиться, если бы не случалось с ним постоянно нечто странное, чему он сам не мог найти объяснения и что постепенно вытесняло его на край реальности. Об этом я и постараюсь рассказать вам, насколько позволит мне сама реальность. А если покажется порой, что я не логичен и отрывочен, это жизнь сама так проступает живописными пятнами и рвется на пестрые лоскуты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не любит Марина, когда я уйду в жизнь по соседству, не предупредив заранее. Запретить не может, только расстраивается.

Вот и теперь ищет меня, наверное, по всему участку, под яблонями ходит. Сад длинный, запущенный, между другими двумя зажатый, в конце – сарай и туалет, будочка по старинке. Не доходя до сарайчика надо сделать шаг вправо по жухлой траве, повернуться кругом и – сразу, только вдохнешь, в ином воздухе.

Над головой крылатое океанское с длинными облаками: летит как застыло. И всегда я на этой улице под платаном оказываюсь. Честно говоря, у меня своей квартиры – ни там, ни тут. А зачем?

Теперь надо сделать только несколько шагов и нажать кнопку домофона. Всегда радостный голос. Как будто я только что вышел в соседнее кафе постоять с приятелями (у меня везде приятели) у стойки, где парижский гарсон – понимание и чувство собственного достоинства – изредка и к месту вставляет свои короткие замечания в наш неторопливый разговор.

Эта деревянная витая лестница на пятый – в действительности на шестой по-русски, эта маленькая квартирка из двух смежных, переделанная бог знает из чего – узкое здание семнадцатого века, эта маленькая женщина, сильно располневшая, немолодая, всегда встречающая меня изумленными глазами – «Кого я вижу!» – уже распорядившаяся насчет бутылки, эта радость отплытия в неизвестное – в окне летящие облака, действительно – корабль, и корабль плывет...

Майя, усевшись напротив, с любовью взирала на дядю Володю, который выпивал и, по обыкновению, не закусывал.

– Ну как там на радио? Еще не выгнали? – спросила, охорашиваясь, пчелка.

– Клевещу помаленьку.

– А как твоя семья? Как мадам, ее устраивает жизнь в предместье? – Майя никогда не называла Марину по имени

и была уверена, что Марина живет в д'Аржантее — в довольно отдаленном предместье Парижа. Дядя Володя ее в этом не разуверял. В том многоплановом мире, в котором он жил последнее время, не все ли равно, в Малаховке или в Аржантее, если из Малаховки до авеню де Суффрен даже ближе.

— М-да, — протянул дядя Володя. — Сердится, когда поздно приезжаю из Парижа. Хорошо, что работаю с некоторых пор по договору.

— То есть как по договору? Я была уверена, что в штате. Вытурили?

— Сам попросил. За статьи получаю отдельно, набирается.

— Но тебе же за трехкомнатную платить! — продолжала удивляться пчелка. — Ты же не клошар.

— За какую трехкомнатную? — чуть не выдал себя дядя Володя. — Ах да! Но квартира — от радио, недорого.

— Ты мне не говорил.

— Мало ли чего я тебе не говорил. А я тебе говорил, что персидским котом работаю у одного из шейхов Арабского Эмирата? — дядя Володя перевел разговор на менее скользкие рельсы.

Глаза Майи весело блеснули, ноздри раздулись. Она вообще была жадна на дядю Володю и его фантазии. Теперь она видела, он выпил достаточно, закусил двумя розовыми пилюлями. И начнет рассказывать, увлеченно, как ребенок. Это была вечная прелюдия перед главным, которое подойдет.

— Расскажи, миленький дядя Володя. Я так люблю кошек, хотела даже завести себе котеночка, чтобы на площадке встречал и кричал таким противным голосом.

— Ты хотела сказать, прекрасным голосом, как у Козловского, — ласково поправил пчелку лысый котик в очках и с бородкой.

— Скорее, как у Котовского, — улыбнулась Майя.

— У тебя уже есть один, — промурлыкал он и — опрокинул очередной.

— Итак, живу я в особняке, как в сказке. Расхаживаю, распушив хвост, по всем залам, заглядываю в Библиотеку Кон-

гресса, мне всегда симпатичная библиотекаря книги про ученых котом выдает: и Эрнста Амадея Гофмана, и японца, забыл как его, Чехова больше всего люблю, хоть там про Каштанку, но такой трагический образ кота, помнишь, Ивана Ивановича. Впрочем, кажется, это был не кот, а гусь. Но им я был совсем в другой — пунктирной жизни. И такой сердитый гусь из меня получил, клювом за голые икры хозяйку щипал. Гусь в золотых очках, представляешь? — засмеялся и — «опрокинул».

— Погоди, — встрепенулась совсем было заслушавшаяся Майя. — Библиотека конгресса, по-моему, в Вашингтоне, а не в Эмиратах.

— Из следующей жизни влезла негодная, — пробормотал дядя Володя. — Видишь ли, милая пчелка, у моего хозяина в Эмиратах библиотека — точная копия Библиотеки Конгресса, так ее и зовем.

— Там столько книг?

— Могло быть и больше, все равно мой хозяин ни одной не читал. Они все хотят устроить как в двадцать первом, а сами в средних веках обитают. Но любят меня там, в моей побочной жизни, представляешь, такой пушистый клубок!

— Одна большая снежинка с голубыми глазами, вот какой ты! — подхватила Майя. — Что, я тебя не видела ночью на постели? Или во сне, или не знаю где... Иди ко мне, котик...

Но котик сопротивлялся. Он вывернулся из объятий и снова опрокинул. В окне летели длинные, как белые Мерседесы облака, и звали повествовать о необычном, во что и поверить трудно. Но что не случается теперь с людьми, потому что живут в условной, придуманной жизни — и сами порой не знают, в реальной или воображаемой.

— Позволяешь?

— Позволяю, пчелка.

И он позволил ей, что позволял всегда. Беглую ласку. Она расстегнула его рубашку, на груди оказалась неожиданно темная шерсть, и она залезла за пазуху и стала водить своей ручкой — гладить ее по шерсти и против шерсти. Приятная щекотка, дядя Володя между тем рассказывал.

– У шейха – кстати, европейски одетого, видного мужчины – три жены, как это и водится там на Востоке.

– Не только на Востоке, – ехидно вставила пчелка.

– Спрячь свое жало, пчелка. Или как сказал я в свое время:

Не жаль, пожалуйста, подруга,

А пожалей меня...

Все они, жены, живут в разных домах, и шейх регулярно навещает их – поочередно, чтобы ни одну не обижать. Иногда он брал меня с собой. К белому крыльцу особняка подавали длинный лимузин. Я радостно мяукал и первым – прямо с перил – бросался в открытую дверцу машины, чтобы меня не забыли. Там вцеплялся в черное шевро обивки кресла и безжалостно когтил его, точил когти. Шейх никогда мне не делал замечания. А нового мальчишку-шофера, который вышвырнул меня из шевроле, сразу приказал уволить.

– Какой глупый мальчишка, – томно произнесла пчелка, поглаживая шерсть на груди у своего котика.

– Ах, я любил восседать на подушках у всех трех женщин. Они меня ласкали, теребя своими холеными, умощенными всеми кремами ручками, в кольцах и браслетах. Ночью, из темного угла, со стула блестели мои глаза, как запонки на шелковой рубашке шейха, я не пропускал ни одного женского вздоха, ни одного любовного вскрика – когти мои судорожно сжимались, по шерсти пробегали голубые искры.

После, когда муж-любовник уходил в ванную и там шумел душем, я пользовался тем недолгим временем, которое было мне предоставлено. Я прыгал на темную люстру и срывался оттуда прямо в прозрачные складки тюля, на белую грудь и голый живот. Я запускал свои когти – о, не так глубоко как хотел! – в эластичную плоть. И они не смели кричать. О, если бы я был в своем натуральном виде!

Шейх-постриженные усики никогда не наказывал меня. И так бы и оставалось: это были наши общие жены. Но Амина – самая молодая, таджичка, стала ревновать меня к остальным. Она хотела ласкать меня днем и ночью. Это стало в конце концов невыносимо. Тискала, сжимала между ног и стонала. «О мой пух! О мой пух!» Привязывала к ножке кро-

вати на цепочке. И если я отворачивался от нее, стегала шелковым шнурком. Наконец мне надоела эта тысяча и одна ночь. И однажды, лежа между ней и аккуратными усиками, я стал самим собой. Представьте себе удивление этой парочки, когда они увидели между собой на простыне голого лысого мужчину. Она завизжала и бросилась в ванную комнату, но там я ее настиг. И если бы шейх не стал судорожно звонить в полицию, я получил бы все, что хотел. А так — мужчина улетучился в никуда, а на смуглой спине таджички остались три кровавые полосы.

И дядя Володя издал противный, хриплый кошачий мяв. Очень похоже. Майя уже искоса поглядывала на широкую кушетку, покрытую шотландским пледом, — всюду кокетливые подушечки с кошачьими, собачьими, петушиными головами. Надо было идти к станку. Дело привычное. Все же куда приятней рассказывать, причем сам не знаешь, вранье или вправду с тобой было.

В старом доме семнадцатого века на авеню де Суффрен была отличная слышимость, и соседи слышали, как в квартире на пятом этаже среди бела дня неистово кричат кошки. А Майя видела, что ее сжимает в объятьях, в когтях рыжий, полосатый, с темной шерстью на груди, хоть бы очки снял! И была ужасно счастлива.

А он, сняв очки, видел какое-то розовое мутное — поле? холмы? — то приближающееся, то отдаляющееся. Догадывался, это грудь. Сам он парил скорее всего на вертолете, но порой ощущал себя толстым поросенком-снарядом, мчащимся в гладком стволе Большой Берты. Но нельзя же было мчаться без конца... Все же слишком долго она не отпускала его.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ближе к вечеру рыжеватый плотный господин вышел из подъезда дома 131 и направился к Эколь Милитер, оттуда к Сене. По дороге купив бутылку кальвы, он спустился по каменной лестнице к нижней набережной, присел на каменную скамью по соседству с двумя немытыми клошарами, ко-

торые расположились на соседней скамье и не обращали на дядю Володю никакого внимания (возле ног стояли две пластиковые бутылки дешевого красного), сделал первый солидный глоток прямо из горлышка. Камень охлаждал зад, закатное солнце почти не грело, но кальва работала за него и стало приятно изнутри. Приятно стало. Изнутри. Изнутри стало приятно.

Рядом стояли старинные шхуны, баржи-рестораны. Обобщенно – широкими коричневыми и бежевыми мазками. Пахло темной водой, и ветерок шевелил бело-синий флаг напротив. Шевелилась вода внизу, тени листьев на набережной, флажки, развешанные на мачтах, и в душе зашевелилось нечто. «Я как эта муха на солнце». – И дальше не хотелось думать. Потому что думать было опасно.

Муха была действительно любопытна. Брюшко с изумрудным блеском, спинка не меньше, чем в 2 карата. И пусть это была навозная муха, она была парижская муха – украшение ювелирного магазина, что выставил свою бархатную витрину дальше по набережной – к Сан-Мишелю. Муха охорашивалась, двумя лапками чистила крылышки, вертела головкой – словом, вела себя, как истинная парижанка. И такая же смелая. Сначала поерзала у него на колене, даже на гольфике, потом перелетела на кисть руки, как бы поздоровалась. Выпуклые спичечные головки повернулись и уставились прямо на кончик уса дяди Володи. Там повисла сладкая капля. Очевидно, эта муха была не прочь выпить за компанию на пленэре. Настоящая парижанка.

– Вы, простите, не с улицы Сен-Дени? – деликатно спросил бесцеремонную дядя Володя.

– Нет, мусье, я из ресторана «Куполь», – прошелестела муха.

– Далеко же вы залетели, мадам! – вежливо поразился человек.

– Не мадам, а мадемуазель, – поправила его муха и перелетела на ус, как бы невзначай. – Знаю, о чем вы думаете. Может быть, я бы вышла за вас, мусташ, меня еще надо уговорить, но после того, как я отложу яички, мне крышка. Да и что за младенец у нас будет?

— Амурчик, голый и толстый, с крылышками, — с удовольствием заметил дядя Володя и сделал губы бутончиком. Пил дядя Володя, пила муха.

— Крылышка золотописьмом тончайших жил... — стал читать Хлебникова дядя Володя, полузакрыв глаза. А муха была уже, что говорится, под мухой. И по-русски, верно, не понимала, это же была муха-французенка.

— Вы не поверите, какой горячий мужчина был монах-бенедиктинец у моей прабабушки! — оживленно начала муха. — Грех, который они совершали ежевечерне, так и называется «мухамур».

— Как так? — не понял дядя Володя.

— Она его щекотала, — лукаво сказала муха. — Кто-то из монахов перенес отцу настоятелю и наш бенедиктинец должен был публично нанести себе столько ударов плетью, сколько раз он грешил. Хлестнул он себя раз-два для виду. А грешил бесчисленное количество раз. Ночью муху прогнал из кельи и погрузился в одинокую меланхолию. И только любимое клубничное варенье принесло ему наконец успокоение.

— Достаточно ли вы сладкий? — вдруг засомневалась она. — Чувствую, есть в вас какая-то горечь.

— Это благородная горечь алкоголя, — охотно признался человек. — Кроме того, я только по рождению француз, потомок русских эмигрантов.

— Вот откуда эта горечь! — с торжеством воскликнула муха-парижанка. — В России всегда было много мух, потому что русские неряшливы и проливают свой сладкий чай на подносы, на клеенки, на скатерти. Русские любят мух. Но русские убивают тех, кого любят — увы, махровым полотенцем.

Муха пошатнулась и поползла прочь по каменной скамье, волоча ноги.

— В Россию — ни за какие круассаны, мусье!

— Прощайте, мадам!

— Сколько вас учить, маде-му-азель... — пьяная муха свалилась со скамьи и затерялась в мусоре.

«Мухамур, век живи — век учись», — подумал с восторгом дядя Володя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не хотелось покидать уютно-клошарский берег Сены. Но там, где его ждала третья, вдова-невеста, можно было покурить анаши. А уже посасывало в желудке и сохла глотка.

...Наверное, было достаточно желания, оно было очень определенное, и он уже сидел на высоком крыльце дома отца Теи, а сама она спешила к нему с железной коробкой из-под конфет, из которой он достал папиросную гильзу и набил ее зеленой щепоткой гашиша.

Столбики обвивали, гибкие стволы и плети-ветви, листья, как вырезанные из зеленой и розовой бумаги, и тяжелые гроздья совершенной формы светились над столом, отломи – сами лягут на блюдо. Легкость и блаженство. С каждой затяжкой – легкость и блаженство. Ничего не хочу. Так бы всю жизнь.

Но надо было работать. Надо было соответствовать самому себе. Ближе черные глаза, подрисованные, – бедняжка. Все еще ждет и надеется. Он не обманет ее ожиданий. Вернее, он обманет ее, как и другие. И зачем он сюда приходит? Густые сросшиеся брови, икры, поросшие черным волосом, – мужеподобна, но нежна.

Он лениво поцеловал вдову-невесту, поцелуй был как вата. Он отстранил ее. Но она тянулась к нему, нет, не понимала. Еще один мокрый поцелуй прилепился к щеке, другой повис на подбородке, еще два – как неловкие щенята щекотались где-то на шее и на груди. Он знал, как унять ее.

– Тея, ты знаешь, принеси чачи, ну и там того-сего, третьего, помидор свежих, и вот что, сотвори мне чижипижи, – сказал он, как настоящий грузинский мужчина. Только слово «сотвори» употребил зря, ну да не заметит, куда ей.

Из дверей, открытых в полутемные комнаты с закрытыми ставнями, появились и исчезли два-три женских лица, мучнисто-белых и как будто чем-то испуганных.

Послышался приглушенный разговор, и на террасу вышел брат Теи Георгий в одних шерстяных носках, обнялись. Смешно. Такой у него высоко горбатый нос, будто путник где-то в горах под плащом.

Плеснулась чача в пузатых стаканчиках. И поплыл фрегат Георгия, стал подниматься путник по склону, тост звучал все раскатистей и забирал все выше и выше...

Тут из глубины большого пустынного дома появились две фигуры. Кто такие? Наш глубокоуважаемый Гиви и большой человек дядя Искандер.

— А он — уважаемый жених, только что из Парижа, высоко надо всеми, как белая вершина Казбека, да и тот смелые горцы покоряли не раз, а такую вершину, как наш дорогой гость, почти родственник, никто никогда не покорит, величайший ум, бесконечная доброта, белизна снегов, чистое небо высот — никому не подняться, да что я говорю, простому человеку рядом с ним, не дай Бог, ослепнуть можно. Не скажу, что он полиглот. Полиглот — это почти Полифем. Полифем, как мы знаем, был одноглазый и пугал путников. А наш дорогой гость смотрит двумя ясными глазами, знает 12 языков и наоборот — никого не пугает, привлекает нашу красавицу Тею. Так выпьем за нашего бесценного гостя, почти родственника, и за наш кавказский Париж — за Тбилиси!

Как-то незаметно рядом с дядей Володей оказался седой, коротко стриженный дядя Искандер — это с одной стороны. С другой придвинулся криворотый Гиви. От него чего-то хотели, добивались. Дядя Володя сквозь блаженный туман почувствовал опасность. Он не любил, когда от него что-то добивались. И поскольку носы у всех были подобающие, дяде Володе показалось, что его взяли на abordаж с трех сторон.

— Он делает!

— Такой человек!

— Знаешь Мюрата? Мы одной нации!

— Мы грузины, ты француз!

— Говорю, он делает! Как жених нашей Теи, как родственник.

— Вдову нельзя обижать.

— Если не женится, убьем!

— Пусть не женится, их дело молодое, лишь бы дело сделал.

— Всегда приезжай!

— Такая сделка! Пальцы себе поцелуешь.

— Мамой клянусь, станешь Рокфеллером!

- Рокфеллер... ротвейлер... Заведешь ротвейлера.
- Если откажешься, всю жизнь каяться будешь.
- Кто? Покажите мне того, кто от счастья отказывается?
- Выпьем и дело с концом.
- Это он? Не верю.
- Такой приличный человек. Он сделает.
- Не сделаешь, сам понимаешь.
- Вижу, галстук и франки у тебя есть. Боюсь, что доллары тебе все же не помешают.
- Слышал, стена плача в Израиле. Как бы не стать тебе стеной плача. А?
- Ты – Казбек, а наш дядя Искандер – Шах-гора, у него все схвачено.
- Всегда будешь другом!
- Жизнь за тебя отдадим!

Словом, надо было переправить через границу какую-то очень ценную вещь. Надо было привезти в Париж и отдать владельцу русского ресторана, что на площади Республики.

(Мигом возникшая скульптурная группа – почему-то дождь, полосатые маркизы). «Джаба Гагнидзе, ему отдашь, запомни. В собственные руки».

«Зачем я здесь появился? Какой-то липовый жених. А это – мафиози. Мафией от них за версту несет».

Но уже развернута красная тряпица, и там черный футляр необычной формы – и вот перед глазами чудо: массивный золотой крест, украшенный рубинами, сапфирами и алмазами. Мигом протрезвел и протер очки. В верхней лапе такой черный бриллиант горит! А вокруг – глаза алчные черные, и носы его забодать хотят, на одном крупная капля повисла – как бриллиант светится. «Влип!»

Главное, отказаться нельзя. Теа смотрела откуда-то издали, смутно, подойти боялась. Троица напряженно ждала.

Дядя Володя, надо отдать ему должное, неторопливо закрыл футляр, завернул в тряпицу, сунул сверток в новенький черный дипломат.

– Надо, доставлю. Джаба Гагнидзе на площади Республики. Как же, как же, знаю, был. Ресторан «Анна Каренина» называется.

И сразу все разрядилось.

— Теа, самое лучшее вино, ты знаешь, то — заветное, нашему почетному гостю! — радостноскомандовал брат Георгий. И все закружилось. Только кипарис во дворе смотрел исподлобья хмуро, кажется, сочувствовал дяде Володе. «Не ты первый, не ты последний», — будто говорили его кладбищенские ветки.

Одно утешало рассеянного дядю Володю — переходит он рубежи необычным способом. Но можно ли таким способом вещи переправлять, он еще не знал. Даже бутылки вина никогда не брал. А если это особый путь воображения? Тогда ему конец. Потому что мафия и бриллианты были самые настоящие, в чем дядя Володя нимало не сомневался.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дядя Володя был, может быть, не труслив, но пуглив и робок, как истинный интеллигент. И уходя из слишком гостеприимного дома в темноту переулка, не мог не думать об угрозах этих носатых кораблей и возможных последствиях. Дипломат потяжелел, оттягивал руку и был слишком реален. Даже мысли об этих троих отдавали металлическим привкусом смерти. Нет, дяде Володе не хотелось получить от незнакомого человека пулю в затылок. Ему было что терять. Даже если вспомнить некоторых своих пассий.

Анна, как всегда, не ждала его. Обычно, если была дома, оживленно разговаривала по телефону. Темные глаза ее были не рады гостю, но бросалась навстречу, как девочка. «А я как раз думала о тебе!» Равнодушно-страстная, как магнит.

Ждала Гульнара — она всегда ждала: днем, ночью. Когда она выходила из дома за покупками, оставалось для дяди Володи тайной. Но стол бывал накрыт в считанные минуты.

Наташа и ждала, и не ждала. У Наташи был ребенок — не от него — и плакал, Наташа нервничала, фальшивила, чего-то боялась — и какая она была на самом деле, дядя Володя так и не знал.

Верунчика никогда не было дома, зато была ее мама, которая не отпускала дядю Володю, хорошенько не угостив.

Потом он рассматривал ее фотографии – разные и безо всего. Верунчик так и не появлялся. Ночевал один на диване. Зато было ощущение бурно проведенной ночи.

Когда он появлялся в поселке у Валентины, он всегда уходил в березовую рощу, даже зимой. Там, в условленном месте на краю оврага, она бежала ему навстречу, спешила, она вечно спешила, сама расстегивала его дубленку и валила прямо в снег. Овчина, шарф, пуховой платок, разбросанные валенки – такой ворох, настоящая медвежья берлога для любви.

Возле дома Николь он простаивал часами – разговор шел по домофону. Он – на плохом английском, она – на ужасном русском, никак не могли договориться, прежде всего – понять друг друга. Надо было объяснить, что это он, а не французская полиция. Она не одета, он на минуту. Она сейчас уходит, он принес вино. У нее подруга, а он голодный. У нее мама, и у него никого.

Эвелина звала его: «Моя девушка Вова» или «тетя Володя», и он был беспомощен в ее объятьях.

Нина попросту насильовала его. Поставив бутылку водки и даже не дав вкусить этого живительного для него вещества, она тащила его к постели и не отпускала в течение часа или двух. И какая была в ней сила и упорство, ни на минуту не успокаивалась. Когда она засыпала, он буквально уползал к столу.

Жанна Владимировна всегда звала подругу-соседку и каждый раз новую. Дядя Володя каждый раз удивлялся, сколько же хорошеньких девушек живет совсем рядом! Потому что появлялись они быстро, будто ожидали за дверью.

Клара всегда находила его. Куда бы он не забился: к приятелю, к другой женщине, просто в щель, как таракан, она приходила, устраивала скандал и уводила его с собой. Кажется, она торжествовала и самоутверждалась за его счет.

Лиля в минуты экстаза говорила, что его зарежет, обязательно зарежет! Ведь он ее довел до невозможности! Вот так возьмет и воткнет нож под ребра! – будет знать! будет знать! будет знать!

Сара-американка уже из коридора говорила: «Володья, тушите свет!» Она и выпивала с ним в темноте, сидя за столом. И разговаривала шепотом. Глаза сверкали, как у кошки. Говорила, что они подсматривают, подслушивают, лезут под одеяло. Кто «они», не объясняла.

Саша женилась. Нет, не вышла замуж. Он всегда думал, глядя на нее, очень коротко подстриженную, широкоплечую, узкобедрую, в джинсах, кто же она такое? Говорила низким голосом, была не то чтобы грубовата, а как-то быстра и расправлялась с ним, как повар с картошкой. Сразу отворачивалась, и скорее уходила. Или придиралась к чему-нибудь, и прогоняла. Проходило время, она звонила и он снова плелся, честно говоря, без особой охоты. Но дядя Володя был готов поклясться, что физически она — женщина.

Долго не видел. Рассказали, не верилось. Но вчера в пассаже — «Саша, смотри, какие кольца!» Обернулся, молодая блондинка в английском спортивном стиле под руку с молодым человеком: темные усы, бородка, глаза Шашины. Выбирают обручальные кольца. Саша посмотрел на дядю Володю и подмигнул.

Все же лучшим подарком она считала цветы с пьянящим ароматом, как сама жизнь...

А жизнь не считала лучшим подарком эту дебелую, намазанную кремами тетку-притворщицу с надрезанной и подтянутой кожей гладкого лица.

Дядя Володя был у нее юношей. Вечером он приходил к ней со служебного входа с бьющимся сердцем. У нее была отдельная гримерная. Из зеркала ему улыбалось милое лицо, известное всей Прибалтике. Она так и разговаривала с ним, глядя на себя в зеркало, пока суетливая угловатая гримерша любовалась и наводила последние штрихи на свое яйцевидное произведение. Наедине называла его: «Мой последний мужчина». По слухам, жила с главным.

И пусть она здесь останется безымянной.

Кроме этих тринадцати были и другие, как вы убедились. Возможно, не все они были реальностью, некоторые были

игрою воображения. Но не все ли равно, когда радость и горе, счастье и гибель приходят к нам с обеих сторон.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ел малину с куста. Протягивал пухлые пальцы в глубину колючих джунглей, там были темные, особенно спелые, по пути руку обжигало, но чем больше жгло и зудело, тем вкусней были ягоды. Он продолжал тянуться все дальше, легко царапнуло щеку, сладкие корзиночки манили уже издалека. И надо было пробиваться, прорубать просеки в зарослях крапивы-малины. Уже ягода набила оскомину, окрасила синим ладони, белые червяки лезли из влажно-алого нутра, вставали на хвост и отпадали, нет, он не мог остановиться. Потому что идти было некуда. Снова он в саду у Марины, дипломат стоит на земле...

Почему-то не вышло, а идти к дому он не хотел. За соснами белела веранда и замечалось некоторое движение. Могут и заметить. Смахнув со лба паутину (яблоки стукались и стукались о землю), он сосредоточился и — сейчас крутанется на каблуках. Стоп! Он понял, почему не вышло: его вело и руководило им обычно сильное желание, это задание энтузиазма в нем не вызывало.

...Такая полная, с короткими ножками и широким тазом. Груды — такие холмы, что поднимают его на уровень окна и, лежа на ней, он может созерцать платаны, дом на той стороне, такой же серый и древний — с мансардными окошками и горшками-трубами на крыше. Одна из них дымится. А под ним дымится и пыхтит нечто, в котором он пребывает до поры, как в своем доме. Все быстрее бегают мышонок... Обнимая друг друга, поменялись местами... Вылезает темный от масла металлический поршень, поднимая тяжелую платформу... Получилось!

Он огляделся. Эта была Франция, вывески те же, аккуратные дома, особняки, цветники на балконах — полоски синие и белые, гипсовые гномы в палисадниках, явно не Париж. Он находился на сквере возле станции железной дороги, напротив было кафе, дальше вверх — улица к площади, там

виден серый шпиль собора — петух на кресте поблескивает. Невольно схватился рукой за свой потертый портфель, на ощупь футляр — на месте.

Вспомнил, это был Бове — городок в пятидесяти километрах на севере от Парижа. Здесь жила дочь Майи со своим мужем — молодожены. Он был на свадьбе. Видимо, Майя теперь у них. Иначе зачем бы его сюда перенесло. Солнце плоско садилось. Если в Тбилиси был вечер, здесь был конец дня.

...Здоровенный, похожий на мясника, хозяин наполнил кружку бельгийским пивом — одна пена. Он долил кружку, пены не убавилось. Далее не стал колдовать и подал чужаку неполную — обойдется.

Дядя Володя не стал добиваться правды здесь, в провинциальном кафе. Он сел у окна спиной к стойке, достал из-за пазухи аптечную бутылочку спирта и плеснул в пиво. Отхлебнул, стер горькую пену с усов. Все стало на свое место. Единственное, что ему не нравилось в России, — это пиво. Жигулевское, любимое народом, было похоже на мыльную воду в бане.

Идти к детям Майи — Жюлю и Жюли? Честно говоря, неохота: кукольный домик с собакой. С другой стороны, приедешь в Париж, а Майя здесь осталась. Можно переночевать у Мягковых, тоже далеко, в Аньере живут. К цыгану Хвосту в «скват» — много задолжал, с остальными разругался, рассорился, то есть не он рассорился, с ним рассорились, знать его не хотят. Все врет, говорят, и деньги занимает без отдачи. Да он всем отдаст. Будут деньги и отдаст. Разволновались.

...Узловатые черные стволы деревьев за окнами кафе были высветлены низким солнцем.

...Узкий проход к двери в стене под черепичной крышей. Жюль и Жюли возились в земле на маленькой площадке перед домом, отгороженной от соседей с трех сторон высокими крепостными стенами. Здесь уже стоял садовый стол, четыре стула и как раз оставалось место для розового куста.

— Мама была целый день, недавно уехала, — объявила Жюли. — Не хотите ли стаканчик вина, — с утвердительной интонацией.

Лохматая крупная собака вставала на задние лапы и лезла в лицо. И так захотелось оказаться подальше от этих мест, что пришлось пожертвовать своим более незначительным и скучным двойником, оставив его допивать черное вино из погреба хозяина и беседовать на тему, интересную Жюлю и Жюли, то есть о них самих. Эта пара была ему ну совсем не любопытна.

Душевное движение, такое сильное и отчаянное, будто он выдирался из плотной толпы, собравшейся слушать поп-звезду на Васильевском спуске.

Еще усилие, что-то блеснуло, и дядя Володя увидел себя, восседающим в углу за столиком в ресторане НАБОКОВ. К нему направлялся гарсон с широкой улыбкой на незначительном плебейском лице парижского гавроша.

Все-таки это уже было кое-что. Хозяин ресторана давно знаком. Кредит еще есть. Ощупал мамлеевский портфель: крест был тут. Деньги с них он получит.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Зал был невелик и разгорожен на секции. У барьеров перед столами стояли синие бархатные диванчики — плюс стулья, помещалось довольно много посетителей. Прикрепленный к стене висел плакат: Его Величество царь Николай Второй на фоне Эйфелевой башни. Царь был неправдоподобно румян и усат, настоящий русский. Или Киселев — ведущий телепрограммы.

На низкой эстраде три музыканта работали как оркестр. Потомки тех, старых, уехавших, делали вид, что отчаянно выплясывают — били ладонями о каблуки. Глазастая некрасивая псевдоцыганка с толстой накладной косой старательно делала вид, что поет.

Посетители, в основном русские эмигранты, изображали веселье, шум стоял такой, что беседующим приходилось перекрикивать друг друга. Создавалось впечатление, все делается единственно для того, чтобы поразить заезжего туриста. Пропади все пропадом: и фирма, и жена в Екатеринбург! — Запить, загулять, заплясать. Тем более, что шампанское в ресторане стоило очень дорого.

На дядю Володю оборачивались, с ним здоровались.

— Добрый вечер!

Две нахальные пропитые физиономии: художнички — Илья лохматый, Сашка лысоватый с оттопыренными ушами, взгляд привычно ищущий, с хитрецей. Сашка Воробьев, Илья по прозвищу Грязь, фамилия неизвестна.

— Заказать вина?

— Мы сегодня при деньгах.

— Не мы, а Толстый.

— Иди сюда, Аркадий.

Аркадий Вырин, актер по прозвищу Толстый, оправдывал свое прозвище вполне. Он был крупный, обрюзглый, с головой римского патриция. В бане бы ему сидеть, завернувшись в простыню, и пиво пить кружками. Даже какой-то банный дух от него шел. Навалился на стол.

— Водки и всем — пива деми. Принципиально вина не заказываю, подадут какой-нибудь клошарской бурды, а счет подадут как за бургундское.

— Русский ресторан!

— Русский — для дураков французов!

— Снимаешься?

— Пробы сегодня были. Ричард Львиное сердце.

— Кого играешь?

— Старого нищего, — Аркаша сгорбился и выдал губастую морду. Лучше бы он этого не делал, потому что у него и так было нечто кривое толстое, а сейчас весь кабак перекосило. Официант с подносом споткнулся и отлетел к стене. Художники дружно загоготали то ли над актером, то ли над официантом.

Дядя Володя уже посматривал сквозь очки на что-то длинноногое, там, за столиком. Вертел головой, надеясь отыскать это — с длинным зеленым глазом. Вон, само его ищет, разумное. Как две намагниченные стрелки, они колебались, но по направлению друг к другу. Правда, досадная ноша. Ну да ладно! Завтра проснется — никакого креста, никакой мафии, одно заботливое окружение, тысяча любящих женщин, и все — одна мама-жена-любовница-сестра-дочь!

Эстрада между тем опустела. Два художника привычно ненавидели друг друга. Толстый подзадоривал. Дядя Воло-

дя и Лида, так звали длинноногую, сидели уже вплотную, пили и глядели друг на друга. Сначала пили на брудершафт. Несколько погодя, наоборот — на шафтебруд. Потом снова — на брудершафт, и обоим это очень нравилось.

С другой стороны стола:

- Будем вешать. Завтра же привезем.
- Думаешь, он нас повесит? Там у него, знаешь кто висит!
- Повесит. Обоих повесит, куда он денется.
- У него хорошо висеть, престижно.
- Да, лишь бы повесил...

Разговор шел о престижной выставке.

Все шло-катилось по наезженному пути: под лапой на-прягалась восхитительно гибкая узкая спина новой подруги. Да, да, она была похожа на осетрину — и по форме, и по видимой дороговизне. Впрочем, ему свою цену пока не выставила. Все равно знал, для него будет скидка.

Шум нарастал. Ресторанное веселье катилось пестрым колесом цыганской телеги, которую автор, кстати говоря, никогда не видел. Но сравнение помнит откуда-то. И если продолжать кулинарные метафоры, под низким потолком в ресторанной мутной сини металась ощипанная живьем курица — вернее, ее квохтание, придыхания и восклицания. Популярная русская песня, которую пела популярная русская певица, сама похожая на курицу, несмотря на то, что молодилась под девочку.

- Днем на Шан-Жализе ее видела. Подумала, обозналась.
- Перекрестись!
- И Крестинский тут.
- Муж ее — еврей, выкрест?
- Недавно в церкви Женьевьев де Буа крестился.
- Креста на вас нет, выдумываете!
- Вот те крест!
- Во Франции, видела, на всех крестах петухи.
- А на Риволи георгиевские кресты продают. Это же за храбрость в бою дается!
- Мой дед — казак. Как пошли они в атаку, аллюр три креста!
- И рушник сохранил, крестом вышитый.

— ...А новый русский и говорит: вы этого атлета только с креста снимите.

— Что вы делаете?

— Крестословицу разгадываю.

— Южный Крест годится?

— Да не она это, эта на Сен-Дени стоит, где крест зеленый, у аптеки.

— Постарела, располнела. Золотой крестик, а грудь полная.

«Что это они — все про крест и про крест?» — недоуменно подумал дядя Володя и ему стало неуютно. Он пощупал портфель, но тот оказался неожиданно твердым. Это было бедро Лидочки. Портфель был с другой стороны и футляр прощупывался.

Гарсон, склонившись, попросил дядю Володю к телефону.

Телефон был внизу возле туалета. В трубке подпрыгнул грузинский голос:

— Это дядя Володя? Ху из ху в натуре? Говори, дорогой, не томи.

— Я у телефона. Кто это?

— Привет от Джабы. Интересуюсь. Товар у тебя, дорогой?

— Товар? Какой товар?— дядя Володя был так далек от всего подобного, не сразу сообразил.

— Какой товар? Не знаешь, какой у тебя товар? Какой товар, он не знает! Шутишь, уважаемый? Слушай сюда, завтра же на цырлах в пять по-местному притаранишь его в ресторан «Анна Каренина». Войдешь со двора, мимо холодильника, где мясо висит, понял?

— Понял, — растерянно ответил дядя Володя.

— Мясо висит, ясно?

— Ну мясо висит, что дальше?

— Будешь крутить мне яйца, моих людей к тебе пришлю, дорогой. Останется только освежевать и на крюк повесить. Усек?

Только тут дядя Володя действительно все усек. Он, как умел, успокоил незнакомого ему, но опасного Джабу, что товар у него в целостности и сохранности, что будет к условленному часу завтра обязательно. Джаба успокоился, но все же скворчал и капал жиром, как шашлык на уголья.

Когда дядя Володя вернулся к своему столику, оставшиеся четверо все пили на брудершафт. Его встретили нестройным шумом: дескать, не одному тебе, присоединяйся, не лмай компанию. Осетринка Лида косилась на него и кокетливо смеялась.

Дядя Володя присел за стол и незаметно протянул руку к портфелю ощупать футляр. Креста не было.

Дядя Володя не то, чтобы похолодел, просто перестал что-либо слышать. Ресторан «Набоков» на глазах стал чернеть и рассыпаться на секции. Люди за столиками с разинутыми ртами беззвучно стали разлетаться в темноту. И закружились хороводом вокруг большого омара, красного красавца на блюде, все быстрее и быстрее.

Близко подлетало массивное мучнистое лицо, губы-нашлепки шевелились, но что говорит, невозможно было разобрать, и патриций снова улетал в темноту.

Два рожи, патлатая и ушастая, летали перед ним, махая ушами и лохмами, и загадочно ухмылялись: «Повесит, а куда он денется!»

Поворачивалась к нему и длинноногая, но вместо лица незряче глядело плоское яйцо. «Что она говорит? Неужели она?»

Ресторан стал здорово соответствовать своему названию – и сам дядя Володя, почувствовал, что куда-то проваливается, скорее переносится...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я сидел на синем бархатном диванчике в низкой и душной сибирской избе. В оконце смотрел синий снег. Толстые бревна – темные, с аккуратными сучками, как нарисованные. Таракан на столе неподвижный, тоже декоративный вроде. Протянул руку, убежал подлец. Вверху горела медная лампа из реквизита, но похоже, нас освещали еще и сбоку.

Из угла темнели иконы. На стене, прикнопленный, висел портрет Николая Второго на фоне Эйфелевой башни. Было очень натоплено. И струйки пота стекали у меня по щекам.

Плеснулса самогон – голубым отблеском в четвертной бутыли. Наливал в тонкие стаканы штабс-капитан, бывший

актер, мутно белея лицом римского патриция. Один ус у него отклеился.

У стены стояли двое пролетариев: с патлами вразлет и с оттопыренными ушами. Все мыслимые пороки были написаны на их стеариновых лицах.

— Не признаетесь, повешу, — равнодушно сказал я.

Покосился на свой погон: витые золотые веревочки в два просвета, звездочки — полковник. Боковым зрением сквозь лучистый отсвет лампы видел в полуотворенную дверь, как Федя в сенях, сидя на табурете, намыливает веревку.

Двое тоже видели это и молчали.

Я вспомнил, как на предыдущей странице этот Федя повесил старого казака за мародерство. Они — пленные, видимо, тоже читали мою книгу «Конь вороной», грамотные, хотя рукопись еще не была написана, да и когда: бои, отступление.

Патлатый рухнул на колени.

— Не брали, вот те крест!

— Вы, господа большевики, неверующие, — весело сказал я. — Зачем вам религиозный предмет?

Другой, с оттопыренными ушами буравил меня ненавистно.

«Хоть он и живет на рю де Тур, да пил я у него не раз, раскусил я тебя, вор. Не вернешь, повешу за яйца», — шевельнулось у меня в душе.

— Ленину в Кремль привезет, — ухмыльнулся штабс-капитан и поправил приклеенный ус.

— Не привезет, — жестко из сеней сказал Федя.

— Не погубите, господин полковник! — всплеснув руками, по-бабьи закричал патлатый.

— Плетей прикажете большевичкам? — подал свою реплику штабс-капитан и хрустко закусил огурцом. — Ядреные, таких в Париже не купишь. Одно слово, эмиграция.

Ушастый комиссар сплюнул на половицу.

— Да уж вешайте, и дело с концом! — прошипел Воробьев. — Грязь все равно не знает где, — и не спрашивая разрешения, нахально сел с другой стороны стола. Схватил стакан и разом выпил.

Хотел его ударить, понял: перед смертью комиссар горло обжег. Удержался.

— Я не знаю где?! — истерически кричал Илюшка Грязь.

— В этюднике у него пошарьте, — продолжал он вопить.

— Падла. Все равно обоих повесит, — презрительно сказал комиссар Сашка Воробьев. И отвернулся. — Куда он денется!

Федя, наматывая на руку веревку, вошел в избу.

— Обоих повешу. Не сомневайтесь, господин полковник. Тут в лесочке. Обернусь мигом.

— Вот тебе и вернисаж на виселице, — непонятно пошутил штабс-капитан.

Не слушая его, я обыскивал избу. Где этот проклятый этюдник? Полез на полати. Несколько сотен глаз напряженно следили за мной. Нигде нет.

Надо вспомнить. Когда вернулись с этюдов (хотя какие зимой этюды?), куда он свой этюдник положил?

— Признавайся, подлец, где крест?

Воробьев только сплюнул.

— Все равно не найдете. Верному человеку отдал. Едет он теперь в голодный Петроград, хлеб рабочему классу везет.

— Да вон он — под столом, еще дальше ногой запихивает! — сорвался мальчишеский голос снизу — из первого ряда.

В один миг я уже был под столом, выхватил этюдник и торжествующе потряс им, показал публике.

Все подались к мне. Шалишь! На них глядел пистолет, а быть может, банан. Все едино.

Раскрыл, руки трясутся: вот он. Распахнул футляр — и «Боже царя храни! Дай ему долги дни!» Кажется, всполохом осветило ночную тайгу! — крест блеснул золотом и всеми камнями в темной сибирской избе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром никак не мог понять, где проснулся. Похоже, мастерская приятеля-художника. Но кто этот приятель, где он находится, долго не мог понять. Сквозь мансардное окно в кровле пыльные солнечные лучи падали на смятое одеяло и

рядом лежащую длинноногую, освещая их рельефно, как гипсовые формы. Причем, одну ногу она выпростала из-под пледа далеко к самому полу — тоже вроде луча, другая нога запуталась в пододеяльнике; смутно вспоминался бурный клубок тел этой ночью.

Осторожно поправил на спящей одеяло, посмотрел на холсты — лицом к стене — и сразу вспомнил: он находится в мастерской Олега Елкова близ Монпарнаса.

Укрыл одеялом ее ногу, как отдельное смуглое существо, мысленно — мгновенный набросок и вспомнил: конечно, он ночевал здесь, на Сретенке, на чердаке дома РОССИЯ, в мастерской у графика Виктора Водопьянова.

Надо было собираться на работу.

Надо было собираться на работу.

Он прошлепал к столу, помещение было обширное, на столе стояла бутылка «Смирновской», у араба купил — освещенный навес, поздно торгует. Налил первый стаканчик, опрокинул — «как в топку кинул». Поискал взглядом сигареты на столе, похлопал по карманам пиджака, нашел, с удовольствием закурил первую. Таблетки были в нагрудном карманчике.

Завернувшись в плед и сунув босые ступни в хозяйские туфли, свои были где-то там, он прошлепал к столу, знал — там стояла бутылка «Московской», плеснул и выпил — даже не почувствовал. Закусил двумя розовыми пилюлями.

Под столом потертый мамлеевский портфель — сначала не узнал. Паническая мысль! Футляр на месте — ощупью понятно.

Под столом валялся новенький дипломат — чей? мой? Паническая мысль! Торопливо раскрыл — футляр на месте.

Рыжеватый с бородкой, неряшливо-щеголеватый мусье прощелкал бойкими туфлями сверху донизу по деревянной; витой, натертой мастикой до блеска парижской лестнице — и не подумает, что гулял и охальничал накануне, как Тургенев, Куприн, Есенин, Сапгир и Хвостенко вместе взятые.

Благообразный господин с чемоданчиком спускался по черной, с кошками и помойными ведрами, лестнице дома РОССИЯ, и не подумает, что еще накануне он гулял и охаль-

ничал, как все вышеупомянутые господа. Наподдал ведро — загремело, и торопливо оглянулся: никого.

В метро было пусто, час пик уже прошел. Мелькали переплеты стальных ферм. Поворачивались узкие старинные здания с множеством горшков на крышах. Иные дома сходили на нет, как высокие корабли, внизу разбежались стильно пестрые, оживленные улицы. Неожиданно выросла Эйфелева башня. Поезд громыхал по эстакаде, следующая «Дом Радио», ему выходить.

В метро было тесно, хотя час пик уже прошел. Своем и свистом состав буравил темный тоннель. Возникали светлые помпезные мраморные станции, миновал очередной «памятник империи» — и снова в темноту, народ выходил, входил — и не убавлялся. Следующая «Новокузнецкая», ему выходить.

Хотя французский Дом Радио на набережной Сены имел обширный вестибюль с множеством входов, на шестой этаж обычно сотрудники русского радио поднимались с бокового служебного входа на грузовом лифте, так быстрее. Сердце испуганно сжалось, когда проходил между двумя никелированными трубками, но металлоконтроль на золото и камни не среагировал. На этаже, проходя, бегло здоровался с сотрудниками, бородатыми и бровастыми, русско-еврейскими интеллигентами, которые попали сюда во время противостояния и были очень нужны, а теперь не очень, но крепко держались за свое место и пенсию, хотя уже давно все ездили в Питер и Москву. Дядя Володя вошел в аппаратную и махнул рукой сквозь стекло технарю-мальчишке. «А этот зачем приехал в Париж? От кого бежал?» Тот кивнул дяде Володе, и вещание на Россию началось. Его время в живом эфире.

В Дом Радио все входили как бы с угла — с парадного входа, обращенного к метро. На площадке толпились блестящие иномарки и серые рафики. Бегло махнул пропуском перед носом милиционера и прошагал прямо к лифтам. Крест оттягивал дипломат, даже выпирал углом. Редакция находилась на седьмом, этажом ниже — аппаратные. Мимо негров, арабов, миловидных девушек, попадающихся всюду, как грибы где-нибудь в березовой роще — «грибном месте». Снизу и сбоку несло вареной капустой — столовая. На седьмом пахло кофе

и пирожками — буфет. Этот запах прилип изнутри к зданию издавна, как будто здесь находилась фабрика-кухня тридцатых годов, а не фабрика информации. Просмотрел материал, стоя за столом, поговорил с режиссером. Все привычно и обычно. Спустился на этаж ниже. Вошел в аппаратную. Вещание на Францию. Его время в живом эфире.

Поскольку дядя Володя в обоих случаях говорил примерно одно и то же — и по-русски, и по-французски, я приведу здесь русскую версию.

Передаем новости науки. За последние годы ученые нескольких стран одновременно выдвинули версию о неоднородности времени и параллельности пространства. При каких-то непонятных условиях материальные объекты могут попадать в параллельные миры и продолжать существование. В силу опять же непонятных причин предметы и живые существа могут и возвращаться. Такое мы наблюдаем, в частности, в Бермудском треугольнике.

Дорогие радиослушатели! Вы, вероятно, не знаете, что в Кельне целый институт работает над проблемами реальности вообще и реальности в частности. За два десятка лет были достигнуты некоторые любопытные, но спорные результаты, о которых хотелось бы вам рассказать. Мы связались по телефону с директором института доктором Славой Клаузевицем (русским с материнской стороны) и он любезно пригласил нашу корреспондентку в свой загородный филиал. Пересыпая по обыкновению разговор шутками, доктор Слава Клаузевиц сказал: «Есть наука — славистика, и есть наука — слоистика. Это совсем разные дисциплины, как вы понимаете. Славистика занимается русским языком и языками других славянских народов. Слоистика исследует совсем иные структуры, всегда — неоднородные, и определяет их состав и расположение частей.

В последнее время пропуская слабые токи высокой частоты сквозь материальные предметы и предметы воображения, то есть образы, мы выяснили следующее: оба ряда предметов являются единой реальностью. К тому же имеют сходное слоистое строение. Иначе говоря, материальное переслоено воображаемым и — наоборот. Можно сказать, это

есть, потому что это можно пощупать. Но нельзя сказать, этого нет, потому что этого нельзя пощупать. Спектральный анализ показывает, что есть оба предмета и строение их одинаково. Просто в одном случае колбаса положена на хлеб, а в другом хлеб положен на колбасу. Но есть и третий случай, вы все любите хот-доги, где горячая сосиска внутри булки. Теперь представим, что булка – это воображение, а сосиска – реальность. Значит, в нашем случае получается, что в тесте воображения прячется то, что можно с удовольствием укусить – реальность.

Отсюда следует, с непреложностью скорого поезда Париж-Канны, следующего по расписанию: совершенно должно измениться отношение к нашим снам и произведениям искусства. Я думаю, недалеко то время, когда туристические агентства будут рекламировать туры в сны какой-нибудь знаменитости, возможно – ребенка. Или путешествие в страну Джонатана Свифта. Да просто в «Войну и мир». Приобретайте путевки и поезжайте в отпуск, дорогие радиослушатели.

Доктор Клаузевиц утверждает, что гипотетически реальность ему представляется толстым слоеным пирогом, который можно получить в любое время в кафе «Унтер ден Линден» в Берлине. Причем далеко не все слои исследованы и известны. Так что вполне возможно, в одной отдельно взятой личности уместаются множество разных личностей, подобных, но не тождественных, которые проявляются, то есть, приходят в действие, в зависимости от обстоятельств. Так сказать, в виде реакции на раздражение.

Наблюдаются и аномалии, о которых мы упоминали выше: одновременное существование одной личности в разных обстоятельствах места и времени. Доктор Клаузевиц заключил, что сам не уверен, существует ли он и его наука слоистика или это только плод его воображения. Наш корреспондент из Кельна Марина Литвинович уверена в обратном. В деревне со странным именем Муха (что-то от славистики) у доктора прекрасный особняк, и гостеприимная супруга профессора угостила нашего корреспондента замечательными свиными ножками, приготовленными в духовке самой современной кухни-автомата, фирма ФИКШЕН, набор но-

восела. Они так замечательно шкворчали в собственном жиру, как только можно было себе вообразить, и являлись такой реальностью, от которой невозможно было отказаться. Фирма ФИКШЕН. Нью-Йорк – Москва. При покупке кухонного автомата, холодильника, стиральной машины и пылесоса одновременно скидка 10%. Бесплатная доставка.

Дядя Володя переключил микрофон на музыку, достал из кармашка две розовые таблетки и, не отходя от дикторского кресла, запил их Виши.

Тут зазвонил телефон в редакции. С неприятно бьющимся сердцем дядя Володя поднял трубку. И, точно, послышался, он запомнил его, грузинский голос:

– Знаешь сам, кто говорит. Не забудь, вход со двора мимо холодильника, где мясо на крюках висит, – трубку бросили.

Надо. Надо идти. Ах, как он хотел бы оказаться в саду у Марины! Березы уже желтые пряди выпустили – к осени. Яблоко – на лысину, шлепнется – расколется. Ягодицы у Марины, как яблоко, есть такой смуглый сорт.

Одно ставило в тупик: если он находится в Москве, надо брать дипломат, если – в Париже, надо брать старый портфель. Господи, конечно, надо брать портфель и быстрее в метро. Ведь встреча назначена возле площади Республики. В Москве пока что площади Республики нет. Будет ли респектабельная площадь Республики с монументом в центре и полосатыми маркизами магазинов и кафе? И даже если будет такая площадь, откуда Республику возьмут? Дядя Володя усмехнулся своим мыслям, хотя был здорово напуган.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Он прошел в ресторан «Анна Каренина» со двора. Ворота – чугунное литье изгибалось в стиле модерн, цветной булыжник двора, стеклянный подъезд, пальма в горшке – все чисто и благопристойно, похоже на место, где находится эмигрантская газета «Русская мысль». Но дальше сходство резко обрывалось. Какие-то металлические шкафы, керамическая плитка в темных пятнах. «Здесь на крюках мясо висит!» – с суеверным ужасом подумал дядя Володя. У низко-

лобого коротыша спросил о хозяине. Коротыш сказал, что хозяин скоро будет, и проводил посетителя в небольшой, но со вкусом оборудованный зал. Зал был пуст.

На противоположной стене висела картина, где в сугубо реалистической манере бежала женщина — платок и шубка, руки она держала в муфте. Женщина стремилась, даже ступила ногой в меховом ботике на занесенные снегом, рельефно изображенные рельсы, которые были проложены как раз на зрителя. Сзади окутанная сиреневым паром металлическая грудь в заклепках и высокая труба. Паровоз был нарисован с таким расчетом, а рельсы так натурально выписаны — с болтами и гайками, что было ясно: женщину он сейчас раздавит и пронесется дальше — через весь зал в клубах пара, разнося в щепы столики, подминая и разбрасывая посетителей. Страшная картина.

Коротыш принес стопку водки и удалился. Водка оказала на дядю Володю живительное действие. «Посмотрю в последний раз и отдам этой жабе».

Щелкнул замочек. Заслонясь салфеткой, дядя Володя раскрыл футляр. Крест осветил зал, разноцветные блики — на белой салфетке, даже, кажется, упали на картину. Жалко стало отдавать мафии, не поймут. «Хоть поддержку на прощанье». Дядя Володя протянул руку, сейчас ладонь ощутит тяжесть золота. Но пальцы прошли сквозь разноцветное сияние. Пошевелил пальцами — как в воде.

Голограмма! Но он же держал этот крест! Как и где драгоценность заменили на изображение, невозможно было ни установить, ни вспомнить. Дядя Володя поспешно закрыл футляр и сунул его в портфель.

Между тем, полноватый, прекрасно одетый грузин, седые виски, вислое усы, скорее похожий на уроженца Марселя, подходил к столику. Дядя Володя оглянулся и придвинулся, стараясь делать это незаметно, ближе к проходу.

Джаба подал мягкую начальственную руку.

— Как долетели? Благополучно?

— Благополучно, — ответил дядя Володя и почему-то встал.

— Сиди, дорогой.

– Спасибо, – дядя Володя снова сел.

– Хочешь настоящего Мукузани?

Крепыш принес бутылку вина, открыл и удалился.

– Шашлык из осетрины?

Дядя Володя помотал головой.

– Только скажи, дорогой. У вас там такое подают, лучше не пробовать. А у нас вино сначала в Голландию везут, в Голландии специалисты проверяют, сортируют, бутылируют, вот какое вино! Попробуй. Посмотри на свет, как рубин, – и скороговоркой, как бы вспомнив: – А теперь, поглядим товар, уважаемый.

Володя молил Бога, чтобы Джаба не брал креста в руки. Тот раскрыл футляр, и цветные огни отразились в его влажных выпуклых глазах. Подержал недолго и закрыл футляр – огни погасли. Теперь Джаба смотрел на дядю Володю глазами хищной птицы. Он как будто ждал продолжения.

– Спасибо за вино, – сказал дядя Володя и торопливо поднялся.

– Так обедать не желаете? – спросил Джаба. Он все еще ждал чего-то.

– С удовольствием, – подхватив похудевший портфель, заторопился дядя Володя. – В следующий раз.

– Всегда за счет заведения, дорогой. Любые проблемы в Париже, обращайтесь к нам, уважаемый. Все уладим, – удивленно произнес Джаба, провожая его.

Когда он выходил из зала, невольно обернулся: хозяин смотрел ему вслед. На фоне Анны Карениной, которая торопилась лечь на рельсы, но не больше, чем дядя Володя – исчезнуть из этого помещения.

Он прошел на выход мимо металлических шкафов-холодильников, коротыша и выскочил из ворот. И уже на выходе вспомнил: он совершил промашку – не попросил денег! Конечно, Джабе это показалось очень подозрительным. Но не возвращаться же. Тем более –

Тем более за воротами гладкая парижская улица тупо уходила в грунтовую расхлябанную дорогу, которая, окунаясь в лужи и виляя, как пьяная, уводила по деревянным мосткам в какой-то забуенный березово-хвойный лес.

Пейзаж был странным даже на первый взгляд. От монумента на площади Республики открывался вид на дачный поселок Подмосковья, дальше высились дома парижского предместья. Вдали синела Эйфелева башня, похожая на игрушечную, на фоне белых вершин кавказских гор, какими они открываются в ноябре с Пицунды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Дядя Володя бежал и не знал, куда бежит и как убежать от мафии. Что обман скоро обнаружится, он не сомневался. Его будут искать и найдут. Хоть бы не сразу нашли. Вокруг становилось все более пестро и непонятно, как будто разные города и местности вдруг решили жить по соседству и перемешались, как салат. Здания, дворцы, музеи, памятники чередовались, как в Диснейленде, но никто ничему не удивлялся.

Дядя Володя увидел Музей Метрополитен. «Здесь, — он решил, — меня не придет им в голову искать. Тем более это в Нью-Йорке».

Он купил у миловидной негритянки билет (она наградила его улыбкой — белозубая сдача с пятерки) и прошел мимо всех рембрандтов в египетский зал. Но у всех посетителей, которые слишком усердно читали иероглифы, вырезанные на плитах, подозрительно оттопыривались задние карманы, невзначай распахивались твидовые пиджаки и из-под мышек вылезали рукоятки кольтов. Дядя Володя, прикрывая лицо каталогом, поспешно выскочил из музея.

Он не сомневался, за ним уже идет охота. И, как бы невзначай, завернул в ГУМ, чтобы затеряться в провинциальной толпе. Но, обычно равнодушные, продавщицы так внимательно разглядывали каждого мужчину в отделе верхнего платья, что ему пришлось надеть на себя в примерочной совершенно ненужный ему серый плащ и так выйти на улицу, утопив скулы в поднятом воротнике. Дядя Володя даже не решился ущипнуть за бедро никого из хорошеньких в синем.

Надо было куда-то спрятаться, побыстрей и понадежней.

Он спустился в парижское метро. Но там шла проверка документов у черных и арабов. У дяди Володи документов не было. Зачем ему — документы? Он тут же выскочил наружу.

За Севастопольском бульваром, на бывшем чреве, теперь ле Аль, далее за фонтаном — Манежная площадь, он попытался затеряться в праздничной толпе. Но вся молодежь была в коже, один дядя Володя в сером плаще резко бросался в глаза. Причем все жевали жвачку и выпускали розовые и зеленые пузыри изо рта. Лишь у дяди Володи, как он ни старался работать зубами, жвачка не пузырилась — не того сорта. Можно было легко застрелить его в толкучке. Подумают, щелкнул пузырем. Широкоплечий негр уже пробиравался к нему, украдкой накручивая на пистолет глушитель.

Заметив характерные зеленые купола, дядя Володя направился в турецкие бани, там пистолет на себе не спрячешь. Но за ним бежали! — он побежал по ступенькам вверх, вниз, каблуки стучали все ближе — дядя Володя, задыхаясь, скатился в мраморный предбанник. Мимо, обгоняя его, размахивая березовыми вениками, пробежала толпа студентов. «Террористы!» Точно. Замаскированные ветками, из веников торчали узи.

Спрятаться было буквально негде. На улице — неважно какого города: Чикаго, Москвы, Парижа, Стамбула, Иерусалима — убивали легко и свободно. Разницы не было. Уже с визгом тормозили рядом черные лимузины, с обеих сторон торчали стволы.

Из-под колеса метнулась белая шавка. В отчаянии дядя Володя решил воспользоваться одной из своих побочных жизней. Может быть, получится.

И вот он уже бежал по пересеченной дачно-городской местности параллельно железной дороге — белая, довольно крупная дворняга. Это была передышка.

Дядя Володя бежал, резво помахивая хвостом, и удивлялся. Он никак не мог взять в толк своим собачьим разумом, ведь он же все врал и даже не очень хотел, чтобы ему верили. Оказывается, может быть такое состояние его тела, данное его бессмертной душе, господя.

Никто, кроме псов и кошек, теперь не обращал на него никакого внимания. Но их дядя Володя не боялся; сморщив нос и оскалив желтые клыки, он издавал такое свирепое рычание, что дачные псы и кошки прыскали в стороны, будто на них напал дракон.

Своим собачьим чутьем, которым, надо признаться, дядя Володя обладал и прежде, он чуял: где-то близко Малаховка и дача Марины.

Однако, когда он от Томилинского парка вниз перебежал по толстой трубе живописную Пехорку, в быстром течении которой обнаружена вся таблица Менделеева, вдалеке, на той стороне, возле купы деревьев остановился белый Мерседес. Оттуда вышло несколько мужчин и один из них стал тщательно целиться — блеснуло стекло оптики. В листьях щелкнула пуля — хлобыстнул выстрел. С визгом дядя Володя бросился в кусты — опрорхнуть, он не стал задумываться — совпадение или выследили, просто прибавил прыти.

Знакомая березовая роща. Кривая и длинная Змеевка или Змиевка, по укромным углам которой в крапиве и лопухах почивают блаженные пропойцы. Поворот на следующую улицу, и вот он — длинный решетчатый штакетник и калитка, куда входит принаряженная, он узнал ее сразу, в цветастом, низко повязанном платке Тея. И этому он не удивился. При таком положении вещей, так и должно было быть.

Из сада была слышна музыка, разговор. Солнце уже село.

На яблонях вверху между веток и яблок зажигались цветные фонарики. У Марины был праздник.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В сад он вошел, оправляя на себе несколько помятый при бегстве пиджак. За соснами мелькали цветные платья. Слышались женские голоса, будто кто-то струнно перебирал их, приятно задевая душу. Посмотрел на себя в зеркало — на стволе сосны, над фарфоровым умывальником. Вымыл руки, пригладил бородку. Протер и надел очки. Положил в рот душистую пастилку. Пожалуй, теперь он может появиться.

По дорожке навстречу бежала приятно возбужденная Майя, в каком-то безвкусном цветном шарфике и тяжелом, с золотом платье.

— Почему ты ничего не говорил о своих замечательных женах? О своей невесте? Чудо Востока!

— Какие жены? — только и мог сказать дядя Володя.

— Обманывал, малыш? — с нежностью произнесла Майя, протянув к нему ручки, — А мы, как познакомились, мигом подружались. Какой сад у твоей последней жены!

— И сама — смуглое яблочко — Марина, — басом сказала Тея, появляясь из-за спины Майи.

Солнце сквозь хвою посылало последний зеленый луч. Сзади, на террасе, под абажуром — еще робким оранжевым светом виднелись знакомые женские лица, прически, флоксы на столе — лиловые и белые. К террасе клонились золотые шары. И все веяло давно позабытым: детством, родителями, их сложными отношениями, катанием в лодке, и падали, падали яблоки — теперь уже румяные, зимние сорта. Одно, красное в полоску до невозможности, покатилося по дорожке к его ногам.

— Что вы празднуете? — наконец догадался спросить дядя Володя.

— Здравствуй, милый! Наконец-то! Мы все тебя ждем! — навстречу от террасы спешила принаряженная красивая Марина. И веселые, столько раз целованные, лица разом повернулись к нему.

— Мы празднуем праздник дяди Володи! — торжественно возгласила длинноногая Лида, она тоже была здесь.

— Подайте ему вина! — скомандовала Марина.

— Да здравствует единственный неповторимый дядя Володя! — прогремел дружный хор.

Зазвенели бокалы. Объятыя, поцелуи, повисание на шее, общее веселье. Потом женщины затеяли игру. Каждая объявлялась ему в любви, по очереди.

— Всегда появляется внезапно, сам как праздник, — первой начала Майя. — Ему нет дела, может быть у тебя болит голова, женское расстройство, житейские проблемы. Мы ведь, признайтесь, подруги, не всегда хорошо пахнем и ча-

сто не любим себя, есть в нас нечистота, есть, и в мыслях тоже. Поэтому мы часто моемся и умащаем себя, как можем. Ты же любишь нас, какие есть, я видела: с удовольствием выносил ночной горшок и подтирал на полу. Потому что ты целиком наш. Слава тебе, дядя Володя!

— Надоели мужики! Одни и те же в моей глуши, — с досадой сказала Валентина. — Дядечка Володечка! Каждый волосик золотой! Он ведь для меня и женщина и мужчина — идеал! Подружка любимая! Лежим, бывало, отдыхаем на моей вдовьей постели, все ему расскажу, пока петухи в округе не запоют. И ведь всегда хорошо посоветует. А потом снова он — мужик. Ну и что же, что француз! Духами пахнет — пусть. Ни на кого не променяю.

— Деликатный, — басом продолжала Тея. — Один раз в гостях побывает и не дотронется, целую неделю о нем мечтаю. Даже мацони однажды скисло.

— Мы с ним не понимаем друг друга, — высокомерно вмешалась Николь. — Зачем женщине и мужчине понимать? Пусть мне кто-нибудь объяснит! Я и не хочу его понимать. Зато он понимает, что и не надо понимать — и ведет себя соответственно. Единственный мужчина, который понимает, что ничего понимать не надо, иначе все испортишь. Люблю мудака!

— Нет, он меня сразу понял, — возразила длинноногая Лида. — Мужчины грубы, особенно молодые. Ужом вьется, а уступишь, смотришь, уже спиной к тебе повернулся. Я не знаю, я новенькая, но ни к кому не ревную. Ну и хорошо. Пусть вы все. А у нас совсем все иначе. Я, правда, как племянница, к нему отношусь. Он такой одинокий и никого у него, на самом деле, и нет. Не грусти, дядя Володя!

— Всю жизнь его ждала и всю жизнь ждать буду. И только ему буду принадлежать, — сказала резко Гульнара.

— А я ведь даже его никогда не видела, — сказала пухлая соблазнительная Верочка. — В ночной смене работаю. Утром вернусь, простыни французскими духами пахнут. Мечта — не мужчина!

— Слава Богу, он не мужчина, — жестко улыбнулась Нина. — А то бы я стала по настоящему гетерой, лесбиянкой,

всех вас, сама себя бы изнасиловала. Тетя Володя, вот как я зову его в самые прекрасные минуты. Вот так, подомнешь под себя его изнеженное брюшко, сожмешь и вопьешься губами... простите за откровенность. Вечная девушка для меня дядя Володя!

— Тайна в нем, загадка! — мечтательно сказала Наташа. — Даже мой трехлетний малыш говорит: «Рыжая борода, отгадай загадку, дядя Володка».

— Володья, туши свет! — засмеялась Сара-американка.

— Мой любимый врунишка! — вздохнула красивая Марина. — Я ведь ушами его люблю. Знаю, что врет, оторваться не могу, век бы слушала и любила! Милый, теплый, лживая борода, расскажи нам, как стал собакой или про мафию!

Дядя Володя вздрогнул.

— Спасибо вам, мои милочки. Вы ведь знаете, какие вы, такой и я, вот и вся моя тайна и загадка. Таким уж я создан. Для вас, для вас, мои щелочки! Ведь кто-нибудь на свете должен быть создан специально для вас. Божья предусмотрительность. Чтобы не было все так скучно и уныло. Я ваш, я ваш, я ваш. А вы все — во мне. Всех я вас родил и выдумал, да так удачно, что все вы жить стали...

А теперь скажу, все — правда, все, даже все мое вранье — правда. Я ведь и собакой стал, и от мафии убегаю, — дядя Володя оглянулся. — Я ведь попроситься к вам пришел, на всех посмотреть — и всем вам спасибо. Всех люблю. Всех люблю.

Сзади стукнула калитка. Даже не оглядываясь, дядя Володя знал. В сад входили киллеры.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Мне позвонила Марина, и я узнал, что дядю Володю положили в больницу. Он упал в обморок прямо в метро. Я ожидал, что-то в таком роде должно было произойти. Все равно прозвучало неожиданно. Мне стало его жалко, потому что подозревать можно было все что угодно, вплоть до рака. Марина плакала и не знала, где его искать в этой Боткинской больнице, там 19 корпусов. Я вызвался пойти с ней и

отыскать дядю Володю. Мы уговорились встретиться завтра, в пять часов у ворот.

Городская природа производила на меня впечатление пожившего, потасканного, не вполне здорового человека всегда, но осенью особенно. В воздухе — пыль, на дороге — грязь.

Предварительно я все-таки дозвонился до отделения, в котором лежал дядя Володя и поговорил с ординатором. Тот сказал:

— Вы же, наверно, знаете, у больного цирроз печени.

— Нет, — сказал я.

— Кто вы ему? Родственник?

— Нет, — сказал я.

— А есть у него родственники в Москве?

— Жена, — сказал я. — Хотя они не расписаны.

— Значит, она ему не жена, — сказал дотошный ординатор.

— Есть кто-нибудь, отец, мать, братья?

— Есть много женщин — и все они ему — отец, мать, братья, сестры и даже племянницы, — честно ответил я.

— Вы мне голову не морочьте! — рассердился голос врача. — Меня ждут больные. Если хотите, приезжайте, навестите его. Воду минеральную надо привезти больному, мясной бульон. Он лежит в семнадцатом отделении. Передачи с 5 до 7 ежедневно, кроме воскресенья. До свидания.

— До свиданья, спасибо, доктор, — сказал я. Хотя я до сих пор подозреваю, что со мной говорил медбрат, а не врач. Ну да не все ли равно. Медицинский брат тоже мне не брат и даже не племянник.

Встретились мы с Мариной у ворот больницы и сразу прошли к семнадцатому корпусу. На территории стояла тишина. Можно сказать, мы окунулись в тишину. И даже далекие гудки и движение машин за оградой на улице только оттеняли осеннюю тишину. Всюду — неслышное падение листьев с высоты.

Здесь был сразу — особый отдельный мир. И в нем был свой раз навсегда заведенный порядок, и все человеческое подчинялось и существовало в этом распорядке, таком радикальном, будто ничего другого не существовало. В городе много таких отдельных миров, по сути, каждое учреждение,

производство, квартира — такой особый мир. И каждый из нас существует сразу в двух-трех мирах, в течение суток непринужденно переходя от одного к другому, — и везде он разный, то есть соответственный. Просто мы привыкли.

Справившись в регистратуре, мы поднялись на третий этаж по слишком широкой лестнице (вообще здание было построено в пятидесятые, когда строили все несколько больше самого человека и в классическом лепном стиле, чтобы ощущал свое ничтожество и могущество империи), тем больше сейчас чувствовалось запустение и упадок во всем. На площадках перед огромными окнами стояли и сидели больные в синих жеваных халатах и посетители.

На площадке третьего этажа мы увидели дядю Володю. У него уже была посетительница — юная девушка, с которой, при нашем появлении, он поспешно попрощался «чао!». Она сбежала вниз, даже не глянув на нас.

— Племянница, — привычно соврал дядя Володя. — Не моя, главного врача, — поправился он. — Минеральную воду принесла.

На подоконнике стоял объемистый пластиковый пакет. Я думаю, мы не были первыми. При всем при том, нельзя было не заметить, дядя Володя здорово похудел и осунулся. Он был в грязных джинсах и вислой кофте, тоже утратившей цвет. Он имел жалкий вид.

После первых поцелуев Марина стала хлопотать и обживать здесь дядю Володю. Она принесла ему сменку. Дядя Володя ходил в палату и вынес целую сумку черного белья и одежды, постирать. По-моему, он как-то ожил с приходом Марины.

— Главный врач настаивает, чтобы я продолжил лечение. Они тут меня на самом новейшем оборудовании обследуют. Не меньше месяца, говорит. Да я уже почти здоров, не выписывают. Водочки принесли, надеюсь? Не может быть! Спасибо, моя драгоценная цыганочка! Хочу под твой шатер, в Малаховку хочу. Говорят, ничего серьезного. И не выписывают. Но если ничего серьезного, я могу сам выписаться. Через неделю. Говорят, что не отвечают, да они и так запретить не могут, я ведь француз. Уеду в Париж, там обследуют. За-

помни, Мариночка, в случае чего возьмешь меня. Просто подпишусь, что претензий не имею.

Дядя Володя был здорово напуган и старался это скрыть. Поэтому вступил сам с собой в торопливый диалог.

- Меня и просвечивали и на узи...
- Я уж забеспокоился...
- Немного печень увеличена, а так ничего...
- Ничего не находят...
- Профессор даже удивляется...
- Диагноз даже поставить нельзя...
- Ничего нет...
- Но говорит, надо оперировать...
- Я им говорю: зачем же здесь, если можно в Париже?
- Говорят, здесь не хуже...
- Но ведь профессор ничего не нашел... можно и подождать...
- И анализ желудочный тоже – неприятная штука...
- А я и не знал, что глотать кишку надо...
- Оперировать, вообще-то, я не против...
- Как, по-вашему, я выгляжу?
- Говорят, даже улучшение...
- Смотрю, ты и бульон принесла...
- Оперировать так оперировать, можно и подождать...
- Вот что я решил: если ничего нет...
- И кормят нормально, мне хватает...
- Приготовь к понедельнику рубашку, Мариночка, и джинсы постирай. Заезжай за мной, в Малаховку уедем...
- Они ведь не имеют права...
- Интересно, главное, ничего не находят...

И все в таком роде, думай что хочешь. Врунишка.

По тому, как стрельнула глазом спешившая мимо в белом халатике и слышавшая последнюю фразу, я понял: и тут дядя Володя нашел очередную любовь. Вообще, во время нашего посещения на площадке возникали поочередно: брюнетка с высокой грудью, из соседней палаты, в своем халатике, шелковом в цветах, симпатичная врач среднего возраста, которая постояла, посмотрела на Марину и внезапно поспешно простучала каблучками вниз по лестнице в регис-

тратуру, и юная сестричка — несколько раз медленно проходила, чтобы слышать, о чем говорят.

Не знаю, сколько осталось дяде Володе при его опасной худобе, будут ли оперировать и выйдет ли он отсюда, но было ясно, что и здесь, близко к самому краю жизни, женская любовь окружала и сопровождала его даже на операционный стол.

Мы уходили. Марина плакала. Володя махал нам вслед из окна. Ему предстояла серьезная операция, было ясно. Листья полетели нам вслед. Задул ветер и нарушил тишину.

эпилог

Крупное яблоко стукнулось о землю пушечным ядром.

Киллер привычно прицелился и —

Дядя Володя от ужаса рассыпался на множество дядей Володь. Одни из них выглядели вполне живыми, из плоти и крови. Другие были плотными, но кое-где просвечивало. Одни были как будто постарше, виски и бородака подернуты сединой. У других усы и бородака были рыжевато-золотистыми, как рожь. Некоторые дяди Володи колыхались на ветру, будто узкие листы бумаги. Были и такие дяди Володи, которые растекались лужицами, и сразу было видно, ни на что не годны. Остальных расхватили влюбленные в дядю Володю женщины. Главное, всем что-нибудь досталось.

Что касается драгоценного креста, уж не знаю, натурального золота или подмены, то в руки господам из мафии он так и не дался. Стоило протянуть руку — проходила насквозь, рубины и сапфиры рябили родниковой водой, протекали — кровь и синька — сквозь пальцы, это была искусная голограмма. Возможно, что-то более новое. Обманщики обманули обманщиков.

Кое-что из происшедшего попало в газеты, но там так все извратили и переврали, по своему обыкновению, ничего похожего на то, что произошло на самом деле.

Армагеддон

повесть, может быть, конца 80-х

ВСТУПЛЕНИЕ

Один мой знакомый все удивлялся и поражался, почему в конце восьмидесятых, когда берлинская стена рухнула, не разразилась гражданская война. Я припомнил ему, что тогда обрушилась более капитальная стена, которая поддерживала гигантское сооружение — страну победившего социализма. И все повели себя так, как будто только этого и ждали. Если и была разница в мнениях, то сначала, «до демократии», она была незаметна. Хотя прежде общая мысль была такова, что стена простоит еще много лет. Тысячелетний рейх виделся монолитной громадой под голубым небосводом. Но то ли цемент был халтурный, из краденого, то ли строили ее, по нашему обыкновению, кое-как да поскорее. Как вдруг по гладкому полю широко разбежались трещины...

А когда рухнула, многих задела, иных погребла под собой, но к таким ли масштабам мы привыкли за двадцатый век! И тут мне припомнилась одна московская история тех лет, которая, возможно, произошла с моими хорошими знакомыми, может быть, многое прибавлено, и люди были другие, но что-то подобное я слышал тогда в московских компаниях. Ночью, на кухне, за которой бутылкой водки, как не поверить в необычное.

Так что с самого начала наша история представляет коллаж из того, что было на самом деле, из того, что додумалось на досуге, и просто слухов. Спрятал ее и сохранил в круглой жестяной коробке, как всегда, какой-то фанат-любитель. Но и теперь ее можно показать тем, кто интересуется.

Вырванный из середины человеческой комедии, кусок пестрой киноленты стрекочет и светится на рабочем экране, на монтажном столе. Завиваясь двойным серпантином, лента струится в корзину.



ГЛАВА 1

Это было еще при советской власти. Ранней осенью шел я по Ленинскому проспекту, непомерные масштабы зданий и асфальтовых промежутков между ними, не заполненные ни людьми, ни машинами, строили передо мной какую-то особенно нечеловеческую перспективу. Но люди здесь жили, как-то сторонкой спешили по своим делам, толпились в полупустых магазинах «за колбасой», сидели в кафе, где почти ничего не подавали, кроме советского шампанского и салата «оливье». В одно из таких кафе я решил заглянуть и выпить бокал, ну уж — и закусить что подадут. Денег, на удивление, брали немного.

Для чего был предназначен этот высокий зал со сводчатым потолком, в центре которого простиралась обширная овальная фреска: голубое небо, из которого сыплются парашютисты, — я не знал. Но сидеть на розовом стуле за пластиковым лиловым столом здесь было достаточно неудобно. По-моему, это было похоже на космопорт будущего, который атакуют пришельцы из других миров. При взгляде наверх именно это приходило в голову. Но бокал шампанского и шоколадку мне подали быстро, и я смог оглядеться.

Неподалеку от меня — блондинистый молодой человек, на первый взгляд, ничем не привлекающий внимание. Он посмотрел на меня. Резкие, заостренные черты лица. Нет, не он меня разглядывал. На столе — на голубом пластике — сидел крупный прусак, да, да, таракан, и, клянусь, рассматривал нас обоих. Во всяком случае, поводил усами в обе стороны.

И сейчас я вижу эту картину откуда-то сверху (видимо, из купола, с точки зрения летящего парашютиста): внизу в полупустом помещении — двое, и между ними на столе — коричневое арбузное семечко. И какая-то общая разумность в этом треугольнике. Не случайность.

Ну, таракан исчез быстро, будто его кто-то смахнул со стола. Подозреваю, он и появился для того, чтобы привлечь к себе внимание и тем соединить нас, как бы ненароком. Природа любит прибегать к таким мягким связкам, иначе все выглядело бы слишком нарочито. И события то и дело

стукались бы, ударялись бы друг о друга – тарелки товарных вагонов на маневровых путях...

Теперь мне приходится догонять происходящее, я ведь пропустил сейчас, как он все приглядывался ко мне, а потом решился: встал, видимо, очень взволнованный, и пересел за мой столик. Шампанское принес – целую бутылку заказал, отпиито немного.

– Извините, вы не против?

– Пожалуйста.

– Разрешите, я вас угощу.

– Спасибо, у меня есть.

– Но позвольте, позвольте, я вас угощу. Я вас знаю, я вас читал в самиздате. Вы меня не помните. Я – Сергей. Мы с товарищем видели вас на квартире у Шполянского.. Еще Олег Евграфович... Не бойтесь. Никому до нас дела нет, и вокруг никого подозрительного. Поверьте мне, я их всегда вижу. А сейчас их нет... Вы можете мне вполне доверять...

Ну, не помнил я его, хоть убей. Видимо, видел и путал меня с кем-то. Но просто не было свободного промежутка выяснить. Мой сосед, доверчиво-близко наклоняясь ко мне, как заговорщик, лихорадочным быстрым шепотом обрушил на меня поток торопливых слов.

– Я подумал, глядя на вас, что вы тоже – вы обязательно, вы ведь не как мы, вы постоянно сражаетесь, сколько душевных ран они вам нанесли, на вас только мир и держится, я вижу, вы всегда готовы, вот и перевязь у вас, и латы, и меч, и копьё – и под шлемом такие густые седеющие волосы.

Действительно, свой берет, сиречь шлем, я снял и положил рядом на стул, развязал шарф, иначе перевязь, копьё – свою палочку, (я хромаю, иногда с ней хожу, но стараюсь – без) приставил к стулу, и остался в куртке, то есть в кожаных латах.

– Вот меча у меня нет, – заметил я.

– Что вы! – собеседник даже задохнулся от справедливого возмущения. – А разящее слово?

– Это только метафора, да и та не моя.

– Хороша метафора! Я сам видел, как свистнул стальной ветер, и у этой бездарности (он назвал известного писателя-

чиновника) голова слетела с плеч, и покатила по ковровой красной дорожке из кабинета. Таким вы для нас остаётесь. Сергей меня зовут.

— Ефим Борисович. Но я ничего никогда не писал существенного. Просто Исаак Самуилович — мой старинный друг.

— Пусть не писали. Пусть старинный друг. Я понимаю. Все отлично.

Сергей долил фужеры почти не шипучей кислятинкой — поднял свой.

И — шепотом: — за их погибель!

— Ну что ж, за это выпить я готов, — я почему-то оглянулся, да плевать! что ж, я и выпить не могу?

— За сражающихся — с ними! — он поставил палец, я машинально поднял голову.

На круглых потолочных небесах раскинулись цветущие ветви яблонь (только показались, видимо, куполами раскрытых парашютов), между ними на лестницах женщины с корзинами, в которые они собирают урожай крупных мичуринских яблок. И щеки работниц были как яблоки, и груди выпирали из корсажа — и готовы, кажется, просыпаться на нас тоже. Работницы были совершенно безобидны и не обращали на нас — внизу — никакого внимания. Никто ниоткуда не угрожал, картина мирного труда, как говорится, между тем, что-то во всем было не то. Почему яблони одновременно цвели и плодоносили? Тем более, что я начинал подозревать, откуда мог навязаться мой словоохотливый собеседник. Потому и не боится. Просто надо не подавать вида (почему надо? и что это за «вид», который можно не подавать, как вино и закуски?). Шампанское теплое, все же придется выслушать повесть, которую возбужденному блондину просто не терпится рассказать.

— Извините, я не знаю, что вы обо мне думаете, но я хочу, чтобы вы услышали. Вы Оруэлла читали?

«Вот еще, буду я признаваться первому встречному!»

— Да, слышал что-то. Английский писатель-сатирик. Кажется, коммунистом был.

— Так вот, гораздо страшней. Хотя страшней нашей жизни вообще ничего не может быть.

— Ну, — протянул я неуверенно, — все же есть надежда. У моего друга скульптора собираются, молодые из ЦК, такие речи ведут.

— А они, случайно, не подмена?

— Кто?

— Подмена, не настоящие. Сейчас всюду — подмена. Да вы слушайте, я расскажу.

На этот раз на потолке были сугробы — один выше другого, которые совершенно погребли нас под своей толщей. Наверху была полярная пустыня и даже выйти отсюда — высокие медные двери в стиле пятидесятых — выползти отсюда было невозможно. Надо было пробить вверх все двадцать этажей. Так что приходилось зимовать и слушать. Начал Сергей со своей подруги, с портрета.

ГЛАВА 2

Внимательный, не женский взгляд, без кокетства. Наташа. Тяжко с ней порой, угловато. Речь ее бывает странна. Отношение ко мне равнодушное.

— Представляешь, его карман она принимает за норку.

— Кто она?

— Да белая крыса.

— Где же ты ее видела, Наталья?

— У него на плече.

— Да кто он-то?

— Дом и ходячий автобус.

— Еще скажи, шагающий экскаватор!

— Ковш — это рука.

— Вот дурочка.

— А я бы всю жизнь прожила в чьем-нибудь кармане. Или за пазухой.

— Действительно, живешь, как у Христа за пазухой.

— А ты ко мне не ходи.

— Еще чего скажи...

— Некогда мне тут с тобой, меня министерский Джим в партийном доме по соседству ждет, прогулять и покормить надо.

— Зачем он тебе?

– Люблю добрых овчарок моих недобрых знакомых. Тем более, платят.

– Охрана не обижает?

– А я их не замечаю, стой себе под елкой.

– Ты и на обслугу, как на пустое место... Даже я заметил.

– Сами выбрали такую профессию – пустым местом быть. И ты вот – тоже. Кто ты? Что ты? Чем занимаешься?

– Чего ж ты меня не гонишь? Пустое место обнимаешь?

– А пустое место хоть гони, хоть обнимай, никому не жарко, не холодно.

Гордая. Просто она видная, ладная, все внимание обращают. А я – никто из НИИ. Вот и выбрала. И не вспомнил бы я об этом разговоре, если бы не увидел через неделю вечером в метро. Домой возвращался.

Впереди на эскалаторе поднимался парень в коричневой куртке, вдруг – из-за плеча выглянула белая крыса, перебежала на другое плечо. Парень ее подхватил и, видимо, сунул за пазуху, во всяком случае, кончик длинного хвоста некоторое время свешивался на спину кожанки – обрывок веревки. Исчез – и горбоносая мордочка высунулась из-за человеческого уха. Вот она о ком говорила, подумал я, значит, видела. Так он всюду и ходит, подумал я, ручная зверушка – украшение и развлечение. Ездит и живет на нем – привыкла. Действительно, дом и автобус. Метафора. Жаль, что она стихов не пишет. Она, кажется, умна. Вот и не пишет.

Прошло несколько дней, и увидел я крысу с парнем снова, то есть опять. В ситуации, небезразличной для меня. Они сидели – парень и Наташа на скамейке, во дворе нашего дома под пыльным тополем, возле пустой песочницы. Причем белая крыска с кожаного плеча, вытянув шею, обнюхивала волосы Наташи. «Розовый носик, – подумал я. – Разве у крыс такие нежные носы бывают?»

Наташа посмотрела на меня и улыбнулась, будто ничего особенного не происходит.

– Сергей, – представила меня она.

Парень поднялся, оказался довольно высоким, и протянул мне крысу, то есть длинную ладонь:

– Вольфганг.

- Амадей? – криво переспросил я.
- Нет, просто Вольфганг.
- Но сначала Амадей?
- Обхожусь без Амадея.
- И напрасно.
- Не жалуюсь.
- Так вы москвич?
- В том смысле, что русский немец.

Меня не поддержали. И вообще, он со своей крысой был мне несимпатичен. Какой-то непонятный парень. А ей, видимо, наоборот.

Она заказала третью чашку кофе. Потому что забыл упомянуть, мы сидели за столиком в кафе, а тополь оказался мужеподобной официанткой. Или ее Липа звали?

При виде официантки крыса мгновенно переметнулась в карман куртки. Сосед, как ни в чем не бывало, взял из сахарницы кусок рафинада и сунул туда же. В кармане деловито захрустело. Липа оглянулась, посмотрела на нас, мы смотрели на нее. Хруст был слышен явственно, но откуда? Недоуменно поведя своими черными выпуклыми глазами, Липа удалилась.

Странная, странная Наташа. Короче говоря, она уговаривала меня и Вольфа (так она его называла, этого крысеныша) принять участие в какой-то охоте. Или он завел об этом разговор? Нет, все-таки она сумасшедшая. На кого охотиться в большом городе осенью? Разве что на крыс? Но каким-то образом она убеждала всею своею горячностью, непререкаемостью тона. Она знала. Она действительно знала. И если мы любим своих близких, если мы не хотим увидеть их с перекушенным горлом, а в метро, отравление газом, сколько будет жертв в метро, и мы должны все трое... Перестань, Наташа, вокруг – милиция и дружинники, рядом – Лубянка, а под Нарофоминском целая Кантемировская дивизия стоит наготове.

– Нет, нет, угроза человечеству реальная, я изучала, я читала, и если вас не пугает...

Вольфганг слушал ее, молча и очень внимательно.

– Что ж, это вредители, как при Сталине? – насмешливо спросил я. – Слышали мы эти сказки!

— Нет, никакие не вредители, — горячо оборвала меня Наташа. — А переродившиеся. И в нашей реальности, хотя уничтожают нашу реальность. Их становится все больше. И реальность теряет свои нормальные очертания. Ну, как тебе объяснить, смотришь, по улице идут молочницы, с бидонами, с мешками, а навстречу им идет Ленин, заложив руки в карманы, только они идут с поезда, а он — на плакате, нарисованный. Они идут своим путем, а он своим — призрачным, и не сказать, что не повлиял на жизнь каждой из них.

— Родились, а потом переродились... — в раздумье сказал я. — Значит, этот Ленин на плакате и другие деятели в бронзе, на холсте, в газете — вернее, их изображения и слова — принимают участие в нашей жизни и меняют лицо будущего.

— Ну, посмотри вокруг! Все уже не похоже само на себя! А время как прыгает! — вдруг воскликнула Наташа. — И крыса вот беспокоится, — заметила она.

— Пожалуй, я согласен, — мягко произнес Вольфганг. — Посмотреть, что можно сделать. Для пользы дела. Это, кажется, на Мосфильме. Сегодня собираются, слышал. Хороший крепкий кофе.

Я посмотрел вокруг и безумно удивился, если бы еще сохранил эту способность — удивляться. Мы лежали на широкой Наташиной постели — все трое, совершенно обнаженные, накрытые простыней, Наташа посередине, все — лицом вверх. Боком я чувствовал ее круглое, теплое, мягкое бедро. Я невольно придвинулся. Наташина рука скользнула ко мне.

Некоторое время мы лежали неподвижно. Я хотел даже сказать что-то остроумное, но понимал, что будет невпопад. К тому же губы ссохлись и язык стал как терка. Произнести что-либо не было никакой возможности. И вдруг — сорвалось!

Мы неслись в развевающихся простынях по какому-то световому бесконечному коридору, заряженные неведомой силой, краем глаза я видел, как летели короткие волосы Наташи и развевались длинные локоны Вольфганга, сам я скалился, хватая пустоту и — грудью, всем телом чувствуя, как дергают нас вожжи. Я запрокинул голову — назад и вбок, действительно, пристыжная. И коротко

вскрикнул, засмеялся — от боли и неожиданности. Управляла нашей дружной тройкой, честное слово, большая белая крыса.

ГЛАВА 3

Помещение походило на вокзал или манеж: бестолковый простор, в котором как-то сразу теряешься, в глубине, чуть было не сказал, сцены — белеющие колонны в ложноклассическом стиле, отгораживающие мраморную лестницу. Но если поближе — и мрамор, и колонны из крашеной фанеры. Была здесь и тяжеловесная округло-полированная мебель, и садовые скамьи на чугунных львиных лапах, и урны в виде рогов изобилия, из которых сыпался мусор. Сидел и расхаживал самый разный народ. И такие, как мы, римляне, кутающиеся в простыни. И одетые, как на прием. Все ждали. Видимо, прибытия каких-то важных персон. Больше всего похоже на павильон большой киностудии перед съемками очень дорогого фильма. Может быть, это и был павильон, во всяком случае, наверху я заметил софиты, на полу провода, и шланги тянулись повсюду.

— Сейчас вы их увидите! — шепнула Наташа.

— Ты сумасшедшая, и увлекла нас в свой сумасшедший мир! — вдруг догадался я. — Транквилизаторы какие-нибудь.

Вольфганг, клянусь, глянул на меня с пониманием. Из складок простыни на груди выглянула белая крысиная мордочка.

— Может быть, — Наташа странно улыбнулась. — Во всяком случае то, что здесь происходит, здорово влияет на нашу прогрессивную советскую общественность.

— Народ и партия едины, — ухмыльнулся Вольфганг.

— Вот именно, — подтвердила Наташа.

Но вот вокруг зашевелились, стали расступаться, нас потащило в сторону. Где-то в стороне грянул духовой оркестр: «Идет война народная, Священная война!»

И сразу оттуда, из-за колонн, двумя шеренгами промаршировала охрана НКВД с синими петлицами, и — «сюда нельзя!» — шеренга блестящих сапог потеснила нас в глуби-

ну, отсекала от стола президиума — с чем-то посередине. Мне показалось, это георгины, но теперь это, скорее, были лиловые и красные куски говядины на блюде. Шеренга сапог повернулась и щелкнула. Все замерло в ожидании.

По мраморной лестнице, там, за колоннами, негромко переговариваясь, спускалась группа военных и штатских.

— Похоже, Брежнев, — раздались голоса.

Брежнев-то и был непохож, какой-то мужиковатый, плоский, завгар, не было у него этого южного шарма. Но обилие орденов и звезд было.

— Смотрите, смотрите, с ним — сам Рейган, — заликовали кругом.

— Где? Где он? Не вижу.

— Да вот же он, — показала мне Наташа-Вергилий.

Полуседой высокий, как палка, старик. А рядом с ним кто — в коротких штанишках прыгает, с баскетбольным мячом играет, то об пол — ладонью, то об кого-нибудь из энкаведешников? Что за юный озорник?

— Джон Кеннеди.

— Ну да! А это кто?

— Маргарет Тэтчер — железная леди!

— Но это же мужчина в юбке.

— Она и есть мужчина в юбке, Тэтчер из клана Тэтчеров.

— Но почему они другие? Совсем не такие?..

— Какими вы их привыкли видеть в газетах и на телевидении? — насмешливо оборвала Наташа. — Но это же обычная подмена, для дураков. А вот они, какими сами себя чувствуют, почти настоящие.

— Хорошо, что мы не видим их из верхнего мира, где живет Тор, — холодно заметил Вольфганг, — просто сборище улиток, сколопендр и жуков.

Между тем оркестр заиграл было «Янки дудль», но посреди музыкальной фразы умолк, будто выключили. Новоприбывшие стали рассаживаться за большим столом.

Поднялся Леонид Ильич — завгар. Лес микрофонов протянулся к нему. Он деликатно кашлянул и — не заговорил, зашлепал губами, забормотал, защелкал, как соловей, зашаманил. Сразу будто в голову и в сердце толкнуло.

Вижу, проявляется настоящее лицо — слепое, бровастое, носастое, губастое. Кому принадлежит это лицо, не знаю. На каком языке говорит, не понимаю. Возможно, на немецком или арабском.

Слышу, не напрямую, а как будто по репродуктору — по довоенной тарелке транслируют на весь павильон. Вокруг слушают напряженно, девушка рот полуоткрыла — невинно, у белого старика слюна к подбородку течет.

Говорит большое лицо грозно. Речь набухает какую-то высшей бранью, перекатываются камни. Кисти рук тяжелеют, головы опускаются вниз. Мы — одна безликая стена. Но вот серая плотина зашевелилась. Рухнула под внутренним напором.

Темные куски энергии стали отлетать от людей и сцепляться, схватываться над головами в одну вязкую рычащую массу.

Рядом Наташа вроде как ослепла, вся красная, хватается за горло, выбрасывает из себя липкую злобу. И Вольфганг разинул рот, бледный, лезет в него страшная музыка — всегда хотел.

Один я пока держусь, хоть и дрожу, как в лихорадке. Вот сорвусь с крючка, кинусь в это месиво, завою голосом парходной сирены, все пропадай!

Щекочет за ухом. Покосился, а белая крыса на меня перескочила, влажным носиком ухо мое исследует. Я и отвлекся. Выручила белая крыса.

Смотрит на меня голова, именно на меня, вижу. Нет, не сердится бровастая, глядит укоризненно: откуда, мол, ты такой вылез, что всю обедню мне портишь. Смотрю, изо рта слова летят, уже не такие новенькие, гладкие и зубастые, а полудохлые, помятые, шамкающие, слипаются конфетами-тянучками, летят шелухой семечек, никуда не годятся. Стала голова снова мужичком-завгаром, только облезлым.

Точно очнулись от обморока, стали переговариваться, зашумели, слушать не хотят.

Брежнев сел, как обиженный мешок. И вообще, это был не Брежнев, а плохо загримированный под Леонида Ильича Никсон с лохматыми бровями.

– Идолище, все они друг друга играют. Не убедил, – шепнула мне Наташа.

ГЛАВА 4

Юноша Джон Кеннеди подбросил свой мяч и задел микрофон. Тот квакнул.

– Господа, не слушайте вы этого старого маразматика, – объявил по-русски с английским акцентом.

– Сейчас, сейчас! – зашелестело. – Джон Кеннеди! Наша молодая надежда!

Встала новая тишина. Как бы пришло второе дыхание.

– Бог любит справедливость, – и оратор обеими руками толкнул мяч – пас, прямо в толпу.

Какие неожиданные слова! Бог! Справедливость! Любовь! Мы ведь еще ничего подобного не слышали. Бог! Справедливость! Мяч впереди подхватили и отпасовали назад – оратор прыгнул вбок и поймал.

– Учреждайте.. как это по-русски?.. входите... нет, вступайте в звенья Справедливости.

Вот сказал – и сразу понятно. Уже несколько человек подхватили баскетбольный белый, и стали перебрасываться, мяч.

– Сейчас, теперь, нау, мы повернемся друг к другу, мен ту мен, бразерз во Христе, – продолжал Джон, пританцовывая от нетерпения. – И каждый будет ковать свое звено.

Мы стоим, обратившись друг к другу, нас пятеро: Наташа, я, Вольфганг, белокурая девушка, молодящийся старик в джинсовом.

Голос президента входил в меня, как в белый пустой футляр.

– Судить надо по совести.

– Судью на мыло! – ахнуло помещение.

– Если сосед, – продолжал резкий голос с акцентом, – подставит тебе правую щеку...

– Бей по обеим... – подхватил гулко павильон.

– Во имя любви и милосердия! – истерический женский всхлип.

Зычный голос разносился под высоким потолком ангара:

– Возьмемся за руки, друзья!

– Чтоб не пропасть по одиночке! – скандировали все хором. И наступило всеобщее просветление...

– Спасибо нам, – прошептала взмокшая, как выкатившаяся из сауны на снег, Наташа. – Землетрясение в Италии и на Кавказе, тайфун во Флориде, наводнение на Кубани, это все наша энергия натворила, ракеты в состоянии готовности, но войны не будет. Главное, чтоб не было войны. Шепотом – ура!

Белая пауза. Иначе не обозначишь. Потому что не рассказать.

В общем, мы очутились на ее постели, мокрые, как мыши, все трое, вернее, четверо, если белую считать. Хотите верьте, хотите нет. Может быть, это была любовь втроем. Может быть, приснилось. Но войны до сих пор нет. Думаю, вы меня поймете, Ефим Борисович. Потому и рассказал, – заключил Сергей.

По серой изначально нечистой скатерти пробежал крупный прусак.

«Во сне бывает, – подумал я, – снится все такое многозначительное, великолепное, потрясающее, слезы на глазах, а проснешься, судорожно выхватив обрывок сна, чтобы рассмотреть на свету, все такое никчемное, ничегошеньки не значит. Недавно, снилось. Действительно, где величие в словах: «Не стой на дороге»? А ведь и дорога была, и синяя кромка леса вдали. И голос с высоты был».

Я посмотрел в купол. Там были просто белые узоры по синему мозаичному фону. Ни женщин, ни парашютистов, ни полюса. Рассыпалось, разлетелось, как сон, как наваждение. Бутылка шампанского была пуста.

– Мне, пожалуй, пора. Верится с трудом, но спасибо за информацию. Вы же телефон мой знаете...

Сергею не хотелось со мной расставаться.

– Хотите, вас познакомлю с Наташей?

В мозгу мелькнула дикая мысль: «А если провокация? Вот, такой симпатичный парень, простоватый. Знаю я их методы!»

– Ну, позвоните как-нибудь, – протянул я неопределенно.

Когда я вышел на проспект, он показался мне каким-то многозначительно зловещим. Сама многоступенчатая форма домов, сама архитектура с башенками, рабочими и колхозницами и лепными украшениями из бетона была похожа на магическое заклинание. На троллейбусах, на каждом прохожем ехали эти здания, в виде шляпы или шапки, и давили на мозги. НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ. Была поздняя осень. И природа уже не смела высовываться, даже в виде ветки с пожелтевшей листвой. Листья были подметены, лужи не то что выметены, вычищены — до асфальта. От осени осталась одна казарма. И серое небо без облаков.

ГЛАВА 5

В это время главный герой этой повести направил свет настольной лампы на развернутую книгу, сразу ярче, отчетливей шрифт и страница белее. Так удобней будет читать. Весь день были сумерки. А теперь и вовсе смеркалось.

Толстый серый том с рифленой обложкой, считай, первое послевоенное издание — избранное 1957 года, включили. Хотя скребло на сердце какого-нибудь министерского чиновника, да дело давнее, может не поймут.

В окно были видны сараи, ниже — долгие пруды и шоссе. Там, сбоку, отсюда не видимый, над водой поднимался старый запущенный господский парк: березы. Имение давно перестроили под административные здания, в меру ободрали и загадили — район называется. Сам Олег Евграфович жил в почти квадратной комнате, в двухэтажном бараке — постройке тридцатых — без удобств, и туалет — на дворе будка. Впрочем, не жаловался, еще и шутил. Говорил своим молодым гостям:

— Прогуляемся по моему парку. Покойной бабушки наследство. Троцкий в свое время лечился (у нее с мужем здесь санаторий был) и мандат бабушке выправил. Уж потом, при Хозяине, отобрали, когда НЭП кончился. Тогда я и родился. Здесь родился и после войны сюда вернулся, хорошо еще, прописали внука бывшего помещика. Так что обопритесь на мою руку, милая, и сойдем с этого шаткого крылечка.

Олег Евграфович рано похоронил свою жену — никто из новых ее и не знал — но влюблялся до сих пор. Наивно, как юноша.

Положит руку на округлое колено — и весь горит. Но больше всего он был влюблен в Дашу, даже не в Лизу. Та была тонкая, острая, красавица-то красавица, но горда и холодна, как реклама с глянцевого журнала. А Даша — давно он ее знал, лет двадцать, миловидная, с толстой пепельной косой, белый стоячий воротничок, усядется в уголке на его трехногую табуретку, глаз не поднимает, концы косы перебирает, но всегда слово утешения найдет. Только приходит ненадолго. Глянешь, а ее нет, будто и не было.

Поневоле приходится серый томик из ряда других выдергивать (Ф. М. Достоевский, собрание сочинений в 10 томах) и любимые места перечитывать. Книжка уж и распаться стала, подклеил, починил. Да тут не только это было, тут много другого: и прозы, и стихов — всякой всячины, как любил выражаться великий. Ну, да все по порядку.

Вот и сейчас раскрыл Олег Евграфович книгу — и сразу ступил в богатую гостиную, обтянутую кремовым штофом, с удобной немодной ампириной мебелью начала прошлого века.

Навстречу ему поднялась хозяйка — высокая дама с несколько желтоватым длинным лицом и молодыми умными глазами.

— Степан Трофимович!

— Вы один, я рада, терпеть не могу ваших друзей!

На самом деле, это она к нему пришла. Но он варьировал. Хотя реплики оставлял прежние. Не касаться же святого. Хотя со временем и реплики меняться стали — сами. Даже удивительно! Спихватишься, а ты уже о другом говоришь. А собеседник такое несет! Даже в современное вникает. А как же? Ведь это они, бесы, весь этот мрак и нескладуху породили. Вот и теперь.

«Она объяснила ему все сразу резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему дозарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович тарачил глаза и трепетал. Слышал все, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но все обрывался голос. Знал

только, что все так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться — дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.

— Mais, ma bonne amie, в третий раз и в моих летах... и с таким ребенком! — проговорил он, наконец, — Mais c'est une enfant!»

— Ребенок, которому двадцать лет, слава Богу! Я вас не на преступление же толкаю! Это же не девочка вашей соседки сверху, проститутки Веры Ивановны. Бог знает где живете, у меня людская и то приличнее. И люди лучше одеты. Я понимаю, многое произошло с нашей бедной родиной. Но все же, могли бы и в поссовет обратиться. У вас заслуги! Ну да ладно, после венца живите пока у меня. А потом в Швейцарию уедете.

— Но... она? Вы ей говорили?

— О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Довольно с вас, что она вам является уже не первый год.

— Улыбается и молчит, mon amie...

— Она такая, молчунья. Ангел кротости. А вы, непостоянный, знаю, вы в какую-то Наташеньку влюблены, глаз не сводите. Видела, письмо написали и тут же порвали. Красавица!

— Но... я уже старик!

— Ничего себе старик! — ядовито прошипела Варвара Петровна. — А кто вот тут сидел рядом с Наташей, тьфу, на одеяле и все придвигался боком, будто на кровати места не хватает. Совсем прижал бедную девушку. Хотя нынче они такие бесстыдницы. И Веру Ивановну зазывал чай пить.

Степан Трофимович покраснел и смутился.

— Excellente amie! Ничего не зазывал! Я по-соседски... Девочку жалко...

— Всем вам девочку жалко! И вам, Степан Трофимович! И Федору Михайловичу — нашему благодетелю! Дурное направление мыслей, вот что я вам скажу, голубчик! А о Даше подумайте, пока события не начались. Еще разговор наш не окончен.

И — исчезла. Исчезла строгая дама и кремовым штофом обитая гостиная, хотя, скорее, бежевым. Совсем стемнело.

Лампа выхватывала белые донельзя страницы заветной книги. Будто светились и жили совсем отдельной жизнью. Заглянешь — и снова там. Олег Евграфович закрыл книгу. Пора было печурку растапливать. В комнате становилось заметно холоднее.

Но хозяин решил сначала прогуляться в парк. Поскольку в его «евангелии» картин природы почти не было, да и обстановка описана скупо, то можно было подставлять любое, особенно этот парк, пруды и старые обдерганные березы с вороньими гнездами. Птицы и кричали как-то по-достоевски.

У воды было светлее и суше. Деревья и кусты облетели, и только бузина чернела гроздьями ягод. Наверху было пусто. Вороны тоже, кажется, улетели, недаром на днях кричали, повисая в дожде черной сетью, нет, не на юг — в город перебрались. «Завтра должен Ефим приехать, обещал, с приятельницей может быть», — подумалось вскользь.

Олег Евграфович размеренно шагал привычной тропинкой — до орешника и болотца, а там назад, мимо ржавеющего, Бог знает откуда появившегося здесь остова комбайна.

Стихи укладывались в размер шагов. Дело в том, что со временем ощутил себя Олег Евграфович как бы соавтором. И рискнул. Стихи слагать начал. Многолетняя работа, на всю оставшуюся жизнь. Сначала робко — наброски, без рифмы, он даже доволен был, что без рифмы, так свободнее. А уж рифмы потом, во втором черновике появлялись, чтобы в третий раз переписанные стихи выглядели почти прилично.

А пока что:

Мясистый, красный, кучерявый
и пьяный капитан Лебядкин
возник передо мной в воротах,
весь освещенный фонарем
Кириллова, который странно
смотрел на пьяного — брезгливо
и словно с жалостью какой.
А тот рычал и заикался
и что-то выразить старался
высокое с незримой сцены

и подлое одновременно,
провинциальный толстый комик,
и вился волос, как парик.
Но чувствуя всю невозможность
свой пафос выразить словами,
слюною брызгался и цепко
хватал меня за воротник.
А сам: одежда в беспорядке,
оторванная пуговица:
— Рекомендуюсь, Игнат Лебядкин,
Сын благородного отца!
«Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната»...

Надо было спешить к дому, который чернел издали черной одинокой коробкой наверху, под деревьями, чтобы записать поскорей.

ГЛАВА 6

Сегодня день у меня был свободный, еженедельный полу-выходной, можно сказать. В нашем институте, как всегда, пересаживали день, но проверки и контроля не ожидалось, это наверняка. Карл Аркадьевич сидел на даче — творческий Четверг, с пивом и сауной, естественно. Поэтому весь коллектив занимался самыми разнообразными делами, тоже личный день себе устраивали. Так что работали мы только вторник и среду. В понедельник раскачивались, пятница — скользкая. Как платили, так мы и работали. И считалось: н о р м а л ь н о. Как и все.

Сегодня я собрался в деревню Горки к своему Олегу Евграфовичу, вернее, к нашему Евграфычу. Позвонил Беллочке, как уговорились.

— Едем к Евграфычу?

— Едем. Встречаемся, где всегда.

На улице — пронзительный ветер, предзимье называется. Прохожие не смотрят друг на друга, от ветра закрываются. Глянул случайно, обгоняет, независимая, от ветра не прячется, в демисезонном красном, в высоких сапогах. Идут ей вы-

сокие сапоги и короткая юбка, мода как нарочно придумана. Лицо плавное и высокое. Глаза неторопливые. Остановились на мне. Я и не знал, что такая рядом живет. «Наташа!» — кто-то окликнул. Тоже Наташа. Не про меня.

Встречались мы с Беллочкой внизу — на станции метро «Новослободская», у тупой стенки. Пришел, как всегда, опоздала. Черно-кудрявая, брови как нарисованные. Не идет навстречу. Начал телепатировать. Не откликается. Ну, думаю, уже едет, народ в вагоне приему мешает. Я уж на середину станции вышел, нет и нет.

Здравствуйте, пожалуйста. Всегда опаздываю, такая у меня привычка. От мамы. Только она никогда не признается. Бегу, шарф волочится почти, сапогами наступаю, не подкрасилась даже. Смотрю, он уже уходит собирается.

— Ты куда без меня?

Обрадовался, вижу.

— Думал, не придешь, и на мысли не отвечаешь. Кстати, вчера вечером в двадцать пятнадцать что ты такое нехорошее подумала?

Я даже покраснела.

— В двадцать пятнадцать? Новости передают... Сардельки ела, брызгают, мерзавцы.

— Ты сардельки ела, а я совсем другое уловил.

— Хулиган ты, Фима.

Очень мы близко. Притерлись. Есть и третий. Вот, наверно, забавно со стороны, когда втроем. Одно говорим, на другое отвечаем — просто сумасшедший дом. Одна беда, при такой близости. Гена жениться хочет, а этот без конца неприличные сигналы посылает. И тому, и другому не раз объясняла: да не мужчины вы для меня — слишком умны. Подружки. Ну, пока не лесбиянка, не дождетесь.

Мы уже катили в автобусе по Дмитровскому шоссе. Всюду белые новостройки — длинные, в пол-остановки. Смотреть и то соскучилась. Тут я задремала...

Сегодня Олег Евграфович решил прочитать своим гостям новую страничку из «Бесов», утром доработал. Достал с пол-

ки толстую картонную папку ДЕЛО, прочел надпись красным фломастером «Достоевский – Песков, Бесы – поэма, 1958 и – (прочерк)», с удовольствием развязал аккуратно завязанные тесемки – с обеих сторон и спереди, пробежал последний листок в пачке, написанный разборчивым почерком – каждая буквочка отдельно – беловик.

Смакуя прежнюю обиду,
На камердинера для виду
Степан Трофимович ворчал,
(Спал, как ребенок, по ночам).
И чувствуя себя в ударе,
Он сел и написал Варваре
Сергеевне...

Черт побери, давно так удачно не получалось! «И чувствуя себя в ударе»... Молодец, Олег Евграфович! Подвигается дело жизни. Он и бороду отращивать стал, такая же клочковатая, и взгляд в зеркале из-под насупленных бровей – похож, похож. Имена – отчества тоже – в обоих буква ЭФ, разве не примечательно? Интересно, что на сей раз Сергей скажет? И как ему не надоест сочинять свои короткие афоризмы: «забыл, что помню я об этом, – и закурил». Удача – «и закурил». Несомненно, редкая удача. Просто находка. «Забыл, что помню я об этом» – это может любой сказать. А вот так закончить «и закурил» – мастером надо быть, тонкачем. Освободился от всей этой тяготы, можно сказать, «и закурил». Прочту, обязательно прочту. И еще это. Не придет – письмо напишу.

– Ну как ваши «Бесы» поживают? – первым делом спросил я хозяина.

– Ко второй части подбираюсь, – усмехнулся он.

– Уже ко второй? – поразилась моя спутница. Порозовела вся, совсем девушкой выглядит, в кудряшках. Да он, верно, уже и влюблен. Влюбчивый человек, давно его знаю. Потом будет мне писать, как жить учить.

– Это там, где про Великого Инквизитора?

Зыркнул на нее глазами, и не ей – себе буркнул:
– Это из «Братьев».

Белла даже покраснела – ушками, маленькими хорошенькими ушками, стыдно стало – золотые сережки и то почувствовали себя дешевой бижутерией. Действительно, стыдно забывать Федора Михайловича, ведь мы все, как на фундаменте, на нем покоимся, наше поколение.

– Забыл, что помнил я об этом, – примирительно пробурчал Евграфыч.

– И закурил! – подхватила она.

«Все-таки будет сегодня читать свою поэму». – подумал я, не знаю, с каким чувством.

После холостяцкого чая он читал, время от времени поглядывая поверх очков на слушателей.

– Высокомерная, как панна,
Нет, не могла простить Степана
Трофимовича. Вышел в зал,
Ввязался в спор – и крик и свара!
Но после чая задремал.
Она – Ставрогина Варвара
Его с усмешкой понимала,
Как он себя не понимал.
И то, что выпачкан сюртук
В пирожном, все-таки не молод...
И то, что шуточки – вокруг
И смутный ропот и уколы...
Как полагается герою,
Он в скорбь гражданскую впадал,
Но и в шампанское порою.
Перед отчизною стоял
Он воплощенной укоризной.
Но клуб дворянский ненавистный
Он регулярно посещал.

– Воплощенной укоризной... Настоящий Достоевский, – одобрил Ефим.

– Вы думаете? – вскинулся автор.

— Конечно, вершина уже достигнута. Проникновение. Слияние с Федором Михайловичем. Помните это? — продекламировал:

— Любил он трудно, безответно

И стушевался незаметно...

«У всех великих людей бывают недостатки, — подумала я. — И зачем ему это нужно? Четверть века пишет! А, впрочем, он ведь сейчас на пенсии». И вслух выразила свой восторг.

Олег Евграфович был растроган.

— У меня уже есть наброски следующего абзаца. Я ведь неукоснительно следую правилу: строфа — абзац.

Помолчали.

— Очень много зла на земле, — со вздохом произнес Олег Евграфович, глядя в окно.

На дворе рано смеркалось. На ветру летели последние листья — и не скажешь какого цвета. В печурке, за железной заслонкой трещал разгорающийся огонек и все норовил загудеть, как взрослый, как большой. После выпитого чая было особенно уютно.

— Что там на земле! — воскликнула Белла. — А у нас на лестнице. Вечером лампочки не горят. Я подниматься в лифте, честное слово, боюсь. В соседнем подъезде женщину зарезали и норковую шубу сняли.

— В милиции бьют — не попадайся, — элегически произнес Ефим.

Белла не унималась:

— Мосгаз опять по квартирам ходит, слышали? Я двери никому не открываю, только на условный звонок.

Помолчали. Приятно помолчать — вот так, со своими.

— А если он условным позвонит? — поинтересовался Олег Евграфович.

— Не позвонит.

— Отчего же?

— У нее один очень длинный, один средний и три коротких.

— Действительно, конспирация.

— Не поможет. Россия — империя зла, — ляпнула Беллочка.

— С Рейганом я не согласен, — поспешно заметил Ефим. И показал на потолок. Наверху жила соседка Вера Ивановна, молодая мать-проститутка.

— А я согласна, — сказала Беллочка. — Это же на тысячу лет, как берлинская стена.

— Тысячелетний рейх, — значительно поднял палец Ефим. — Быть диссидентом бесполезно. Уезжать отсюда надо.

— Слышал, и Коровины поднялись, — оживилась Беллочка.

— Неужели? Но Коровины, простите, не евреи! — удивился Евграфыч.

— Ха-ха! Не смешите меня, — возразил Ефим. — Всем известно, Олег Евграфович, ее мама — Гурвич.

— Но, если поразмыслить, куда ехать? — хозяин решил перевести состав на другие рельсы.

— В Америку едут, — сказала Беллочка.

— Америка — бездуховная страна, — сказал хозяин, как само собой разумеющееся.

— Ну, Олег Евграфович... — протянул Ефим.

— Мы бедные, но у нас есть все, они богатые — у них ничего, — теперь вагончики слов покатались в другую сторону.

— В Америке зла хватает: и программа космических войн, и негры обнаглели, — согласился Ефим.

— А спросите любого негра, есть у них Лев Толстой? — воззрились строгие хозяйские очки.

— Достоевского у них тоже не наблюдается. — вздохнула Беллочка.

— Зато у них — гениальные руки и ноги, и великий Майкл, — возразил Ефим.

Очки посмотрели на стенные часы — жестяные с гирей.

— Я сегодня еще одного гостя жду, — сказали очки. — Да вот и он, по ступенькам стучит, ноги вытирает.

ГЛАВА 7

Венедикт Венедиктович, ВэВэ — известный гипнотизер, профессор, относил себя все-таки к людям искусства. Он преподавал и учил, что не одно и то же. Преподавал он практическую психологию в университете, а учил податливых шизо-

фреников быть Пушкиными, Чайковскими, Репиными. И получалось. Во всяком случае, рисовали у него на уроке и импровизировали на фортепьяно в том же роде, и не хуже.

Большелобый мучнолицый Аркаша, правда, говорил, что клеить спичечные коробки ему нравится больше. Но входя в транс, зажигался, как спичка. Забавно слышать, как он порой рассказывает:

«Нас десять избранных. На фабрике. Меня всегда изо всех избирают. Избу клею на спичечные коробки, с трубой, завод называется. Вон сколько их у меня: Мише дам, Маше дам, а э т о м у не дам! Клею на небо косо, криво, наоборот.

Ругается. Большой. Небо маленькое и квадратное. А он пятиконечный — больше неба.

Короба-гроба, братские могилы. Мы уложены в ряд тесно, не велят шевелиться. Лежим прямые, деревянные, голова к голове. Пришло время, толстые пальцы выдвигают ящик и стараются нас ухватить. Мы хотели бы убежать, выпрыгнуть, рассыпаться по полу, но толстые пальцы — попался, схватили тебя, держат крепко.

Ах, загорелась головка, загорелась! Извивается длинное туловище от боли, скорчился черный труп спички.

Каждый день такой. Придешь на фабрику, прямой, веселый, а тебя целый день зажигают и выбрасывают, зажигают и выбрасывают. Домой вернешься — лица нет, усталый, черный, говорить ни с кем не хочется.

Лично я сразу — на кухню. Скину с себя куртку и прыг на кухонный стол. Ни горячего, ни чая — ничего не хочу. И плитку не зажигайте. И греметь мной не надо. Не надо давать нас в руки детям. Спать хочу».

Какая сила воображения. Вот так же он себя с Шишкиным идентифицирует. Шишкин — и все. Такие же рисунки делает — и быстро. Правде, некоторые скептики сомневаются, мол, Шишкин, наверно, тоже был сумасшедшим: все лес да лес. Но рисунки сами за себя говорят.

Когда Венедикт Венедиктович решил с мировым злом сражаться, Аркаша стал первым волонтером. По охоте, по охоте. «Хочу, говорит, мушкетером против гестапо быть». Он же не сумасшедший, просто крези. Живет с матерью, ин-

валид первой группы, на спичечной фабрике работает. Спокойный, даже нежный. Только женщин пугается. Кроме матери. Она у него, видно, за все. И к ВэВэ ходит — учится на Шишкина-Репина.

Сначала их было двое, потом четверо. Вот отсюда и мушкетеры пошли. Но еще раньше были другие мушкетеры, которые всегда были, и теперь на Лубянке в большом доме обитают. Вот генерал этих мужественных мушкетеров, де Тревиль из Барвихи, и предложил ВэВэ организовать группу борьбы с мировым злом; во-первых, под контролем, во-вторых, могут быть положительные результаты, в третьих, просматриваются в андеграунде другие группы, неподконтрольные, с чем они борются, неизвестно, необходимо выявить. В группу не одних идиотов набирать, перед дипломатами будет стыдно.

Здесь самое время и подходящее место в повести познакомить вас с теорией Венедикта Венедиктовича Чечулина. Теория проста и глобальна: все люди — сумасшедшие. Ну, как? Усвоили? Пойдем дальше.

Нормальные люди не подозревают о своем безумии, поскольку обыкновенно оно никак не выражается. Но в экстремальных ситуациях проявляется внезапно и ярко.

Как определить? Приходит к психиатру человек. Плохо спать стал, то да се, а начнешь тесты ему задавать, так он кругу квадрат предпочитает, сколько сейчас времени, не умеет навскидку определить — не верит своим биологическим часам, девочку в пионерлагере изнасиловал, правда, давно, пациенту самому одиннадцать лет было. А ну-ка, расстегните ширинку. Диагноз ясен: вялая шизофрения. Ну, если выхватит скальпель и на доктора кидается, то белая горячка. Откуда скальпель? Доктор и сам его резать собрался. Все люди — сумасшедшие.

Есть догадка — воображение. Ни логики, ни причинно-следственной связи в реальности не обнаружено. Видимо, нет. Ведь солнце не для того, чтобы нам светить. Попались мы ему на дороге, вот и освещает. Условно, понимаете, условно, человечество придумало связи, чтобы нормально существовать. Чтобы не выть по ночам от безысходной тоски. Научились и привыкли — различают добро и зло, тьму и свет. А на самом

деле — ничего этого нету. Все по отношению — и смотря к кому. Ну и пусть лагерная диалектика, зато реальная.

— Алло! — лежащая рядом повернула черноволосую голову — черные спутанные, из-под них блестящие уставились. — Это ты ВэВэ?

— Позовите к телефону Лизу, — попросил он с улыбкой.

— Сейчас она проснется, — ответила серьезно соседка. Затем подняла кверху подбородок — просто для поцелуев. — Это Лиза. Кто говорит?

— Твой ВэВэ, — он наклонился и поцеловал в ямочку подбородка. Попытался обнять ее и переехать животом по гладкому — наверх.

Оттолкнула — локтем — отбрыкнула ногой. Нет, она не хотела выпускать незримую телефонную трубку:

— У меня сегодня вечером будешь?

— Вечером. А сейчас? — протянул разочарованно.

— Сказала, вечером.

— К Олегу Евграфовичу поедем?

— У меня репетиция.

— Тогда все — вешаю трубку.

— Что ты делаешь?

— Кладу на место.

— Нахал! — оттолкнула так, что почти скатился с постели.

— Передай Аркаше, что завтра в студии собираемся, — попросил, поднимаясь с ковра и обеими ступнями въезжая в стоптанные шлепки.

— Оставь меня со своими идиотами, — услышал он.

ГЛАВА 8

Утреннее солнце в соснах на прожег белым слепит. Еловые ветки волнуются, снег подметают. Ломаная ветка горсточкой почернелых листьев туда же — весну ухватить хочет. С ночи снег осел, поноздrevел, теперь в сухую крапинку — березы засыпали. (Правда, это сегодня с утра случайно в книгу попало. Но спасибо Пришвину, видеть научил).

Поздняя осень. Черная осень. Жизнь поднимется из размазанной жидкой черноты, каркнет вороной и перелетит с

крыши на березовый сук. Смеркается быстро, как будто не было этого короткого ноябрьского дня — и не рассветало.

В стороне от Дмитровского шоссе, на взгорке, во втором ряду, в доме светится оранжевый абажур — из детства, чудом сохранившийся. Под ним сидят четыре человека: крупнолобый, клочковатая борода, в очках — это хозяин, слева молодая женщина, красивые высокие брови, вся мягкая — в полноту, справа, иронически посвечивая из-под бровей, пиджак на тонкой водолазке, тип современного журналиста. Перед ними расхаживает и как бы ораторствует или декламирует мужественный, плотный, уверенный в себе господин. Запавшие глаза — в них загораются оранжевые волчьи точки, иссиня выбрит.

— Каждый может почувствовать себя гением. Вы будете рисовать, как Репин, однозначно. Увидите.

Мы согласны, Вэвэ. Мы еще до разговора были согласны. Поэтому ты к нам и обратился. А истинный сумасшедший среди нас — ты. Особенно меня стараешься гипнотизировать своими горячими прыгающими зрачками, мои губы, мою довольно полную грудь. Но ведь я заранее согласна, ты это знаешь.

Почему не попробовать. Это нечто вроде коллективной медитации, как я понимаю. И вреда никому не будет. Сейчас уже за это не хватают. Не изучение иврита. Но как похоже на рассказ другого сумасшедшего. Кстати, так и не позвонил. И то — бред, и это. Сеанс гипноза, думаю, и все.

Откуда-то из Федора Михайловича сцена, но откуда? Ладонь чешется. Брать и отдавать? Положу ей руку на кругое колено под столом. Положил. Виду не подала. Я ведь ей в деда гожусь.

Между тем, Вэвэ, приятно обрадованный успехом своей миссии, вдруг обратился к хозяину:

— Порадуйте нас, Олег Евграфович. Прочтите, только из более раннего. Как там, такой отрывок, весь на женских рифмах. Я понимаю, он потому так написан, что ведется рассказ

непосредственно от лица губернского чиновника Г-ва, человека мягкого и деликатного.

Олег Евграфович, не заставив себя упрашивать, достал свою заветную картонную папку, не глядя расстегнул тесемки, связывающие ее, достал несколько листков, совершенно наугад или они у него были приготовлены, отставил дальнозорко и стал читать сразу:

— Позвольте, капитан Лебядкин —
Он мой лакей, — сказала гневно
Шатову Марья Тимофевна,
— И он не смеет, гадкий, гадкий!
При всем при том с улыбкой детской
Она тихонько ворожила —
Под свечкой карты разложила.
От белой булочки немецкой
Еще кусочек откусила.
В ее чертах мечта светилась
И безмятежное веселье.
Расспрашивал, с какою целью?..
Всего на миг она смутилась...

— Это ее Шатов о ребеночке расспрашивал... Ну, да кто читал, поймет. Далее все по тексту, — он перелистывал стопку бумаги. — Вот! Явление капитана Лебядкина домой.

Олег Евграфович снова стал читать:

— Я пришел к тебе с приветом..
Шатов, Шатов, отопри! —
Колотил он в дверь при этом
И притихли мы внутри.
Пьяный капитан Лебядкин
был скотина из скотин,
неприличный господин.
Но играть с пьянчугой в прятки!
Вы послушайте иуду,
Как витийствует плевел:
— Рассказать, что пить я буду,

Пить... не знаю, пить что буду...
Здесь Шатов не выдержал и взревел:
— Убирайся, дьявол, к черту!
А не то получишь в морду!

— Ну это я от себя. Такой решительный и положительный этот Шатов. Тем более, что Николай Всеволодович получил-таки от него оглушительную затрещину.

Мы заплодировали.

ГЛАВА 9

Три письма Олега Евграфовича

Дорогой Сергей! Что-то вы ко мне не едете и не едете. Наверно, электрички к нам перестали ходить. Да вон кричат за березовой рощей, еле ползут зеленые гусеницы. Везти вас ко мне не хотят, вот что. Вспомните свой прекрасный афоризм, ваше достижение: «забыл, что помнил я об этом...» Я его то и дело повторяю и, представьте, на любой случай годится. Тут приезжали ко мне из Москвы: он — дельный, умница, и она — восточная кровь, выскакивает, терпения нет. Вот она и ляпни, что инквизитор — из «Бесов», я рассердился ужасно и оборвал ее, «из «Братьев», говорю, из «Братьев»!» Тут же раскаялся. Нельзя женщин поучать. Неприлично. «Забыл, что помнил я об этом». Такие-то наши дела.

Как у вас дела? Я про Наташу спрашиваю. Если хотите, приезжайте опять вместе. Но мой совет, оставьте вы ее в покое, она сама не знает, что хочет, еще не перебесилась. Я ведь, когда вы были, смотрел на нее по-стариковски, не ревнуйте, не ревнуйте, она же ищет. Все время ищет голодным взглядом. Увы, не вас.

Кстати, вчера я почувствовал себя не очень ловко перед гостями. Толкал я их, правда, на хорошее дело. Но подталкивал.

Недавно, в Москве, был я в студии клуба имени Зуева, знаете, что на Лесной, два куба таких футуристических с фасада, видел моего знакомого, говорил с ним. Он — гипноти-

зер, психиатр. Вы знаете, я раньше в диспансере отмечался, дела давно минувших дней...

Так вот, он умолял познакомить с кем-нибудь из молодежи, да объяснить, чтоб не пугались. Он их рисовать хочет научить. В один сеанс, представляете! Большие деньги мог бы зарабатывать на Западе. Патриот, что поделаешь. Будет делать гениев бесплатно, но на родине. Я сам так вдохновился, говорю, тоже к вам на сеансы ходить буду. Говорит, лучше познакомьте. Я вчера и познакомил.

Вы писали, что в обществе назревает стремление к активному добру. Да, да, я сам вижу. И в олимпийском комплексе (недавно был) столько народа американские проповедники собирают! Такой общий энтузиазм! «Кто со Христом, протяните ему руку! Христос ее пожмет!» Десять тысяч, все как одну руку подняли. Я вижу, балаган. Однако, неудобно, косятся вокруг. «Подниму, думаю, не отвалится». Согрешил, Сережа.

Однако, знайте, есть и серьезные люди. В том же клубе Зуева. И психиатр знакомый, и режиссер молодой есть. Цитирую: «Как напомнить людям о добре? И кто напомнит людям о добре? Авторитет должен быть. Был же у Сталина авторитет. И сейчас бы его послушали». Знаю, кусочек захватил. Авторитет был, верно, на всю вселенную. Только почему он добру учиться на лесоповал отправлял? Другого места не нашел? А так, действительно, и цены снижались, но не для меня. Я с молодости недоедал. Вот такой сухой, корневистый и вырос. Все наше поколение такое. Почва скудная да климат суровый нас вырастили — неказисто деревце, да не выдернешь, не согнешь. Например, ваш покорный слуга. Уперся я в Федора Михайловича, решил жизнь свою положить, стихами его гениальный роман людям пересказать, чтобы крепче, навсегда запомнили. Это и в музыке сколько хотите. Лист — Бузони. И сейчас вижу свою будущую книжку «поэма БЕСЫ. Федор Михайлович Достоевский в стихотворном переложении Олега Евграфовича Пескова».

Ну да полно. Работы еще на целую жизнь. К черту эту мою печень печеную!

Приезжайте, если сможете, Сережа. Что-то я соскучился по вас.

25 октября 198... года

Ваш О. Е. Песков

3 ноября 198... года

Дорогой Сережа!

Вы так и не приехали. Написали, я весь день прождал. Не хорошо обманывать смолоду, Сережа. На улице черная осень, на душе еще черней. Боли в печени, камешки замучили. Говорят, после операции можно получить на память. Показывали мне один такой: обыкновенный булыжник, а какой садист.

Вы пишете, что у вас на Мосфильме вас куда-то зачислили и билетик выдали от спортивного общества «Динамо», что вы — воин любви и милосердия. Что же вам не нравится? Когда же у нас про любовь и милосердие говорить разрешали! Мелкобуржуазная мораль, вот как это называлось. Поповщина! А классовый подход? Господи, слава Богу, не жили вы, Сергей, в прежние времена, не доносили на вас все соседи — и сверху и сбоку, чуть ли не каждая собака на дворе доносы строчила. Эх!

Чудом, чудом, Сережа, мог приличный человек выжить. Такие бесы, да ведь они повсюду были — половина нашего народа, Господи прости. Как я свои черновики от них прятал! В церковь теперь потянулись. Но ведь и бесы в церковь ходят, крестится, а у самого хвост выглядывает.

Так что Сережа, милый мой воин, боритесь за любовь и милосердие каждым своим поступком. А в организацию вступать не обязательно. Не в билетике дело. Хотя сам я, признаюсь, любопытствую, если хотят добра, то ведь само оно не придет, надо к нему стремиться. Всем надо идти к добру и покаянию. Вот и решил я в клуб, вам известный, наве-

даться, тем более, что приглашение прислали на послезавтра. Поэмой моей интересуются.

Обнимаю – ваш Олег Песков.

4 ноября 198... (открытка с видом огней Москвы)

Милый Сергей!

Опускаю открытку в почтовый ящик на вокзале. Только что с медосмотра. Мой профессор, ваш тезка Сергей Сергеевич, очень сердится, ругательски ругает меня, что запустил, что – неандерталец. Пишу, как неандерталец, потяну еще, не хочу ложиться на операцию, и другим не советую.

Кстати, если не хочется ходить в группу, не ходи, какие билетки бы не выдавали. Душа сама знает, что ей надо. Только слушать душу не ленись. А у меня – одна моя поэма на уме.

О. Е. Песков.

ГЛАВА 10

На следующей неделе, как уговорились, мы встретились с Беллочкой в метро и поехали в Клуб имени Зуева, что на Лесной. Это было особенное футуристическое здание: над входом выпирали два глухих куба – там помещались задние ряды зрительного зала (я был там в кино). Странное здание. В Моссовете, слышал, точили зубы на него: снести. Но архитекторы, в том числе отсидевшие свое конструктивисты, их ученики, не позволяли это сделать. Внутри, правда, было привычно: нео-пределенно-зеленая краска, которой было выкрашено все, от сцены до женской уборной (мужская была на ремонте), и массивные двери, и лепнина – все возвращало нас в наше время.

Высокая студия почти на чердаке. Косая наклонная стена, в которой высоко проделано длинное мансардное окно. На потолке сверкают две белые трубки – лампы дневного света. Слева от окна – кафедра с советским колосющимся гербом, унесенная, видимо, снизу из зала. Перед трибуной в

беспорядке расставлены студийные складные доски и стулья. Для полного сходства с художественной студией не хватало только античных гипсов. Да вот и они — на полу в углу: ступня и бородатая голова.

Когда мы вошли, здесь уже сидели двое и рисовали на листах ватмана, увлеченно и размашисто, причем, странное дело, на белом поле не оставалось и следа рисунка. Я обратил внимание, что водили они карандашами, в воздухе, не касаясь бумаги.

— Упражнение, — объяснил ВэВэ, подойдя сбоку. — Таким рисовальщиком, как Врубель, сразу все равно стать невозможно, но упражнения перед гипнозом очень актуальны.

— А почему не углем по бумаге?

— Чтобы не разочаровываться. Увидит, что набросок плохо вышел, не поверит, что хорошо нарисует. Не поверит — внушение не подействует. Вера движет горами, — с улыбкой пояснил он.

— Ну, для меня вы не Бог, — усмехнулся я.

— В себя надо верить, Ефим...

— Можно без отчества.

— Прежде всего в себя.

— Ефим у нас неверующий, но добрый. Потому что пьющий, — сказала Белла, снимая пальто.

Тот покосился.

— Сюда на стул положите. И вы можете сюда же.

Я посмотрел на профессора сбоку (такой современный, темноволосый, плотный, в синей водолазке) и решил его не разочаровывать во мне.

— Не один вы на свете. Встретил я недавно молодого человека из похожей группы.

— Да? — посмотрел внимательной птицей.

— Рассказал про свое ментальное путешествие, если не соврал. Похоже девушка их в транс вводит. Или что-то выпить дает в кофе. Я не понял.

— Интересно, интересно, — птица наклонила головку и собиралась клюнуть червя.

— Обещал познакомить с ней.

— Не звонит.

— А вы сами позвоните. Или мне телефончик дайте, — Раз! — склонула червяка.

Решил поиграть, почему, не знаю, и сказал: — С собой нет, да я завтра же позвоню, если вы...

Незаинтересованный вид: — Просто любопытно.

«Ах, думаю, ты тоже играть любишь. Учтем, учтем».

Мы сели несколько позади, на стулья, рядом. Разложили приготовленные альбомы: все-таки интересно, получится ли из кого-нибудь хотя бы Соколов-Скаля (был такой)? Впереди меня сидел стриженный, с оттопыренными красными ушами. Он водил карандашом в воздухе нервно и быстро, будто рисуя какой-то капризный облик. И не оборачивался, хотя мы говорили довольно громко. Неужели нам придется совершать наше ментальное путешествие вместе с этими красными ушами?

— Сначала я вас всех заряжу творческой энергией.

— Как это будет?

— Вы почувствуете.

— А дальше?

— Дальше вы станете великими, не усмехайтесь, кем захотите, тем и будете.

— Рембрандтом, — почти утвердительно произнесла Беллочка.

— Не имеет значения. Боевая пятерка.

Подняла брови.

— Имя, говорю, не имеет значения.

— Может быть, будет возможность познакомиться с другими великими.

— Такими же, как мы, — догадался я. — А план-максимум?

— Есть и план-максимум. Когда нас будет много, достаточно много, ведь группы действия возникают повсюду, мы вот что сделаем. Тайны здесь нет.

— А все-таки? — сказала Беллочка.

— Добро не прячется по темным углам. Мы встретимся с нашими исконными противниками. Мы сразимся в Армагеддоне.

— Вы это серьезно говорите? — спросила Беллочка.

— Вполне.

— Армагеддон — это в Библии, место за Иерусалимом, на котором происходят сражения духов. Говорят, до сих пор ночами там слышен лязг мечей и звон доспехов, крики ярости и стоны умирающих, — тревожно блестя глазами, сказала она.

— Нас же всех раскромсают на кусочки, — заметил я полусерьезно.

— Это духовные битвы. Самое большое, что нам грозит, потерять свое «Я», — вполне серьезно ответил ВэВэ. — Но и это нам не грозит, мы явимся, как духи умиротворения.

— Покончить с общим раздором? Глобально, — сказал Ефим.

— Ну, сначала надо научиться выходить в астрал и там лиловеть.

— Что делать? — Белла смотрела большими глазами.

— Делаться лиловыми.

— Как моя кофта?

— Как ваша кофта.

— Вместе с ними, как бы это выразиться, несколько отсталыми? — улыбаясь, она кивнула туда — на рисующих в воздухе.

— Они будут там впереди. И дай Бог, если вам удастся хотя бы посинеть, порозоветь.

— Достижение? — осведомился я.

— Достижение. Видели, как у Врубеля, падший демон — синерозовый, лиловый? Давайте, я вас познакомлю с остальными членами команды.

ОН, большой, пятиконечный, подвел к нам Красавицу-Черные Брови и Человека-Смеющиеся Глаза, нет, не такого большого.

— Вы все — одна команда.

— Здравствуйте, — говорю. — Я Аркаша, а это манная каша.

И на Юрашу показываю. А тот рад, голос подает:

— Юраша, — говорит, — Юраша с вами поедет.

— Да куда ты собрался? — спрашиваю. — Юрашка-дурашка едет, а не знает куда.

Тот в слезы.

— Не плачь, — говорю, — Репиным будешь.

Заулыбался.

— Хочу Репую быть! Пусть меня из земли за чуб тянут!

ОН говорит: — Видите, Ефим и Белла, я ведь не случайно вас пригласил, я ведь вас всех продумал и подобрал — всю пятерку.

Красивые Брови поднялись: — Почему пятерку?

ОН усмехнулся уголками рта: — Потому что я с вами — всюду! и на земле и в море... И все мы — как пальцы руки. Пятерка Добра.

Смеющиеся Глаза прищурились: — Вы, значит, Айвазовский будете? Подарите картинку...

ОН прервал: — Не гадайте, все равно не угадаете, кто кем станет, да это и не вполне известно. Но настоящего футуриста Бурлюка могу показать — и на Юрашу показывает.

Тому смешно. Имя, будто каша, булькает и кипит.

ГЛАВА 11

Я никогда не рисовала, если не считать многочисленных принцесс, нарисованных мной в детстве. Все из длинных треугольничков. Это корона, это лицо, это платье, это ножки.

А теперь я почему-то знала, что могу нарисовать что угодно. Откуда возникало знание — из меня, да оно всегда было. Оказывается, я всегда умела рисовать, просто не знала об этом. Спасибо ему, вот он, ВэВэ, спасибо ему, Он только что сообщил мне об этом и когда я не вполне поверила, стал настаивать:

— Ты умеешь рисовать. Ты прекрасно умеешь рисовать.

Я провела углем по ватману, уголь шел легко и свободно, оставлял красивый шероховатый штрих, почему-то в голове звучало: «и незаметно стусевался»...

На листе очертилась кудрявая голова, черные брови, ну кого я могла рисовать кроме себя? Я получалась похожей. Резче, уверенней я вела линии углем. Где нужны были тени, я выявляла их большим пальцем, нажимая на уголь с растушевкой по бумаге.

Я была радостна и свободна. Я рисовала себя. Меня рисовало что-то сильнее меня. Я получалась похожей — на се-

бя, на это что-то. Горячие волны силы и радости проходили по мне. Я посмотрела на руки, небольшие, не по-женски широкие, они делали свое дело, как будто всю жизнь только и делали это. В лиловом свете неона.

Я себя нарисовала. Последний штрих. Теперь я могла посмотреть вокруг. Все еще рисовали. Кроме ВэВэ. Ефим сидел какой-то взлохмаченный, остроносый. Меня как ударило. Похож, главное, имя то же — Ефим. У, какой вихревой автопортрет у Аркаши! Да он же настоящий Ван-Гог! А Юраша сидел такой же шишкоголовый, отрешенный. Не знаю, каким был Давид Бурлюк, но, кажется, куда более экспрессивным и светским.

— Зовите меня ВэВэ Дягилевым, — вдруг громко произнес гипнотизер. Я заметила, что он стал как-то мешковатей, грузней, на лице появились небольшие усы. Или показалось.

— Все равно не похож, — строптиво сказала я.

— Я новый Дягилев. А вы — Серебрякова, помолчите, — отрезал ВэВэ Дягилев.

Вот почему я так изящно рисовала! Что-то серебристое отлетало от портрета. У меня такие длинные глаза. Мне всегда нравилось имя Галина.

— Посмотрим наши рисунки, господа великие, — произнес ВэВэ Дягилев.

У Юраши на бумаге закипали сильные грубые и лепились слабые нежные мазки углем, которые складывались в осенний парк. И там кто-то гулял, и, может быть, это были влюбленные.

У Ефима было море. Самая натуральная буря с бревном.

— Чувствую, я Репин, — недоуменно произнес Ефим, — но только море рисую, как Айвазовский.

Новый Дягилев только пожал плечами, мол, случается.

— Механизм перевоплощения еще не изучен, — сказал в утешение.

— А как же вы? — не утерпела я.

— Самовнушение.

Возразить было нечего.

Аркаша робко и трепетно смотрел на нас.

— Ну как?

Это был один из лучших Ван-Гогов, которых я когда-либо видела в музее или на репродукции. Какая-то кричащая, глазастая, скуластая физиономия-сдвиг. Но видно, что автопортрет. Сейчас за него могли заплатить целое состояние.

— Я возьму ваши рисунки на память, — как будто прочитав мои мысли, сказал ВэВэ Дягилев.

За стеной послышалось шумное дыхание и взревела труба — духовой оркестр. Дверь приоткрылась, и в зал заглянул сталинский маршал Жуков, или это был артист Ульянов и там за стенкой что-то репетировали. Но большие маршальские звезды! Мы переглянулись, по-моему, никто ничего не понял. ВэВэ мне подмигнул.

— Это по вашей части, Лаврентий Павлович, — сказал маршал кому-то в коридоре.

И в студию вкатился живчиком полный бритый грузин небольшого росточка — Берия. Этот цепкий оценивающий взгляд сквозь леденец-пенсне. По-моему, его никто не вспомнил и не узнал, кроме ВэВэ и меня (у меня дед отсидел).

— Репины и Айвазовские нам нужны, — он потрепал по загривку растерянного Ефима. — Но и нашего Ван-Гога империалистам-американцам не отдадим, — хлопнул Аркашу по плечу. — Если отдадим, то за большую цену. Не прогадаем. Художники тоже, художники не в последнюю очередь, приглашаем на заседание ЦК. Проходите, проходите все в кинозал. А то неудобно, члены ЦК пришли, ожидают, а художников нет. Манкируют, а?

ГЛАВА 12

У входа в кинозал двое в гимнастерках с петлицами обыскали нас, и пожалуйста — пропустили. В темном кинозале — впереди небольшая группа смотрела кино. На экране светился добрейший лохматейший с бородкой. Это была комедия давних сталинских времен «Антон Иванович сердится» с очаровательнейшей Целиковской.

Берия или похожий на него показал нам: садитесь, и прошел вперед.

Мы сидели молча. Слева от нас, в конце ряда сидела еще пара: девушка, парень, что-то белело и как будто шевелилось там. Лемешев в папахе пел, Целиковская хлопала ресницами, Антон Иванович сердился, картина неуклонно двигалась к концу.

В зале медленно, как в старые времена, зажигался свет. Серьезный военный пригласил нас пройти в первые ряды. Там поднимались, переговаривались негромко, но похозяйски.

Мы подошли к нескольким невысоким, я бы даже сказал, почти карликам – поперек себя шире. Я узнала его сразу. Это был Сталин в форме генералиссимуса. (Я никогда не видела формы генералиссимуса, но это была она.) Обрюзглый, толстый, седой, почти лысый на макушке. Но глаза боевые, насмешливые. С ним разговаривал Молотов – такой же коротышка. Лазарь Каганович смотрел на нас подозрительно. Ворошилов – выжидающе.

– Хорошая кинокартина, правдивая, – сказал Иосиф Виссарионович.

– Вы не находите, что эта комедия верно отражает нашу советскую действительность? – внезапно обратился он к ВэВэ.

ВэВэ смешался.

– Иосиф Виссарионович, – обратился Берия или кто-то похожий. – Позвольте вам представить, Венедикт Венедиктович Чечулин – гипнотизер и художник.

– Это у которого мушкетеры против, ха-ха, гестапо? – засмеялся кто-то сзади. Какие похожие, будто наклеенные, усики! Не может быть!

– Художники нам нужны в первую очередь, – неторопливо произнес Сталин. – А уж гипнотизером или ясновидцем позвольте быть мне.

И он засмеялся старческим кашляющим смешком. Кругом заулыбались.

– Вы, Иосиф Виссарионович, уж вы скажете! – смеялся Ворошилов, – А помните, как ползал, как вам сапоги целовал этот самый, который социализм предсказывал. Предсказатель!

– О своей жалкой жизни молил, – холодно блеснуло пенсне Берия.

– И как вы ему мудро сказали, – продолжал Ворошилов.
– Предскажи, что сейчас с тобой будет, помилую.

– Не мог же он сказать правду, которую чувствовал, что его сейчас – пу-у! – Маленков наставил палец пистолетом. Все засмеялись.

– Так вот, Иосиф Виссарионович выразил желание, чтобы к знаменательному дню его пришествия Репин написал бы его портрет.

– Но я не Репин, – робко возразил Ефим. – Я Айвазовский.

– Айвазовский? – благожелательно произнес Сталин, – Айвазовский, это хорошо. Хорошо – это не только Маяковский. Напишите мой портрет, товарищ Айвазовский, на фоне моря и гор.

– Такой же бескрайний! – восхитился Берия, утрируя грузинский акцент. Но вождь зыркнул на него своими желтыми глазами, и тот сразу осекся.

Сразу отсеченная от нас военными, группа двинулась к выходу. И тут я подумала, как все же это похоже на спектакль. Разглядела я их, успела. Сталин был все-таки смуглокожий армянин, толстогубый носатый Ворошилов смахивает на еврея, Молотов заgrimирован, а Маленков – вообще пожилая женщина, у него даже груди на месте. Что я, женщину узнать не могу! По-моему, там и этот человек с характерными усиками. Неужели Гитлер? В тени победителя держится.

Но зачем этот спектакль и почему мы в нем участвуем? Сейчас бы кинуться на сцену и закричать: «Бросьте всю эту комедию! Покойнички!» Не очень-то – по углам зала, у дверей молчаливые автоматчики парами стоят. А они сейчас в машины и – на Красную площадь, на кладбище, в мавзолей с главным покойником советским шампанским чокаться.

Посмотрела я на Ефима, вижу, в толк не возьмет.

Посмотрел я на Беллочку, тоже, вижу, засомневалась. Шепчет:

- Артисты, наверно.
- Автоматчики тоже артисты?
- Автоматчики, похоже, настоящие.

Один ВэВэ спокоен. Видно, что волнуется, но в меру. Все у него идет по плану. Все у кого идет по плану? А тут еще эти автоматчики. Подозрение во мне окрепло.

Смотрю, глазам не верю. По проходу к нашему ряду приближается давешняя стройная девушка – плавная лицом и медленная глазами, и высокий, в коже, парень с белой крысой на плече. Не придумал, значит, их Сергей.

– Здравствуйте, Наташа, – говорю.

– Здравствуйте, Ефим, – улыбнулась (улыбнулась!), – Я вас знаю, мы соседи, и Сергей много мне о вас рассказывал. Даже надоел.

– А вы здесь как?

– Из любопытства.

– Угу, разведка, – сказала Беллочка.

– Мы из другого спортивного общества.

– Из какого? – быстро спросил ВэВэ. И, мне показалось, хотел остановить выходящих военных, кто-то там обернулся.

– Из «Динамо», – быстро ответила Наташа. Достала синее удостоверение, показывает.

– Зачем? Это же Наташа! Мне и Сергей... – недоумевал я.

– Нет, нет, – ВэВэ внимательно читал синюю книжечку. Вернул неохотно:

– Все в порядке. А мы из ЦДСА, – и красную показывает.

– Родственники, – вежливо улыбнулась. Ко мне: – С вами очень хотела познакомиться, Ефим, очень... Ваши статьи... Вы ведь боец за Справедливость...

– Сергей ошибся...

– Извините, Наташа, – из-за спины ВэВэ. – Он воин всеобщего Добра.

– Нет, за Справедливость, я знаю...

И не столько губами говорит, сколько – глазами, и не столько – глазами, сколько – темными губами...

Для меня как-то сразу все перестало существовать, признаюсь. За справедливость, так за справедливость. ВэВэ мне что-то лепечет о следующем сеансе, я соглашаюсь, Беллочка понимающе усмехается, крыса поводит носиком, Вольфганг тает в неизвестности, мы уже на улице, глаза ее блестят, я влюблен до безумия, ничего не понимаю.

— А вы почему здесь оказались, Наташа?

— Сергей вам рассказывал...

— По-моему, это ряженые.

— Но вы же умный человек, настоящие откуда возьмутся!

Смута, не все ли равно.

— Разница принципиальная. Те бесы изображали из себя людей, а эти только притворяются бесами. Зачем все это?

— Сразу все не объяснишь. Давайте условимся, Ефим, 80% вы понимаете, а уж 20% я вам как-нибудь на пальцах изображу. Страна зашла в тупик, всем ясно. Там наверху думают, о провинциальных лидерах, о том, чтобы объявить перестройку и еще лет десять на этом продержаться, к тому же — газ, нефть.

— Это понятно.

— А мы внизу другое знаем: надо их всех изнутри взорвать. Сначала диктатура, они ее поддержат, по обыкновению, потом возмущенные массы свергают диктатора и всех, всех! Запрет на компартию, землю — крестьянам, заводы — рабочим, искусство — талантам. Как вам это нравится? Конечно, силовики и цеховики на нашей стороне. И это вполне серьезно.

— Неплохо... но кроваво может получиться.

— Вы здесь организовали боевые пятерки Добра. И в Москве и в Ленинграде, и в Самаре, кажется, уже есть, — сказала она в раздумье.

— Верно, и у нас пятерка, в студии.

— Добро должно быть с кулаками. Это ваш лозунг.

— А ваш какой же? — улыбнулся я.

— Бей во имя милосердия.

— Давайте лучше эмигрируем. Я вас возьму с собой.

Она засмеялась.

— Нет уж, я здесь пока останусь..

— Что это у вас за милосердие такое?

— Да вроде вашего добра. Только наши и ваши еще не договорились. Принюхиваются... А! — она потянула холодный воздух носом, и он сразу озяб. — Чудо, пахнет снегом.

Тротуары и крыши смутно белели.

— Первый снег! А мы и не заметили.

Мы вышли на площадь Пушкина, здесь снег сверкал в свете фонарей — и на позеленелых плечах вечно задумчивого памятника. Как-то само собой прошли к Елисееву, там на полках красуется коньяк — и очереди побыстрее движутся..

Странная особенность сегодняшнего счастливого вечера. Многие прохожие казались мне похожи на недавних персонажей в кинозале. Вот прошел бровастый Леонид Ильич. Вот криворотый — в воротник, Громыко. Этот подвижной круглый, как бильярдный шар, конечно, Никита Сергеевич, даже глазом нас зацепил, остановился и чуть не сказал: «Ваше поколение будет жить при коммунизме». Виновата, верно, моя впечатлительность и то, что я Наташу внезапно встретил, но настроен ко всем этим прохожим был вполне благодушно и желал им всем самого лучшего. Пусть они и в ГУЛАГе, как пельмени, нас вымораживали, и в Черкасске свинцом угощали, и в Афганистане кашу заварили, такие уж повара. Но, в общем, обыкновенные мимо идущие. Сколько угодно таких пожилых мужчин в любом городе.

В ярком, свисающем с потолка медными и хрустальными гроздьями гастрономе, счастливо избежав длинных очередей — было уже поздно — мы купили две бутылки вина, кое-какой закуски, влезли в темное нутро такси и припали друг к другу ищущими губами, языками, пить хотелось ужасно. «Небо скорей увлажнить» — сказали бы древние греки.

ГЛАВА 13

Большие толстые куклы ушли. Военные ушли. Жалко. Красивые брови качались рядом на лестнице и говорили, не понял Аркаша. В гардеробе одной грудью влезла под мышку. Мягко и тепло. Потом — рукой. Стыдно. И сказала: «Ого!»

— Куда теперь идешь, Аркаша?

— К маме, — говорю.

— А хочешь меня нарисовать?

Подумал немного,

— Аркаша хочет, — говорю.

— Пойдем ко мне домой, Аркаша.

- Аркаша идет к себе домой.
- Маме позвонишь, мол, у меня урок рисования.
- Ага, у Аркаши урок рисования.

Стало темно. В темноте огни, огни, если глаза прищурить, тонкими лучиками расходятся. Троллейбус большой, как дом. Аркаша любит ехать в троллейбусе. Зачем билет? Мама Аркаше никогда билет не берет. Говорит, инвалидам – бесплатно. У тебя рука нежная. Когда мама погладит Аркаше рубашку из лавсана, так же приятно. А шерстяной свитер не любит Аркаша. Он кусает Аркашу. Нехороший свитер.

Квартира. Вся как коридор. Большой театр такой большой? Неужели больше? Красивые брови, пиво принесла, целая бутылка. Аркаша пиво хочет? Аркаша пиво хочет. Когда Аркаша был в театре, на утреннике, там пиво детям давали. Всем детям – большие кружки. Даже в руках не удержать, нальют – сразу упадешь. Там паркет скользкий.

Где у тебя бумага? Много бумаги надо – целый лист. Уголь дай Аркаше – много, ломается. Пароход дымит черным – много угля надо. Аркаша как пароход.

Черная пауза. (Аркаша рисует).

Белая пауза. (Аркаша рисует).

Далеко на диване сидят красивые брови. Не на лице, а на обоях и в зеркале. Так и рисую. И в окне, в стекле качаются красивые брови, глаза, кудряшки за троллейбусные провода зацепились. Чиркнуло – синяя искра!

Почему близко-близко нарисованные брови стали? Кудряшки задевают, щекочут. Отстаньте, противные кудри! Аркаша смеется тоненько-тоненько. Рот прижался. Какой губастый! Белые зубищи, прямо как у волка. Он меня не укусит? Твой рот – добрый рот? Он раздевает Аркашу – твой добрый рот. Такой мокрый и добрый. Твой рот наделся на Аркашу. Теперь как чулок снимается. Снова наделся. Аркаша любит, когда добрый рот снимается и надевается, и опять, и опять...

Красивые брови, у тебя разве нет такой же дубинки? Бери свою в руки, давай поиграем.

Волосатая извилистая щель – боюсь. Боюсь, съест Аркашу.

- Милая!
- Да?
- Наташа!
- Да?
- Принеси пить...
- Я тебя люблю.
- Распишемся и уедем, а?

ГЛАВА 14

Из дневника Олега Евграфовича.

6 ноября. Слава Богу, у меня телевизора нет. По радио — марши и пляски. Наверху у Веры уже пляшут. Теперь трое суток будут плясать без остановки. А то ночью начнут что-то двигать. И что они там двигают? Шкаф? Самогонный аппарат? Голова уже разболелась.

8 ноября. Наверху все еще пляшут. Или песни орут. Около дома — бутылки, наблевано, деревянная лавочка у сараев — в темных брызгах, кровь. Кого зарезали? Хорошо, если курицу. Но слышал, что еврея. Какого еврея? Когда, почему? Вот и живу среди них. Но я-то не жалуясь. Я, как монах-старец из «Бориса Годунова», пишу свою летопись. Я подозреваю, что уже приходили, искали, читали тут без меня. Недаром инвалид в комнате напротив такой любезный стал. (Красный весь, тройной одеколон пьет, им же спрыскивается). Пусть приходят, пусть обыскивают, я пишу поэму-роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы», в стихи перекладываю. Всюду издается. Не запрещено. А на самом деле, все они у меня тут, кто они — пусть догадаются. Об этом больше не пишу. Прошлый век — и все тут.

10 ноября. Наконец-то, праздники позади. Русский патриотизм почему-то просит водки. Наверху тоже топотать день и ночь перестали. Не люблю военных праздников. Кажется, все эти шеренги и танки — против тебя. А против кого? Никто к нам не едет, все от нас бегут. Вот леса и небеса,

будто маслом намазаны, все равно — никому не нужны. Одна победа у нас была, одна общая радость — ее и вспоминают. И ждут. Кого ждут? Всегда ждут. Может быть, Второго пришествия ждут? Или конца света?

11 ноября. Голая черная окраина — такая некрасивая. Быстро темнеет к тому же. Вот Москва — столица, сразу видно. Кончилась Москва и началось ни то ни се, ни дачи, ни ангары, ни деревни, ни заводы, ни цистерны, ни пустыри. А все это вместе — такая неприглядная картина без адреса. Потому что везде похожий пейзаж. Все как будто давно брошено и оставлено так — вместе с людьми — догнивать и рассыпаться. Люблю, когда листья или снег Россию одевают, все прикрывают, все грехи, как венец новобрачную. Тогда красива.

12 ноября. Выпал первый снег. Как украсил землю и крыши. Сегодня гулял в парке, вода в прудах еще не замерзла, темной сталью между голыми березами поблескивает. Темная бузина под снегом — волнами да гроздьями. Снег сам по себе, бузина сама по себе. Главное — хорошо дышится. Похоже, вся дрянь, что нам в легкие попадала, осела, снег осадил. Да и сам снежок на вчерашние листья робко прилег, знает, что уходить придется. Пушистый, воздушный, ни о чем дурном не ведающий. Вот такой праздник я люблю.

13 ноября. Снова гулял. Но снег уже растаял. По грязи шлепал. Ходил в остановке автобуса, Сережу встречал. Сережа приехал расстроенный, бутылку водки привез. Я черного хлеба, сыра и чеснока нарезал. Последнее время на девушек не дышу, ем чеснок. Чеснок жизнь продлевает. Фитонциды там есть в большом количестве. И на печень, говорят, хорошо действует. Побаливает.

Сережа выпил водки три стопки и стал рассказывать про свое несчастье. Знал я, знал, не про него эта девушка, но как скажешь. Я посочувствовал. Сережа стал рассказывать про Мосфильм, про тамошнюю организацию. Я перепугался и просил рассказывать шепотом. Сережа сказал, наверху, кажется, одобряют. А сам он разочаровался, по его словам.

Бей во имя любви и милосердия! Он — человек мирный. Он даже Наташу ударить не может, а Ефим Борисович не виноват, что она в него влюбилась. Утешил Сережу, как мог. Он рассказал, что ЧП со дня на день объявить могут. Тогда каждый — в свою пятерку, в свое звено, им и удостоверения дали. А он свой билет как потерял, сразу себя свободным ощутил. Промолчал я про Клуб имени Зуева, про мои надежды, про ЦДСА. Сергей уехал поздно.

15 ноября. Моросит холодный зимний дождь. По грязи добирался до автобуса, ноги промочил. Ну, да не время болеть. Но, слава Богу, там — справа — не болит.

Наконец, свершилось. В клубе имени Зуева, за кулисами. Там в очень тесном кружке будущих правителей державы (кто знает! примет их народ или нет — двойников), читал последние главы первой части моей поэмы.

Слушали внимательно. Особенно строки:

— Россия есть игра природы, —
Промолвил дерзко капитан, —
Внемлите, мирные народы,
Прочту вам пьесу «Таракан».
Сударыня, я не помешан!
Сударыня, позвольте слово!
Пусть буду я потом повешен,
Но басню вам прочту Крылова.
Ну, не Крылова, а мою —
И свет на некоторые обстоятельства пролью.

Тут все зашумели так, что трудно стало читать далее. По поводу обстоятельств, на которые непременно надо пролить свет. А еще вожди! Настоящие вели бы себя солидней. Я попросил тишины. Когда тишина снова установилась, стал читать дальше.

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан

Полный мухоедства.
К стихам, я вижу, вы не глухи,
Позвольте образ пояснить,
Чтоб, так сказать, не рвалась нить.
То есть, когда в июле мухи
Согласно собственной природе
Налезут в чайный ваш стакан,
Там мухоедство происходит,
Уразумеем и болван.
Хоть таракан и невелик,
Но занял чье-то место.
И тут поднялся шум и крик,
В стакане стало тесно.

– Старик Никифор, слышишь, встань!
– Что будишь, Зевс, в такую рань?
Но встав, хотя и рано,
Никифор выплеснул в лохань
Всю драму из стакана –
И мух, и таракана.
Хоть получилось, господа,
Не очень складно в общем,
опять – бутылка и нужда,
Но таракан не ропщет!
Да, да, не ропщет, господа!

Молотов прослезился. Сталин сказал, что эта штука по- сильнее, чем «Фауст» Гете, и пообещал мне Сталинскую премию. Берия спросил, на кого я намекаю своим Тараканом? Я мужественно выдержал его жесткий взгляд. Хрущев меня выручил. Он сказал, что поскольку в поэзии он понимает с детства, ему ясно, что в поэме говорится о соперничающей группе на Мосфильме в составе Брежнева Леонида Ильича, Рейгана, Маргарет Тэтчер, Джона Кеннеди и Геринга, по совместительству Тельмана. Это типичное мухоедство. А таракан у них – Леонид Ильич со своими тараканьими бровями.

Ура! Мне заказали новый гимн. Идея побеждающего до-

бра, и не столько добра, сколько побеждающего, и не столько побеждающего, сколько торжествующего, и не столько торжествующего, сколько — молчи, гидра, и не сметь, дракон! Миллионы будут петь этот гимн. Никогда еще не бывало такого. Вдохновенно берусь за работу. Снова заболело. Вчера опять был у врача. Говорит, срочно надо оперировать. Буду ложиться.

20 ноября. Был на низовом совещании командиров боевых пятерок. Как и предполагал, встретил там ВэВэ. Да он, кажется, там — пружина. Ведь это он мне доказал давеча, что добро должно быть с кулаками. Все такие молодые, энергичные. Может и я общему делу послужу. Говорят, идеологии не хватает. Старая уже не действует, никто внимания не обращает. Кто-то предложил: ХРИСТОС И ПАРТИЯ ЕДИНЫ. Забраковали. Рано еще, не время. А когда же время настанет? Я вас спрашиваю, когда?

ГЛАВА 15

ВэВэ, распустив губы, бренькал, изображая телефон. Но темная головка Лизы не поворачивалась к нему с подушки. Видимо, сегодня не в настроении. Наконец, резко повернулась, между сжатыми зубами — конверт.

— Возьмите почту, — официально сказала сквозь зубы.

Он взял из живого почтового ящика письмо со штемпелем, поцеловал ее в теплые губы. Надорвал конверт. На пустом листке было бледно напечатано одно слово: ЗАМЫКАНИЕ.

ВэВэ мгновенно соскочил с постели. Как будто в мозгу у него зажглась красная лампочка. Поспешно стал — что? — одеваться.

— Ты куда? — осведомился почтовый ящик.

— Голубушка, Лиза, — причитал ВэВэ, одновременно чистит зубы, натягивая носки и принимая душ. — Как же ты! Мне же на десять назначено.

— Тик-так, тик-так, — мерно ходил на подушке будильник, покачивая бровями-стрелками. Вдруг как набросится

сзади, обовьет смуглыми руками:

– Пружина лопнула!

– Лиза! — мягко высвободился ВэВэ. — Из Конторы вчера звонили?

– Звонили.

– Что сказали?

– Одно слово.

– Замыкание?

– Что там у них с проводкой? — размышляла Лиза. — Позвони туда. Нет, не надо звонить. Поезжай. Только ни в коем случае не надевай старый костюм и галстук в цветочек. «Диор» повяжи. Сейчас, я сама.

На несколько минут старая московская квартира превратилась в парижский модный магазин и парикмахерскую. Мадам причесывала стареющего, но еще видного шансонье. Последний пшик туалетной водой «Соваж». И мусье вышел, увы, не на Шан-Жализе.

Еще не совсем разошлась темнота, но столица давно жила и надо было ехать на площадь Дзержинского в большой бежевый дом. Там были и другие дома, но этот главный. И когда говорили: «На Лубянке выбросился из окна» — подразумевали его. Это примечательное здание обладало одной особенностью — оно меняло свою архитектуру в зависимости от настроения входящего в него. То, казалось, оно из броневых плит, то — из помпезных гирлянд, орденов и рельефов. А сейчас поспевающему ВэВэ оно почудилось башней, построенной из гигантских детских кубиков. Под холодным осенним ветром сооружение покачивалось, некоторые кубики грозили выпасть наружу.

За входной гербовой дверью, небрежно махнув перед часовым волшебной книжечкой, ВэВэ прошествовал в глубь вестибюля. Офицер у барьера не поглядел ни на пропуск его, ни на приглашение. Опытный глаз секретного сотрудника сразу заметил в большом доме какой-то несвойственный этому учреждению разлад и неуверенность.

По всему вестибюлю на мраморе валялись кольца серпантина, брошенные пестрые пакетики и ползали увядшие воздушные шары. По всей видимости, ночью здесь проис-

ходил праздник.

Створки лифта разъехались. И ВэВэ чуть не сбила с ног орава подростков, которые побежали к выходу, вопя и хлопая друг друга надутыми пакетами по ушам и голове.

Сотрудница, которая поднималась с ним вместе, удрученно поздоровалась, прижимая к груди стопку папок и «дел».

На полированной стенке кабины было написано свежими корявыми буквами «Динамо – чемпион».

На третьем этаже – на площадке девочки-школьницы прыгали через веревочку.

На четвертом подростки постарше целовались взад.

На пятом этаже был его отдел. Переступая через разбросанные кипы секретных бумаг, бланков и писем, ВэВэ пробирался по коридору к кабинету своего прямого начальника. В приоткрытые двери комнат он видел внимательные затылки школьников, которые сидели перед мониторами мощных компьютеров и извлекали из них все, что можно было извлечь.

Вошел. Слава Богу, полковник был на своем месте. Крупный мужчина, длинное лицо с залысинами повернулось к нему. Полковник облегченно выдохнул:

– Уф-ф!

– Наконец-то я вижу нормального человека.

– В чем дело Мурат Дардыбаевич? Что случилось? Пожар? Революция? – обратился к нему ВэВэ.

– Хуже. Началась компьютерная эра, – он помолчал. Глаза-маслины в трауре усталости.

– А почему дети?

– Потому и дети. Новый генсек назначил нового министра. Новый министр приказал срочно обновить обстановку, сократить сотрудников за счет учащихся, впустить в комитет свежую струю. Попутно обнаружили просчеты, проколы и провалы. Теперь что касается вас, милый ВэВэ. Выяснилось, над проектом «Армагеддон» одновременно с нами, подчеркиваю – несогласованно, работал шестой отдел. И вместо одной созданы две группы: одна ваша, в клубе имени Зуева, другая – на кинофабрике Мосфильм. Как быть? Какую из них пускать в разработку? Возможно замыкание. А? Ка-

кие ваши предложения?

У ВэВэ прошел озноб по спине. Он знал, что такое «замыкание» и что может впоследствии — да, да, вплоть до этого самого. Дело чрезвычайное.

— Запретить, — сказал ВэВэ в пустоту, откуда могли появиться любые неприятности.

— Попробуй запрети Джону Кеннеди. Или Иосифу, — хмыкнул полковник. — Дело запущено. Внушение работает.

— Свернуть? — предложил ВэВэ, потому что надо было что-то предлагать.

— Все та же проблема.

— Самому Джону Кеннеди хватило одного выстрела из окна.

— Что ты говоришь, сколько людей запущено в разработку, сценарий утвержден, съемки вот-вот начнутся...

— Может обе группы слить вместе? — нерешительно предложил ВэВэ.

— Пожалуй... — длинная голова склонилась набок, как дыня под ашхабадским солнцем. — Нет, это невозможно. Идеологии разные.

— Наша группа под водительством мудрого вождя идет по исконно русскому пути.

— Вот видишь, а на Мосфильме — интернациональная. Передерутся.

— И отлично! — с этим возгласом в кабинет скорее вбежал, чем вошел, бледный кудрявый блондин лет шестнадцати, косенький, в больших роговых очках. Он помахивал пачкой синек с чертежами и вычислениями.

— Гений, — безрадостно отрекомендовал его начальник.

— Пусть передерутся. Но по Теории Игр. Доложите Председателю Комитета и в ЦК, пусть передерутся. Когда наши машины будут готовы, мы устроим между этими голубчиками Армагеддон с реальными параметрами и настоящими жертвами, но в виртуальной реальности. Кто победит (компьютеры определяют это), тот и выберет путь, по которому дальше пойдет Россия.

— В какой реальности? — не понял полковник.

— В виртуальной, — с удовольствием повторил юноша.

— Не волнуйтесь, умирать будут убедительно и разнообразно.

разно.

«Говорит, как пишет, — подумал ВэВэ. — И откуда они такие берутся? Никого не жалко. Как машина покажет, так и будет».

— Будущий Эйнштейн! — восхитился полковник, и глаза его совсем погасли. — Операцию «Армагеддон» назначаю на пятницу. Оружие участникам операции не применять, — сказал он как бы между прочим.

— Надо предупредить представителя другой группы, — сказал ВэВэ. — Надо позвонить, вызвать. Замыкание!

— Уже здесь, — просто сказал Мурат.

ВэВэ нарочно не поднимал головы, пусть Наташа подойдет поближе.

Когда он посмотрел, то увидел, что рядом стоит высокий парень в кожаной куртке, из-за пазухи выглядывает розовыми бусинками белая крыса.

ГЛАВА 16

В среду было так плохо весь день, к вечеру все же позвонил профессору Сергею Сергеевичу.

— Срочно вызывайте «скорую» и пусть везут в тридцатую больницу. Я распорядюсь.

«Скорую» вызывать не стал, а собрал себе портфель — со старых времен остался, когда на службу ездил, и побрел потихоньку на электричку.

Идти было темно и по грязи скользко — через поле от фонаря до фонаря, а в березовой роще и вовсе ощупью, благо недалеко и дорогу наизусть ноги выучили.

Сидел Олег Евграфович в полупустом вагоне — тревожное чувство какое-то — еще на платформе троих приметил: угрожающие силуэты в синеющих сумерках подмосковья.

Неподалеку молодой интеллигент, очки — над газетой, дальше, наискосок женщина с девочкой — на Веру Ивановну похожая. Все же жалко соседку сверху. Первый муж пил и дрался, пока не посадили за что-то. Другой муж пил и дрался, пока в пьяной драке не убили. Специально, что ли, она таких выбирала? Или ее такие сразу видели: добрая, пьющая и

одна живет (девочка не в счет). А девочка Вероника на взрослую женщину похожа: бледная, почти не улыбается — и сколько лет, непонятно. Главное, головка небольшая, миловидная и бюст намечается. А ведь ей лет девять-десять. Не торгует ли ею Вера Ивановна? И думать грех! Да, Федор Михайлович ведь тоже — вообразил себе, не верю, что было, — девочка, мыла полы, навязчивый образ, чуть не с ума не сошел...

— Мужик, давай сюда угол!

Трое нависают. И ведь никуда не денешься. Выход перекрыт, в вагоне почти никого. Ближний с губой и челкой, противно стало, врезать бы ему сейчас, убьют, не сомневайся.

— Да нет там ничего.

Второй, впалощекий, худенький, проворно схватил пузатый портфель, прямо как кошку, открыл замок, заглянул и брезгливо опрокинул, вытряхнул. Все высыпалось на деревянное сиденье: полотенце, бутылка воды, сверток с двумя яблоками, бритва, зубная щетка; папка драгоценная тоже выскользнула...

— Мужик в Бутырки, ебенуть, сам едет садиться! — загоготали разом. Такого еще не видели.

— Ну, борода, привет Седому передавай, в старом корпусе, говорили.

— Уморил!

Повеселев, двинулись дальше, внимательно осмотрели молодую женщину с девочкой, что-то сказали, не слышно за стуком колес. «Сейчас уйдут! — подумал Олег Евграфович. — Уходят». Стоп, остановились возле читающего, в очках. А перегон длинный, поезд ход прибавляет. Классика. «Сейчас встану!» — думает Олег Евграфович, нащупав на сидении бутылку минеральной. Нет, беседуют довольно мирно. Вот человек поднялся и пошел впереди троицы на выход. Парни тронулись за ним, переговариваясь. Задвинулась дверь вагона. И как будто что-то ушло, воздуху прибавилось. «Может, само рассосется». — так подумалось.

Женщина и девочка прилежно смотрели в окно. Пассажир не возвращался. Через некоторое время поезд стал замедлять ход. Это еще не была Москва. Олег Евграфович, подхватив портфель и сжимая в руке оружие-бутылку, вы-

шел на площадку. Там никого не было.

Нет, что-то подсказывало: не рассосалось. На полу возле закрытой пневматической двери лежали раздавленные очки. Причем одно стекло — целое, будто очки подмигивали кому-то. Олегу Евграфовичу стало дурновато, печенка резко и неприятно заболела. В тамбуре летала брошенная газета. Можно было прочитать: ИЗВЕСТИЯ ... СТРАНА НА ПОДЪЕМЕ...МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ПРИ...

Из соседнего вагона прошел работяга. Он дико посмотрел на бутылку-гранату в руке Олега Евграфовича. Тот поспешно спрятал ее в портфель.

«Верно говорит ВэВэ, добро должно быть с кулаками. После операции займу свое место в боевой пятерке». И слова гимна стали складываться сами собой.

Поезд подходил к Москве.

ГЛАВА 17

По Библии уже настала пятница и надо было спешить, чтобы закончить все до субботы. Несмотря на жару, солнце на закате пряталось в длинные, почти черные облака. Вдали виднелись стены и башни условного Иерусалима. Золотой широкий купол Храма отсвечивал в последних лучах. Острые минареты (гораздо более поздние) дополняли картину.

Равнина была плоская и гладкая, как стол. С одной стороны — волна взметнулась и застыла, — утесы, и в них застрял серый авианосец — отличная смотровая площадка. С другой стороны — небольшая пирамида, неужто? — мавзоль и две елочки! Но он был более уместен здесь, в пустыне, чем на площади далекой северной столицы.

С утра все было пусто, только после полудня прибыли операторы и началась предстартовая суeta. Протянули шланги и шнуры по песку. Работали, перекрикиваясь и добродушно матерясь по-московски. К вечеру снова все опустело. Лишь там, на горизонте несколько диких неразумных бедуинов припустились вскачь, но натолкнулись на незримую стену — лошади были отброшены с неистовой силой и бились, скинув своих всадников и съезжая по склону бархана.

– Как, готов? – спросила у Гоги Мариночка.
– У меня всегда все в порядке, – похвастался он.
Так оно и было.

В квартире произошло что-то чудовищное. Никогда бы не поверил, сегодня вернулся часа в четыре, открыл дверь своим ключом и покричал:

– Наташа!

Никто не ответил. Зато вся мебель была перевернута, книжные шкафы повалены, книги высыпались оттуда и лежат грудями. Всюду валяются платья, колготки, Наташины вещи в беспорядке. Как будто сюда забрался тигр из зоопарка и все, играючи, перемешал и порвал.

Конечно, Наташа сопротивлялась этим насильникам. Куда они ее увезли? Что им было надо от нее?

Час назад он звонил сюда, и Наташа отвечала звонко, как всегда, была рада. Не верится, что познакомились так недавно, кажется он знает ее давно-давно. Вчера решили, они будут вместе. И вот он уже ее потерял. Чудовищно так, что самому не верится.

Прежде чем вызвать милицию, надо было оглядеться. В кухне кто-то тихо скребся – похоже, вилка о сковородку.

Ефим вбежал на кухню. И на плечо ему прыгнула белая крыса с розовым носиком. Парень с Мосфильма. «Где же твой хозяин? Куда он спрятал мою хозяйку? Отвечай, несмысленный зверек!»

На круглых стенных стрелки показали четыре. Надо резать, не откладывая. Под яркими, близко направленными лампами желтеет нездоровое тело с бородой, трудно узнать Олега Евграфовича – усыпили, обнажили, выстригли, вскрыли, обложили и зажали со всех сторон белоснежными салфетками. Хирург не следил за своими руками, они все делали, как надо, автоматически, но продолжая и развивая операцию, он уже понимал, что все напрасно, что слишком поздно, что проще всего снова зашить и оставить так, как есть. Нет, престиж и профессиональное достоинство не позволяли ему совершить естественное дело, и он продолжал

резать уже обреченного человека.

А того вдруг не стало — исчез. Кислородная маска, салфетки, ножницы, в тазу — тампоны, испачканные в крови, главное, медсестра сзади свежий тампон подает — рука в воздухе застыла — все на месте. А больной — если не испарился, то другого варианта просто нет.

Некоторое время медики: Сергей Сергеевич, ассистент и две сестры — смотрели друг на друга, неподвижные глаза и марлевые повязки — немая картина.

— А ну вас всех к ебени матери! — выругался обычно сдержанный хирург, скальпель блеснул и звякнул в металлическую ванночку, сам повернулся с поднятыми руками — уже моет руки. Хлопнул дверью и поспешно вышел из операционной.

На уличных часах было 4 часа 10 минут, но вполне возможно, что часы спешили. Надежда Покровская выследила своего сына Аркашу: снова вошел в этот подъезд и поднялся на пятый. «К женщине ходит! — догадалась Надежда. — Матери ему мало, я ли не забочусь, я ли не стираю, подтираю, обхаживаю!» Жгучая ревность поднялась изнутри — до тошноты. Покровская стала поспешно подниматься по лестнице. Она расстегнула легкое старомодное пальтишко — стало жарко. «Из-за него пошить себе отказываю». Стало очень жарко. Давление поднялось. Опять криз. «Снова соседям скорую сегодня вызывать. И на моего дурачка охотница нашлась. Наверно, какая-нибудь бабища старая. Ну, я ей покажу, как ребенка у матери уводить!»

Надежда так стала барабанить в облезлую дверь, что та почему-то подалась и тихонько отворилась вглубь квартиры — по старинному. Мать вошла и как-то сразу поняла, что квартира пуста. На стене фотография: черная кудрявая бровастая. Молодая вроде. Квартира однокомнатная — спрятаться негде. Окна закрыты. Надежда Покровская обследовала даже потолок: кто их знает, может там, на антресолях затаились. Потолок был низкий, без дыр и дверок.

– Получается, – удивилась Марина, – а не должно бы.
– У меня все получается. Перенос обеспечил, – у Гоги улыбка – белые зубы, как на рекламе. – У меня всегда все получается.

И был прав.

ГЛАВА 18

Армагеддон начался с наступлением темноты, которая внезапно, как это всегда бывает в Африке, затопила равнину, плоскую, как стол.

Главные фигуры заняли свои места. В свете прожекторов было видно, как на мавзолей с одной стороны поднялись руководители партии и правительства. Приземистые широкие шахматные фигурки, видел я такие у одного умельца. Фигурка в центре делала ручкой, как младенец: ладушки! ладушки!

– Иосиф Виссарионович! – прошелестело внизу по темным рядам статистов, будто теплый ночной ветер прошел по волнам пшеницы. Зашевелились флаги, задвигались портреты вождя и лозунги: ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ. ОРУДИЯ ДОБРА МЕТКО РАЗЯТ ВРАГОВ НАРОДА. БУДЕМ БЕСПОЩАДНЫ ВО ИМЯ ДОБРА.

В небе прочертили, как с горки, огни вертолета, который опустился на палубу авианосца. Оттуда в лиловом клубящемся свете сошли президенты и главы правительств. Все-таки, это был не Брежнев, а Никсон, такого предательства (я чуть было не написал «пердательства») не могло быть, по существу.

Несмотря на ночную прохладу, Джон Кеннеди был в баскетбольной форме своего университета. На майке была нарисована морда разъяренного быка. Рядом показалась изящная Жаклин в норковой шубке и помахала вниз – туда, в пустыню, в темноту, выдохнувшую в ответ:

– Жаклин!

– Джон Кеннеди! – прокатилось по колоннам. – ВЕДИ НАС В БОЙ! БЕЙ, БОЙ, ВО ИМЯ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ!

Между прочим, и с той, и с другой стороны бойцов подзадоривали по-русски, хотя вряд ли имело это значение, ведь

здесь собрались не просто люди, а их души, которые прихватили с собой свои бранные тела, без которых — тел, нельзя было бы поражать и уничтожать друг друга физически.

Одна душа не может уничтожить другую, известно даже темным силам вселенной. Душу можно Продать. Душу возможно также Растратить, Растранижить. Истощить. Обогащать. (Будто это геологическая порода). Причастить. Посвятить. Высветить. Выпачкать. Испоганить.

С другой стороны душу можно: Обмануть. Соблазнить. Отравить. Погасить. Зажечь. Просветить. Вознести. Возвеличить. Обожествить. Лишь убить ее невозможно. Душа принадлежит Вечности, и ценность ее там измерена. Если бы у Вечности были свои деньги, простите меня за такое сравнение, это были бы человеческие души.

У меня (у автора) на книжном шкафу стоит визуальная клетка, в которой лежит расписка от некоего нью-йоркского скульптора Джона Смита, продавшего свою бессмертную американскую душу компании «Комар энд Меламид» за 0 долларов 00 центов, вот такой концепт. И я слышу, душа шелестит на шкафу по ночам.

Один Господь властен над душой. Но в том-то и дело, что Он употребляет эту свою власть, чтобы дать ей, душе, свободу. А уж отсюда следует все остальное.

Но вернемся к обманутым душам, которые прихватили с собой свои бранные тела, чтобы те сразились и уничтожили друг друга. И те, и другие во имя всеобщего добра. Скажите, а когда было иначе?

Ефим оказался здесь с опозданием — поздно догадался, но был сразу же перенесен. Техника работала исправно. Ряды уже двинулись лесом копий и мечей. Он был среди своих. В призрачном свете юпитеров увидел рядом: лиловые — Аркаша, Белла, испуганный Юраша и другие фосфорические фигуры с пиками, с другой стороны — непохожий на себя ВэВэ, взъерошенный, выставивший перед собой высокий греческий щит. Сзади кто-то то и дело наваливался на него, даже толкал. Обернулся, Господи, это же Олег Евграфович, обритый, с торчащими клочьями бывшей бороды, вся одежда — простыня в черных пятнах крови, ковыляет, опираясь на меч.

– Вы-то зачем здесь, Олег Евграфович?

– Добру послужить, – просипел тот.

– Вы уже ранены?

– Недооперирован, – непонятно ответил последователь Достоевского. И срывающимся сиплым тенорком запел:

Под грозowymi облаками

Идет отряд к плечу плечом.

Добро должно быть с кулаками,

А милосердие с мечом.

Сомнем, сметем!

Сзади дружно подхватили. Сразу шаг стал отчетливей, движение уверенней и сплоченней. Шла слитная человеческая масса в ритме песни.

Грехи – всеобщее наследство.

Но если свой искупишь грех,

То цель оправдывает средство

И будешь счастлив ты за всех,

Один за всех!

– Мою песню поют, слышите, – блестя влажными глазами, прошептал за плечом гордый Олег Евграфович. – Мелодию и припев сами придумали. Народ.

– Ефим, возьмите меч! – быстро сказал ВэВэ, не поворачиваясь к нему.

– У кого?

– Хотя бы у Олега.

– А вы сами? – заметил Ефим. – Где ваш?

– Если надо, я и щитом убью предателя! – испуганно выкрикнул ВэВэ и попятился, но пятиться было некуда – и его сильно вытолкнули вперед. Щит громыхнул.

Кто-то сунул в руку Ефима кухонный секач. Видимо, вооружались в спешке и на всех не хватило. Что же будут делать эти современные люди со всем этим врученным им, непривычным железом? Аркаша и Юраша – бывшие Ван-Гог и Бурлюк шагали сосредоточено и выставили перед собой пики, видимо, так и надо. У Беллочки поблескивал в руках волнистый индийский крис. «Опасно! еще порежет кого-нибудь», – пронеслось мельком.

Впереди протяжно закричали и побежали. Ефим побежал

вместе со всеми. Там — еще не видно где — лязг и скрежет, две толпы столкнулись, как два железнодорожных состава на линии, когда вагоны встают дыбом и лезут друг на друга, корежась и ломая все внутри. Ах! И сразу этот противный мерный стук: хэк, хэк, хэк, так мясник рубит мясо на рынке.

Люди с вытаращенными глазами лезли друг на друга. Ряды смешивались и уже невозможно было понять, где свои, где чужие. Инстинкт все же, видимо, не ошибался. Тот, кто лезет тебе навстречу — враг. Каждый, защищаясь, вынужден был атаковать. Вслепую тыча перед собой копьем, прямо на Ефима шел знакомый ему доктор-гинеколог. Ефим тяжело ударил его кулаком в лоб, и тот повалился навзничь, не открывая глаз.

Ефим смотрел зорко. Вот еще женщина из района, где живет Наташа. Призывая на помощь и визжа, как зарезанная, женщина заталкивала кого-то в раструб фабричной мясорубки на колесах. Тот еще хватался за края и молил пощадить его, но уже весь с ногами был там. Ужасная картина!

В другом месте кудрявый белокурый ребенок лет девяти сидел в седле огородного трактора, который взбирался на груды повалившихся тел, волоча сзади борону с острыми крючьями. Белокурый ангелочек смеялся от души и кричал:

— Куча мала! Куча мала!

Все поле битвы было пронизано слепящими лучами прожекторов, выхватывая то там, то тут фантастические подробности. Вверху летал вертолет, освещая картину сверху: копыта, латы и ватники, разъяренные, искаженные страхом лица, татары в лохматых ушанках, опрокинутые кони — явно с городского ипподрома, общая свалка. Какие-то злобные карлики выпрыгивали, как на пружинах, черными молниями проносились над массой сражающихся и падали там, где их вовсе не ждали.

Ровный гул стоял над Армагеддоном. И тут до слуха донеслись резкие немецкие ругательства. Белая крыса, притаившаяся у Ефима за пазухой, заворошилась и высунула мордочку. Ефим решительно двинулся на голос, отбиваясь и раскидывая встречных.

Там, в гуще свалки, среди вздыбленных лошадей худо-

щавый парень в кожаной куртке на голое тело шел навстречу, размахивая длинным мечом и таща за собой на смерть перепуганную Наташу, которая только закрывалась. Ефим сразу оценил решительность Вольфганга, который спасал Наташу. Иначе ее давно бы затоптали, забили. Услышав немецкую брань, Олег Евграфович из толпы вывернулся на проклятого фашистского выродка, стараясь достать его мечом, но запутался в своих простынях. Ефим видел, как криво усмехнувшись, Вольфганг сделал фехтовальный выпад и легко проткнул нападавшего. Бедняга сломался пополам и повалился, как белая кукла.

— Наташа! — отчаянно крикнул Ефим.

Наташа вскинулась, закричала, стала вырываться. Крепко держа ее, Вольфганг перенес взгляд на Ефима и тут же сделал другой глубокий выпад в его сторону — неуловимо блеснуло лезвие... И оно бы пронзило Ефима, если бы не неожиданное событие такого же молниеносного свойства. Не знаю, то ли возбужденная запахом крови, то ли стремясь к хозяину, то ли желая ему отомстить за предательство, белая крыса прыгнула в лицо Вольфгангу. Тот отшатнулся, и Ефим запоздало пырнул его забытым в руке секачом. Что-то хрустнуло. Парень с крысой на лице упал навзничь. Наташа плакала и обнимала возлюбленного.

— Олег Евграфович убит, — сказал он ей.

Почему-то все замерло и затихло кругом, когда они вытаскивали поэта из общей свалки. Просто на них перестали обращать внимание.

— Гоги, все под контролем? — спросила Марина.

Тот пожал плечами и кивнул.

Олег Евграфович, всю жизнь проживший в подмосковье, умирал на чужом затоптанном песке пустыни.

Вдруг он открыл глаза и посмотрел ясным разумным взглядом на склонившиеся к нему лица. Губы зашевелились:

— Любил он трудно, безответно

И стусевался незаметно,

— процитировал себя.

Помолчал.

— Хотелось бы издать... — усмехнулся. — А все-таки меня

не скальпель этого... профессора... Сергей-Сергеича зарезал...

И кончился. Тело его некоторое время остывало на ледяном к ночи песке — и понемногу растворилось, исчезло, совсем. Чтобы возникнуть в московской больнице, где после четырех, если вы помните, ему делали операцию.

— Что за вечная путаница у нас.. Его ищут, а оказывается, тело уже в морг доставили! — удивился дежурный прозектор, обходя свежие трупы на каталках, еще ждущие вскрытия.

Наташа и Ефим тоже долго не могли прийти в себя в своей разгромленной квартире. Наконец она согрелась чаем, но все равно, зуб на зуб не попадал. Как их оттуда вынесло? Нашего повествования это касается только краем. А для Гоги и вовсе не проблема.

— Знаешь, Ефим, — сказала Наташа, все еще дрожа, — а ведь это съемки нового супер-фильма были... Армагеддон... С новейшими спецэффектами... Может быть, Олег Евграфович совсем не умер... или умер не совсем...

— Не знаю, что это было, — покачал головой Ефим. — Но уезжать отсюда надо — и поскорей.

Вскоре после этой ночи начались поворотные события, которые привели к падению берлинской стены. Сам я супер-боевик «Армагеддон» не смотрел и не знаю, кто победил. Но судя по теперешнему состоянию нашего общества, победили тогда обе стороны — и Добро, и Милосердие. Да так и не примирились до сих пор со своей победой.

ГЛАВА 19

Рассказ Карена Арутюняна — двойника Иосифа Сталина.

Я родился в Ростове-на-Дону — в знаменитом южном городе. В молодости ничто не предвещало моей будущей карьеры. Окончил в Ростове Институт Рыбного Хозяйства и стал работать в рыбнадзоре. Рыбы, конечно, стало не так много на водных просторах Дона — и в плавнях, и в устье. Но икра и стерлядка была всегда. На двух столах: на столе Первого Секретаря и на моем. Так шли годы. Меня знали не только по всему Дону, но и на Волге, куда я ездил отдыхать к приятелю. Уважение, конечно. Я просторные усы любил

носить, чтобы в вино обмакнуть. Хотя посмеивались, смотри, мол, какие налимы на Дону водятся.

Но вот однажды приехали какие-то новички-браконьеры. Я ночью — за ними на моторке с сиреной, прожектором освещаю, из двустволки стреляю. Попугать. В общем, представление на полный ход. Подъехал, борт к борту. Московский кинорежиссер оказался. Так он при взгляде на меня чуть в воду не упал.

— Не может быть! Иосиф Виссарионович!

— Нет, говорю, Карен Арутюнович.

— Смотри, как похож.

— Да, говорю, похож. На человека похож, который твой незаконный улов конфискует.

А тот смеется:

— Счастье тебе, с твоими усами, Карен, привалило. В Москву поедешь.

С тех пор на Мосфильме работаю. Сколько я ролей переиграл. Меня вся страна знает. Не по фамилии, правда, а как Сталина. По совместительству играю. Знаменитый актер речи говорит, а если ходить надо, то меня пускают. Я хожу взад-вперед, взад-вперед, и думаю. Как он думал. Жена Дездемона и друзья по десять раз смотрели на экране, как я хожу. Очень убедительно, говорят, не отличишь, кто ходит.

С Лубянки смотреть на меня приезжали. Генерал беседовал со мной. Выбирай, говорит. Или мы тебя сейчас уголовникам кинем, не посмотрят, что ты Сталин, петухом тебя сегодня же ночью сделают. Или на всю жизнь — величайший почет. О жене и родных не беспокойся: спрячем где-нибудь в Колумбии, в Боготе, и на всю жизнь обеспечим. Как не согласиться! Что я добра своим родным не желаю? Главное, живым остаться, как вы считаете?

Окружили меня моими соратниками. Охрана серьезная. Живем в казарме, в полку при Мосфильме. В разные места выезжаем, народу меня показывают. А мне что — я привык. Только чего-то я не понимаю. Карен совсем не так глуп, чтобы думать, что его вождем сделают. Главное, думаю, живым остаться.

И вот вечером привозят, недалеко куда-то. Поднимаюсь с заднего хода по ступеням, оказывается, на мавзо-

лей, за мной Молотов и все остальные. Как взглянул — кругом черное поле на рыжем закате и вдали стены и башни какого-то города поблескивают.

Каганович говорит (умнейший мужик-филолог):

— Это обязательно Иерусалим. Я видел на картинке.

Народу на этом поле видимо-невидимо. Вертолеты вверху летают и светят на нас. Нет, видимо, все-таки новый фильм снимают. Из старой жизни. Мне велели речь сказать. И еще иностранец с другой трибуны орал. Я, помню, про добро, он — про милосердие.

И тут такое милосердие началось. Все эти древние греки, евреи и римляне как полезут друг на друга! С мечами, дубинами, пиками, нет, танков не было, но колесницы с косами, на больших колесах. Как на уборке урожая, руки и головы кругом отсекали. И откуда такого злобного дикого народа набрали? В Москве таких давно не видно. Верно, с Кавказа или с БАМа привезли.

На мавзолей стали карабкаться. Маршала Буденного резали. Маленкова с мавзолея в толпу скинули. Смотрю, мои соратники озираются, по углам прячутся, в каждой щелчке спасение ищут:

— Иосиф Виссарионович! Иосиф Виссарионович!

— Какой, я говорю, вам Иосиф Виссарионович! Я — Карен, честный сын Арутюна! — кричу, а сам думаю. Главное, думаю, в живых остаться.

Знал я там один тайный ход. Через канализацию — на берег Москвы-реки. Первым успел — еле выбрались. Огни в воде отражаются. Бассейн на другом берегу работает. Люди по секторам плавают. Красная буква М светится. А там — в тридцати минутах война идет. Люди друг друга убивают. Реки крови текут.

Пришел домой поздно. Наутро собрала меня жена Дездемона, в Ростов уехал. И никто меня там не искал. А потом и вовсе времена изменились. Денежная реформа. Вернулся в Москву, все тихо. На Красной площади теперь работаю. Привык. Старенький китель с погонами генералиссимуса надеваю, туристам позирую. За доллары.

А был ли фильм такой «Армагеддон» — и не знаю. Я на Мосфильм ни ногой.

ГЛАВА 20 И ПОСЛЕДНЯЯ

Через день хоронили Олега Евграфовича. Падал редкий неторопливый снег, впереди была еще вся зима, и снег не спешил покрыть белым целительным слоем все неровности и рытвины закаменевшей за ночь земли. Некоторые растения, прижавшись лопастями листьев поплотней к почве, готовились перезимовать под снегом. С крышами и брезентом уличных торговцев снег справился быстро, а на асфальт надо было еще падать и падать. Быстро проносились машины, из-под колес разлетались брызги воды.

Похоронный грязновато-белый автобус подали задом к дверям больничного морга. Но еще было время попрощаться.

У морга стояла кучка провожающих, почему-то более некрасивые и бледные лица, чем обычно.

Когда Ефим с Наташей подошли к широким дверям без вывески или таблички, все и так знали, он заметил в стороне прижавшегося к стенке Сергея. Тот поднял взгляд, но не подошел, стал созерцать связку почти неживых водянистых тюльпанов, безвольно повисшую в его руках.

— Какое несчастье, — примирительно сказал ему Ефим.

Тот даже как-то обрадовался.

— Камни в почках, все жаловался! Оказалось, рак, — и вздохнул.

Вздохнул и Ефим.

— Жалко.

Наташа молчала. Она вспомнила, как был убит и умирал на песке Олег Евграфович. Картина до сих пор (с подробностями) стояла перед ее широко раскрытыми очами.

— Одинокий прекрасный человек, давно его знаю, — продолжал Сергей. — Рассказывал о вас. Но не пересекались. Отдельно дружил, — Сергею почему-то было неловко, будто и его вина была во всей этой истории и он говорил, говорил.

— Может быть, можно где-нибудь издать, Ефим Борисович? Все-таки труд всей его жизни. Он мне каждый новый

отрывок, такой трогательный человек, читал, там ведь все наше время закодировано, и отлично написано, как «Евгений Онегин», сколько раз переделывал...

— Боюсь, в редакции не примут всерьез.

— Думаете?

— Скажут, напечатать, а зачем?

Сергей растерянно молчал.

Двери-ворота морга стали изнутри раскрываться. Сергей стал поспешно освобождать свои тюльпаны от пластика.

— Уезжаете вместе? — спросил, будто и времени уже не осталось и сейчас его соперник пройдет туда и уедет с Наташей — навсегда. Так показалось Ефиму.

— В Германию решили оформляться, — неловко ответил он.

— Счастливого пути, — не глядя на Наташу, сказал Сергей. Но было понятно, что сказал ей. И первым вошел в открывающиеся дверь-ворота.

— Граждане, все, кто желает попрощаться с усопшим, заходите, пожалуйста, — пригласил человек в кожаной кепочке, под глазом которого красовалось синее родимое пятно.

«Всегда — как будто вчера подбили, — заметил Ефим. — Он там ждет. А ведь подумал, будто действительно ждет. Может быть и ждет». И, держа перед собой букет подмосковных лиловых астр, двинулся со всеми остальными в так называемый зал гражданской панихиды.

Это было пустое высокое помещение, обшитое фанерой, напоминавшее ангар для спортивных самолетов, слишком большое для одного гроба, стоящего на трех стульях. Было столько воздуха и пространства — теперь уже никогда не понадобится резко осунувшемуся носу и прикрытым глазам, на лбу венчик. Нет, не похож на себя. И не ждет никого. Только руки, сложенные, как и подобает рукам покойника, сохранили свою артистичность и рельефность. Вместо того, чтобы вложить в них ручку или карандаш в последний раз, кто-то заботливо поставил тоненькую свечку. Но руки не могли ее удержать и все время приходилось серый стебелек поправлять, чтобы растопленный воск не капал на кисти рук, хотя тому, что здесь лежало, было уже все равно.

Вошло несколько человек: пожилой невзрачный с бумажным пакетом, старые женщины, соседка сверху Вера Ивановна с девочкой, которая все оглядывалась на похоронный автобус, видимо, боялась, что уедет без нее.

Человек разорвал бумажный пакет и вынул оттуда на свет горшок с зеленым растением. Поставил горшок на бетонный пол возле ног гроба. И тут Ефиму показалось, что солнце заглянуло в пустой ангар. Радостно блеснул в зелени продолговатый плод, лимон.

— На могиле посадить надо, — любясь, помечтал пожилой.

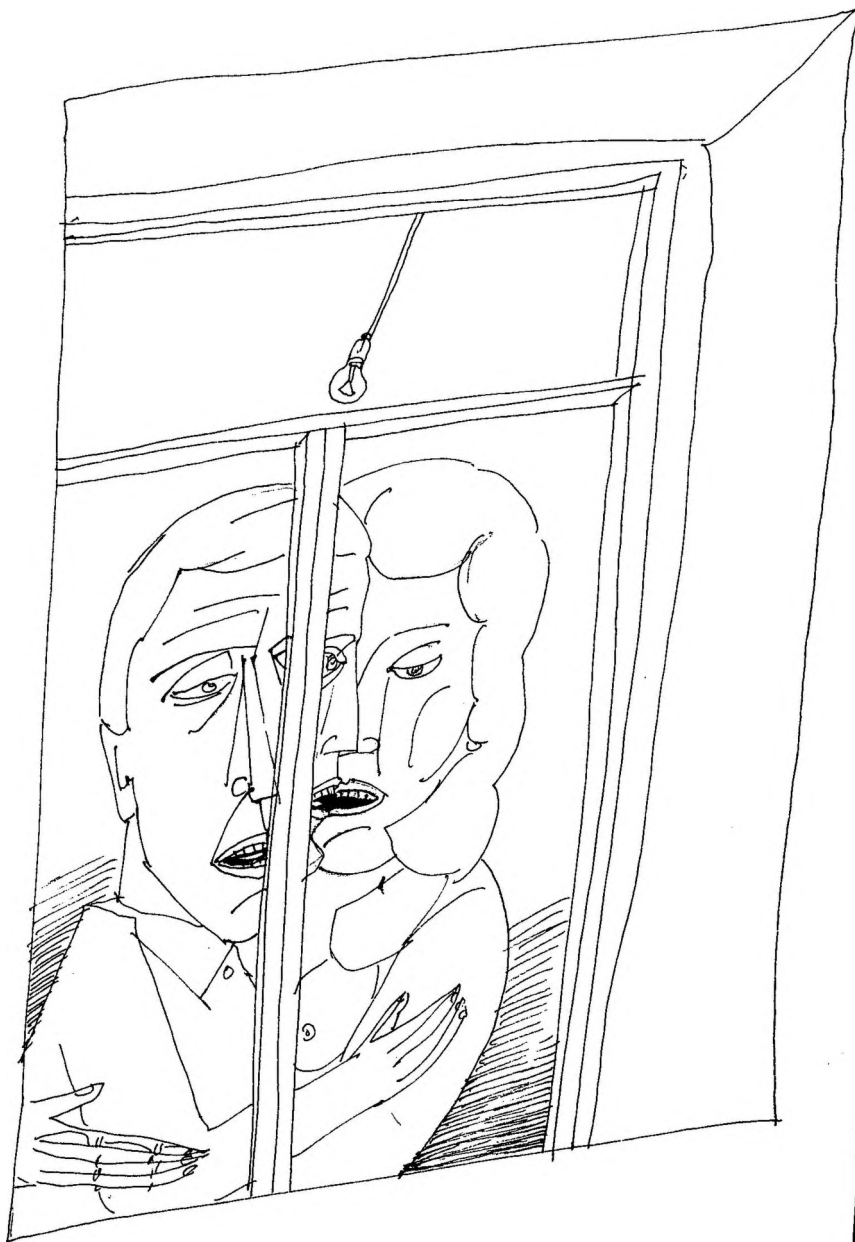
— Не положено, — так же любясь лимоном, возразила Вера Ивановна.

— На могиле другие растения сажать надо, — авторитетным тоном сказала старушка, — каменную траву, аютины глазки можно. Еще такую путаную травку. И то только через полгода, когда земля осядет.

— Родственники прощаются с усопшим, — скороговоркой сказал грузчик.

Вера Ивановна подошла, ведя дочку за руку, поцеловала Олега Евграфовича в лоб, горько перекрестила и облегченно заплакала. Девочка, резко обратив назад черную головку, во все глаза глядела сквозь раскрытые двери на давешний белый автобус, куда со скрежетом вдвигали другой гроб, дубовый, с медными ручками.

Это был не наш автобус. Наш автобус приехал совсем старый, черный, с желтой молнией на боку. Почему — не знаю. И гроб наш был простой, сосновый, обитый красным кумачом. Вот и все.



Бабье лето и несколько мужчин

ЧАСТЬ I

ОТ АВТОРА

Бабье лето засиделось у нас в гостях. Окно мое вечно распахнуто, и с рассвета ко мне заглядывают косо освещенные деревья. Но и холодком тянет тоже. Свежее синее небо обещает безоблачный день, боюсь, не сдержит своего обещания. И почему, вас спрошу, литература отвернулась от жизни и природы и занялась сама собой? А как замечательно было читателю Ивана Тургенева читать про осень, а на дворе весна, и солнце — другое солнце, и мокрядь, но другая мокрота — и кашель, и капель!.. Почему мы оставили эту привилегию описывать что-либо соцреалистам? Ведь их, скорее всего, и перечитывать не будут. Или какой-нибудь модернист возьмет и переделает все по-своему. И осень у него будет похожа на весну, весна — на осень, а герой и во все ни на что не похож, так, загогулина. По совести говоря, у самого руки чешутся. Нет, пока просто и честно опишу все, что стоит перед глазами: хотя, трогая струны души читателя, как писали в девятнадцатом, можно скорей оживить эти строки и приблизить их к жизни. А если не трогать эти струны?

1

В парке на березах появились, высветлились первые желтые косы. Мощно кипами с краю коричневеют клены. Эти — розовые, а вот, хоть и солнце на него не попадает, висит среди веток весь лимонный на просвет кленовый лист.

Липы желтеют не спеша, выборочно, с достоинством, благородные дворянские деревья.

Но вот полетела с высоты лиственная мелочь, какие-то эфемерные погоны, медали, смахнешь с куртки — просто сор. Постой, подыши осенью.

2

Отец, помню, рассказывал мне про войну. Въехали в немецкий городок рано утром. Туман, тишина. «Останови», — говорит шоферу. Вышел из кабины отец: мостовая наискось, тротуар и сразу — дубовая дверь в лавку. Попробовал — не заперта, видно, хозяин сбежал, боялись нас немцы. Вошел, фонариком посветил: чудеса! В ювелирную лавку попал. И все на своих местах, все цело, мерцает. Отец недаром старшиной служил, прямо с витрин горстями часы, ожерелья, все сверкающую мелочь стал сгребать в свой солдатский вещевой мешок. Медлить нельзя было. Минометный обстрел начался.

Увязал отец мешок и забросил его в кузов полуторки. «Погоди», — сказал шоферу. И отошел за угол, хоть и в тумане. Как шарахнет! Шофер убит, половины кузова как не бывало. Пропал клад. А отца спасла городская его привычка: не ссать прямо посреди улицы.

А сегодня я подумал: вдруг это чудо — все эти часы, золото и бриллианты — сплывались тогда в один слиток (чего на войне не бывает!) и перенеслись силой взрыва лет на пятьдесят вперед. Выйду я сейчас в осенний парк и увижу слиток, поблескивающий на темной мокрой дорожке.

3

Гляжу на большие ржавые листья ольхи и каштана, полукругом налипли они на мокром асфальте. Это осень разложила мне веер листьев, и я доволен: сплошь благородные короли, дамы-бубны и черви. И я при своем интересе. Бубны, правда, не гремят, зато черви роют свое, роют.

Погадай мне, осень, о прошлом. Какое нагадаешь, такое и будет.

Интервью.

ГАЛЯ АККЕРМАН. Ну а дальше?..

ГЕНРИХ САПГИР. Дело в том, что очень быстро получилось так, что началась война. Я уехал в город Александров, где тогда работал отец. (Жил в Москве, а работал в Алек-

сандрове.) Так что мы с матерью и хромящим отцом (в одной из своих поездок он был ранен в ногу), что называется, эвакуировались — за сто километров в тот самый день, когда немец подошел к Москве, 16 ноября. Помню, ахало, ухало, огромные алые — ночью стояли алые горизонты, там был фронт, был виден — бесконечные налеты, бомбы летали и падали всюду...

Безвластие было в Москве. Все раздавали, я прекрасно помню, как из магазина с мешками бежали взрослые, подростки оглядывались. А никто за ними не гнался.

ГАЛЯ АККЕРМАН. Как же так?

ГЕНРИХ САПГИР. Просто раздавали населению рис, муку, сахар. А войска уходили — обозы с лошадьми, пушки везли, уходили. По шоссе. Через центр.

И тут же шли в обратную сторону, но не эти люди, а совсем другие: обученные сибиряки в добротных полушубках с автоматами за спиной, с лыжами на плече. Я теперь думаю, война любит хорошую, вкусную пищу, правда, стариками и детьми тоже не брезгует...

Эти, отступающие, шли — такие потрепанные, усталые... Какого-то рыжего немца вели, может, австрийца, я не знаю, такой снежок легкий падал...

ГАЛЯ АККЕРМАН. А...

4

...**А**то летит зеленый листок. Еще и пожелтеть не успел, черенок уже слабо держится, не тянет соки, омертвел. Мне кажется, дереву облететь не больно. И ветки устали за лето нести груз листьев. Сбросит все — и дело с концом!

Из письма.

...стихи, без сомнения, реалистические, но уже в особом творческом аспекте с новыми, свойственными только вам гармониями. Вот тут реализм сам говорит за себя, как самое страшное, в скрытом, как бы бредовом, надреальном состоянии.

Обычно за реализм считают тот глубокий сон, когда все ясно, и понятно, и просто, и даже мило, и даже хорошо.

Но во всех и во всем еще есть некое, как ужас, пугающее, скрытое, но вдруг выявляющее свою тайную личину.

Мы подсознательно стремимся к пробуждению — нам страшно, но некое тайное нас толкает на это. Это пробуждение, от сна мирной реальности к скрытой реальности, мы ощущаем как неизбежное, неотвратимое.

И недаром же все мы отдаленно чувствуем: смерть — пробуждение. И болезни нас томят, и кошмары, и одурманиваем мы себя алкоголем, табаком, морфием, элениумом, кокаином, потому что та тайная реальность и кажущаяся сонной реальность нашей повседневности зовут нас к пробуждению.

Трансцендентальный реализм — это реализм нашего интеллекта, но вот реализм тайных эмоций страшен, неотвратим и неизбежен: он неизбежен!

Конец лета был зело хорош, но теперь уже все, конечно. Осень.

Желаю успеха.

Ваш Евг. Кропивницкий

5

Он вычертил линию своей жизни еще в Харькове, как схему пистолета-пулемета, которая висела на стене его комнаты, которую он снимал в Москве, рядом с портретами Мао Цзэдуна и Че Гевары, которые были его юношескими идеалами, которые... Он прочертил эту линию так же добросовестно и ровно, как шил тогда брюки или сшивал тетрадки своих стихов.

И пролегла она, линия, длинная, как его подруга, — одни ноги: Париж где-то у колена, педикюр в Риме — вскидывая вверх, через океан, уперлась в Бродвей, стройные лядвия — икры-лодыжки-ступни.

А потом эта линия бросила его, как, впрочем, и та женщина, это была женщина-линия, и она не могла, чтобы стал ее парень просто политиком. Вытянув ногу, она подкинула его и забросила на пятый этаж в маленькую полуквартиру-полустудию на улице Мазарини, в эмигрантский быт.

А ведь он ей всегда был верен, он любил все ее изгибы, никогда не мог себе позволить: «К черту линию!» И когда в засаде, там, в Сербии, он следил взглядом мягкие линии гор или когда очутился ниже ватерлинии корабля и захлебывался соленой водой, когда бил себя по пальцам линейкой, еще в детстве, чтобы научиться терпеть, он служил своей линии жизни, а она ему, можно сказать, всегда изменяла.

Иначе седеющий, коротко стриженный, в черной косоворотке — почему он не президент? Почему он только писатель? Интересно, убил ли он кого-нибудь или так и промечтал всю жизнь? Убить не запланировал, думаю, а то бы убил.

6

...на Алтае в городе Бийске, где никогда потом не был. Просто родился. Что за карты выпали отцу — страстному игроку и нэпману тогда: такой расклад, или виноват усатый?

Горы вдали уже порыжели и побурели, как сейчас, не помню. Шли долгие дожди, и мне явно не хотелось появляться на свет. Но время пришло, ничего не поделаешь. По случаю моего рождения отец созвал в гости весь город: и толстого владельца завода «Ландрин», и его тощую манерную жену, и первого секретаря, и его подхалимов, и хозяина обувного магазина, с которым постоянно имел дело, всех не запомнишь. В общем, были все: такие усатые, бритые, страшные — и тыкали в меня пальцем. А я смотрел на них круглыми глазами и все не мог к ним привыкнуть, до сих пор не могу.

Мишке — среднему брату — было девять, а Игорь был постарше — десять исполнилось. Два мальчика в матросках бегали между гостями, ползали под стол, в общем, радовались по-своему. И тут Мишка, негодяй, уговорил серьезного Игоря подкрасться к маме, стать за ее стулом, притаиться. И вот наступил торжественный момент. Один из отцов города, краснолицый в кителе сибиряк, встал и произнес прочувствованную речь, посвященную моей маме — красивой женщине, надо сказать. Все поднялись чокаться и мама тоже: в одной руке хрусталь, другой прижимая запеленатого меня к груди. И тут Игорь выдернул стул из-под мамы, чтобы смешнее было.

Семейное предание гласит, что выпороли обоих: Мишку и Игоря. Этого всего я не помню, но больно мне до сих пор. И когда великий киноактер произносит с экрана: «Когда моя бедная мама уронила меня с четырнадцатого этажа», я чувствую в нем нечто родственное.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

Все шевелится вверх и вниз — и вдруг все стихает. Не так уж там вверх поредело, а столько листьев набросано, как на поле сражения. Если приглядеться к ним, сохлым и жухлым, — судороги, муки агонии, рваная плоть, все вповалку — Бородино какое-то. И туман стоит...

— Крыша поехала! Крыша поехала! — кричал кто-то так пронзительно, даже оскомины во рту.

И действительно, крыша старого здания на площади поехала, приподнялась, и все утонуло в сумасшедшей пыли и грохоте направленного внутрь взрыва. И зачем вспомнил?

«В доме Т. Оглы на ул. Ползунова, 9 главарь банды приказал хозяйке...» Дочитать не успел, сегодня особенно сильный ветер, унесло обрывок газеты. И хоть мне было любопытно, что приказал, не гнаться же по переделкинским улицам за белым клочком и не ловить же его на ветру.

Но все-таки что приказал придурок? Мне кажется почему-то, что ползать. Почему ползать? А почему на улице Ползунова? И кто такой Ползунов? И куда делась вся моя жизнь вплоть до настоящего момента? Лишь ползают вокруг истлевшие дубовые листья, подползают ко мне... Усталость подкрадывается. Боюсь, вдруг обрушится все, как это старое здание.

7

С вечера шел дождь, и не «тихой переступью», а шумел вверх по крыше ровными накатами океанских волн. Поэтому бар, где мы обычно собирались втроем, в подвале, мы так и прозвали: «Подводная лодка».

Достойные обломки шестидесятых, разбитые инфарктами, инсультами, вообще потрепанные жизнью, мы пили

черное молдавское «негро пуркару». Пить мы умели и выпили за свою жизнь много.

Драматург с блеклыми, запрытанными в складки кожи глазами, подсмеиваясь сам над собой, рассказывал, как еще «тогда» здесь, где мы сидим, какой-то неизвестный горский писатель, пишущий на никому не известном горском языке, горячо уговаривал его лететь в Дагестан и, разгоряченный коньяком, обещал просто царский прием. И как драматург полетел туда со своей любовью, со своей тогдашней любовью, тогдашний процветающий он. А на деле роскошный прием оказался захудалой гостиницей с тараканами, уборная на улице, и даже полотенце достать было невозможно. И ему там стало плохо, ему стало плохо, тогдашнему, процветающему. Я не спрашивал, каково было его женщине, потому что со мной была такая же история в Гаграх. Мне казалось даже, что мокрое белье, клопы и тараканы у нас были общие. А третий — скромный, «мужичком», писатель — сочувственно помалкивал. А главное, та, которая летала с ним тогда, была и сейчас рядом. За стойкой бара, сильно накрашенная и, кажется, еще привлекательная. Слышала она или не слышала? Или слушала, как шумел вверху хвойный подмосковный океан?

8

Засохший листок в сеточку, вся мертвая ткань выпылилась, а прожилки остались, держат основу.

Такое же было лицо у очень старого писателя, одессита, аристократа пера. Ну, конечно, была в нем подлость, была, но столько прошло, столько выветрилось со временем, столько похоронил. Теперь от него веяло забытым благородством, и даже старческий запах кипариса, душистого табака, потертой шерстяной ткани — все располагало к нему. А главное — с какой брезгливостью и презрением, с какой ненавистью он смотрел через стол на своих визави — советских «письменников». Длинный стол был накрыт в саду. Стоял еще август или уже сентябрь, было сухо. Вдали виднелась дача-особняк.

А как просветлели, как дьявольски повеселели глаза, когда молодой худосочный поэт-цуцик напился и полез цыплячьей грудью буквально на стену, на штангиста — чемпиона Союза, друга хозяина. Распаляя себя в праведном гневе, он выкрикивал нечто нечленораздельное, но очень обидное для всех присутствующих. То, что думал ты про них всегда. Чемпион так удивился, что стал успокаивать юнца. Под шумок цуцика выкинули. «Не приглашать больше!» Как ты ему завидовал! Пойдет — и больше «не приглашают». Если бы ты был этим болваном-штангистом, ты бы всех запросто передавил.

Тополиную тлю, оказывается, и давить не надо. Поставишь большой палец, чуть касаясь, — сама под ним шелковой пылью рассыпается.

Ползет по столу поздняя божья коровка. Вдруг остановилась, замерла, лежит мелким камешком. Вот оно что. Кисть моей левой руки шевельнулась, как ожившая гора.

Боже, для каких-то существ я большая гора. А сам всего-то — хуже, чем боюсь, — опасаюсь.

9

Живет вверх от Сретенки в пыльном переулке, во дворе, с давних времен стареющий, но все еще не старый поэт. Тотский седой джинсовый парень. Иногда думает обо мне. Думаю, не может не думать, потому что дружим всю жизнь.

Как тебе я и моя осень представляются? Как мимолетные тени? Вообще одни слова или вполне реально? Вот я вышел прохладным утром из двухэтажного дома в парке. Дом как на ладони — на асфальтовой площадке — салатно-белый, с ненужными колоннами, помещичий дом пятидесятих. Вот я здороваюсь с гуляющими, отдыхающими, работающими, то есть размышляющими на ходу, притворяюсь, что знаком, что помню их. А кое-кого я помню очень хорошо, и ты понимаешь, встречи с ними я стараюсь избежать.

Ты видишь меня со спины: углубляюсь в парк. Оглянувшись: никого. И поскакал по дорожке козленком. Веселый, толстый, усатый, схватил в зубы обломанную ветку, встал на четвереньки и погнался за хвостом мелькнувшей в кустах собаки. За розовой сойкой лечу, мы мелькаем в чаще — два пестрых пятнышка. Упал, зарылся в сухую листву, мне нравится, как она шуршит. Подбрасываю вверх листья. Мне хорошо.

И никто не видит меня. Только старый мой друг из окна своей московской квартиры во дворе Ананьевского переулка.

В другое, гораздо более раннее, время взрослые девочки на нас, маленьких, надевали кленовые венки. Короновали. И вели на самый верх белой московской колокольни. Вереницей детишек. Мы играли — во что, не помню. Но так было надо. Карабкались. Высокие ступени, чья-то липкая ладошка в руке, синее-синее над Москвой.

10

А как видит меня теперь еврейский поэт, покойный Овсей Дриз? «Я издал полное собрание моих зубов!» — шутил он, возвращаясь от стоматолога, незадолго перед инсультом. И у него получалось: шобрание.

Полное собрание его зубов осталось в земле на Востряковском кладбище. Неправдоподобно густая шапка седых волос всегда казалась мне париком. Костюм сидел как на вешалке. А сам-то он где?

Небось нарастил новое мясо и другие кости и бегаёт теперь смуглый до черноты мальчуган по серым худосочным холмам возле израильского поселения. Долго стоит и смотрит на ослепительную полосу моря вдали. Нет, не может он так расстаться со всем этим и ещё одну жизнь проживет.

Или — он видит меня очами своей души. Сквозь бледные кленовые листья на просвет моя фигура. И оно, мое тело, лунно-прозрачно: сквозит прошлое, будущее и все милое нам на земле.

Жил-был человек. И так прожил свою жизнь, будто и не жил никогда. А может быть, жила-была пустота?

Эту сказку я каждый раз себе рассказываю перед сном. Тогда и засыпать не страшно.

Пустоты все обширнее там, среди верхушек берез, а здесь еще пируют, захлебываясь яркими красками, кусты и осинки. Во всяком случае, как налетит поверху ветер, аплодисменты слышу. Осыпаются аплодисменты.

Красный обшлаг желтого рукава заслонил на мгновение бокал. Когда отошел злодей, бокала на итальянском столике уже не было. Да он еще и фокусник!..

Моцарт был такой пухлый, бритый и наглый, будто он сам — Сальери... Он ткнул пальцем в клавиши, актер явно не умел играть, даже подобия не вышло, лучше бы не касался...

Я хотел бы, чтобы Сальери был этой грустной осенью, а Моцарт — голубым беззаботным небом...

Пусть поднимется этот красно-желтый атласный занавес и все листья улетят в небо. Как птицы...

Тогда останемся мы на земле одни — заметные мишени. Хорошо, если в сторону за березу пописать отойти успеешь.

ЧАСТЬ II

НЕ ОТ АВТОРА

Я не автор, даже не человек, просто я могу заглянуть в его рукопись. Какие-то наблюдения, воспоминания, причем не все его лично. Из этой мозаики он хочет склеить нечто единое, по настроению хотя бы. Не новая идея. «Бабье лето и несколько мужчин», — крупно начертил-напечатал вверху страницы. Не знаю, можно ли меня назвать мужчиной, но, несомненно, я активное создание. Так и подмывает меня вмешаться в его рассказ и сразу после его строк поместить свои. Я ведь тоже впечатлительный по-своему. Это можно будет сделать ночью, ког-

да он спит в стороне этаким бугром одеяла, в комнате холодно. Он закутался с головой и не увидит, как на компьютере сам собой появляется текст, компьютер негромко гудит. У него он постоянно включен.

1

Странные люди, они дышат осенью, хотя известно, что временем года дышать нельзя, это достаточно отвлеченное понятие. Эти люди все путают. Скажем, поэт вплетает толстые витые женские волосы между ветвями березы. Метафора — странная идея. Чисто человеческая. Я бы осень нарисовал так:

Березы, осинки, сосны, кустарник, сторож, гуляющие, дорожки, небо, собака, автобус. Желтеют, краснеют, темнеют, зеленый, ругается, смотрят, уводят, синеет, бежит, едет. Эти и эти, там и повсюду, тот и туда, оттуда и громко, нежно и быстро, вонючий.

2

То, что автору рассказывал отец про войну, — обычный случай. На этом месте встал — убило, перешел на другое — спасен. Это просто варианты перемещений и траекторий. И стоит только подняться немного над реальностью, можно увидеть все целиком. Но человек в пути, ему некогда видеть все, как оно есть, даже взглянуть кругом не всегда себе позволяет. Он постоянно глядит в себя, а в себе он видит вселенную, и его не смущает, что таких вселенных множество. Одна вселенная спотыкается о другую, одна другую вытесняет, и приходится признать: одна уничтожает другую. И все эти вселенные — одна-единственная. В их физическом мире этого не может быть. Но у людей мистическое сознание, и они живут вовсе не в мире, а в своем сознании.

Я бы выстроил воспоминания отца так:

Я, не теперь, а тогда: война, Германия, красивые лужайки, особняки крестьян, неправдоподобно красиво, живут же люди, утренний туман, куда-то едем, похоже, город, подо-

жди, я сейчас... Боже мой! Никогда не видел столько золота и бриллиантов! Взять, имею право, а что? победитель, ведь они у нас, я богат, надо еще дожить, доживу, бьет, сволочь, близко, не успеть, успел, все забрал, ссать хочу, подожди, надо убрать, Господи! Я богат, ну, давай пидай, писька, миллионер «с головы до ног», почему Шекспир? Рядом удаило, ну, кончай свою струю, что же товарищи? Где же мешок? И машину разнесло, а могло бы меня, где это? Что ж это, ведь я же в мешок, и завязал крепко, сволочи немцы, будто приснилось, надо искать своих, проклятый туман!

3

К третьему отрывку. Здесь даже сказать нечего. Человек постоянно находится в неведении насчет своего прошлого, какое оно было. Помнит далеко не все, а как ему надо, так и складывает свое прошлое. То любит, то ненавидит, в зависимости от. Любопытные узоры получаются. А государство? Как выгодно сегодняшним чиновникам, так они и выстраивают историю. Оппозиция кричит: погодите, все было не так; все было совсем наоборот! Оба относительно правы. Потому что было все. Все, от чего бежит изворотливый ум, который постоянно нуждается в допинге, в самооправдании, тогда у него появляется цель и силы дальше жить. Если бы я был человеком, я бы сказал, что разум — это самозванец Дмитрий, который внушает всем и себе, что он царь. При том сам чувствует свое самозванство и каждую минуту боится, что его свергнут с трона. Но будет ли идущий за ним царем, а не еще одним самозванцем? Скажете: метафора? Нет, до метафоры я не дорос, просто аллегория.

Интервью я бы изобразил так:

Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман.

Александров, Москва, Александров, Москва, Александров (в перспективе).

Утро, снежок, ахает, ухает, страшно, но здорово, мать тыркает, отец хромает, я смотрю: страшно интересно. Лошади, подводы идут через Москву, это же праздник, иллюми-

нация, весело-весело, грабят, несут, мешки, коробки, бутылки, все такие занятые, а эти растерянные, могут убить, русские, австриец, солдаты, пленный, ребенок, я, кто я? Сам, сам, сам! Вечный, радостный! Никогда не убьют.

4

Автор смотрит на падающий зеленый листок. Здесь его посещает мысль о довременной смерти. А дерево, видимо, род человеческий. Нет, это опять он сам, несущий груз своих грустных мыслей. Грустных – груз. Грустеподъемник, грустянин, грустевик. Возникают слова, я представляю, что это такое. Грустевик – грустный человек, весь обшитый грустью, как броней. Он еще и груздь – такой большой, такой лесной и неподъемный. Грустевик прячется где-то в развалинах, подстерегает ничего не подозревающего старика или влюбленную пару, чтобы выстрелить из грустья. И сразу из прошлого выскочат фантомы – любимые женщины, близкие люди, умершие уже, и начнут отщипывать по кусочку души. Неприятное зрелище для таких, как я. А вам, людям, это даже нравится, вся эта грустятина. Вы живете в том, чего нет, да и не было никогда, в том, что вы сами придумали на досуге. А вы говорите, метафора.

Конечно, некоторые из вас чувствуют иное, скрытое от них. И, поскольку это совершенно непохоже на весь их придуманный мир, пугаются до ужаса, до онеменения, до судорог души. Я бы так переписал письмо одного из таких, мудрого старого художника и поэта:

Некое, скрытое, страшное, тайное, чуждое, неизбежное, неотвратимое, невыразимое.

Сон, бред, бредовое, меня уничтожающее, боюсь, боюсь, себя боюсь, соседей боюсь, мать еще жива, матери боюсь, боюсь ту, кого люблю, боюсь ту, которую разлюбил, боюсь всех, кого не люблю, боюсь идти за картошкой, боюсь ехать в город, боюсь электрички – и не стыжусь этого, жизни боюсь, а не смерти, вот моя тайна и скрытое, тайное, чуждо-враждебное, страшное, неотвратимое, неизбежное, невыразимое, ночью сердце, слышу, стучит.

5

А этот, про кого ревниво и коротко упоминает автор, — любопытный экземпляр человеческий, прирожденный лидер, но беда-писатель. Как лидер, он любит купаться в людях, возвышаться над ними, учить сам не знает чему, главное — поза и уверенность в том, что это — реальность, а не приснилось тебе в одночасье. И когда эти куклы падают или их сшибает, как кегли, время, они снова становятся обыкновенными людьми и сами недоумевают, что такое происходило с ними. Но, я вижу, слишком много терлись они среди человеческого такого разного, такого дерьма, их начали всем этим — пряной начинкой. И главное — от них разит, а они радуются, будто это «Кристиан Диор». Они печатают шаги по-командирски, они произносят речи, лишь бы слушали, слишком часто им кажется, что на них взирают с восторгом. Остается их только пожалеть, сами-то они никого жалеть не умеют. А этот парижанин из Харькова вообще идеолог войны как здоровой мужской прогулки, где мужчины, шутя, борются на лужайке, походя любят подруг и радуются атмосфере, когда стреляют. Слишком много потного тела для меня.

Убить, убить, убить, убить, убить, что это? Разве это я? Кто это? Меня нет, нет убитых, нет страдающих, Бога нет, никого нет, кто меня подменил мною же? Кто?

6

Автор описывает случай среди алтайских предгорий на празднике в честь его рождения, который происходил, как я понимаю, в зале бывшего Дворянского собрания или в реквизированном купеческом особняке. По стилю я вижу: автор крепко надеется на это. Если мама держала его, автора, на руках, то он мог видеть своими бессмысленными глазками лепных ангелочков на потолке и хмельные головы окружающих. Автор сетует, что его уронили, но это по рассказу очевидцев, было ли это? Может быть, старшие братья только хотели уронить, а выпороли их за другое. Почему автор не

вспоминает широкий офицерский ремень отца? Что, его не били никогда? Даже мать стегала его ремнем. Отсюда страх.

А пиршественный стол. Я представляю все это так: усы, усы, борода, глаза, стеклянные, страшные за стеклом глаза, синие щеки, ус приближается, приближается, мне страшно, хочет уколоть, он колет меня, я кричу изо всех сил, меня трясут, я кричу, меня трясут сильнее, мне страшно, я кричу, закатываюсь в неслышном плаче, мне протягивают большое, теплое, родное, вкусное – сисю, еще всхлипывая, чмокаю – теплое, сладкое течет в меня, успокаивает, но я не забыл, нет, я не забыл эту щетку, колющую нежную кожу, эти ножи, этот стеклянный навывкате глаз.

И теперь, глядя на опавшие листья, я вижу: голые женские бедра, сморщенную старушечью грудь, коробящиеся на огне «испанские башмаки», порванные кривящиеся рты, вывернутые розовые влагалища, и влага – стеклянный навывкате глаз, на котором уселась улитка.

Вот что бы я написал на экране компьютера, будучи автором. А потом бы все это стер: вон из подсознания!

7

Об усталости говорит автор. Листья вокруг него, видите ли, ползают. Листок газеты унесло. И автор тут же вообразил себя каким-то сумасшедшим, трясущимся, несущимся, простирающим руки к бумажным обрывкам, к летящим листьям по пустынной дачной улице. Такой силуэт из себя вырезал. Даже в печали люди любят себя собой.

А печаль по поводу наступающей старости. Хоть и нечем мне сочувствовать, а жалко его, автора. Ведь я тоже отчасти почувствовал себя человеком, читая его обрывочную историю. Хорошо, что не мемуары, а то бы я совсем скис.

Воспоминания приятеля его – драматурга – я бы изобразил более реально. Не что говорили, а что думали.

ДРАМАТУРГ. Сидит рядом за стойкой – и бровью не ведет. Ничего еще, как ноги раздвигала тогда, как бурно полоускала ими в воздухе. Что-то, кажется, чувствую. Богиня была – белая и большая, когда в кровати.

БОГИНЯ (за стойкой бара). Чего он там врет? Ну, летала с ним в Дагестан, он ведь не знает, что и с его другом тоже и туда же! И еще — было, есть что вспомнить, теперь уж не то. Жалко, конечно, его, еле ходит. С палочкой. Палка у него стояла толстая. Господи, прости.

ДРАМАТУРГ. Слышит, как про нее рассказываю. Мог бы и рассказать про все наши выдумки: и как подушку под спину ей подкладывал, и как валетом, и как сосать заставлял, и приятеля однажды привел. И ничего, как с гуся вода с нее все сошло. А ведь сколько лет... Охота снова на нее залезть, сердце не позволяет.

БОГИНЯ. Хорошо, что я мини-юбку сегодня надела и прозрачную кофточку, пусть смотрит. Наверно, больше ни на что не способен. Муж обещал зайти.

ДРАМАТУРГ. Какая волнующая задница, как она поводит из стороны в сторону ею, знает, чувствует. А ведь там сзади закуток, комнатка сзади есть, если дальше пройти. Повалить бы ее там на пол! (Громко.) Налей нам еще по двести вина.

БОГИНЯ (еще громче). А тебе не хватит?

ДРАМАТУРГ (вздыхает). А куда деваться? Сверху дождь, океан шумит. Только и сидеть здесь, в «Подводной лодке». Вечер просидим, приму лекарства и на боковую. Придешь в номер? (Про себя.) Ведь не придет, пообещает и не придет. Значит, все.

АВТОР (некстати). А мне кажется, что тогда, в те времена, не говоря о девушках и гостиницах, и мокрое белье, и тараканы, и клопы у нас были общие. Выпьем?

8

Тоже сценка, не очень понятная мне. Ну, я понял, действие происходит в вонючие советские годы, сидят в саду за длинным столом в основном старые, обласканные властями, прославленные газетами писатели. И все они, честно ненавидя друг друга, общаются постоянно. Ведь живут в одном поселке, отмечают юбилеи друг друга, заглядывают за заборы и в сберкнижки соседей, доносы пишут регулярно, как и романы. Старые лакеи в засаленных фраках, со-

бравшись, воображают себя господами. Но в любой момент может появиться настоящий хозяин и крикнуть: «Цыц!» В лучшем случае прогнать. Отсюда — постоянный страх. Вообще я заметил: чем выше, тем страха больше, тем он гуще.

Одно непонятно: почему такое почтение у автора к этому ветхому одесситу, потрепанному анекдоту, можно сказать? всю жизнь прожил среди своих и еще смотрит на них свысока, как-то особенно всех ненавидит. Я просчитал, что здесь изображен ваш Валентин Катаев на юбилее вашего же Льва Кассиля, хотя все они для меня на одно лицо. Но ведь пришел Валентин ко Льву, не отказался. Сидит, пьет, ест и ненавидит. Извращение какое-то.

Я бы со своей нечеловеческой точки зрения расставил бы их всех по порядку, как сидели:

Валентин Катаев, зяблик мельком (пролетел), Степан Щипачев, лесной клоп на скатерти, Юрий Власов, бутылка водки и бутылка воды, безымянная старушка приживалка, еще бутылка водки (почему-то вся закуска ближе к юбиляру), помидоры, буйствующий цуцик, божья коровка у него на шее, соленые огурцы в тарелке, еще один Степан Щипачев, поросенок с хреном пошел, дальше бывшая шлюха Валентина Сергеевна, два пионера, Назым Хикмет, кагэбэшник с плоским затылком, а там уж осетрина, севрюга горячего копчения, балык, икра и сам юбиляр, худой, как палка балыка, в очках, несколько недоуменно посматривающий на присутствующих: а зачем вы все сюда собрались? По поводу метафоры: от него пахнет какой-то интеллектуальной копченостью для меня.

Над белым столом яблони склоняют свои отягченные румяными плодами ветви. Встанешь — бум! — тяжелое яблоко ударит тебя по затылку. Кто-то раздавил лесного клопа, и водка пахнет клопами. Всех можно только пожалеть.

Если бы все это не было воображением, я бы решил, что люди приобрели новое качество, нужное им сегодня, кото-

рое может изменить все их последующее существование. Старый друг, который живет в Москве, видит из своего окна парк за оградой, там два здания – старое 50-х и новое 80-х – и гуляющих по аллеям писателей – старых 50-х и новых 80-х. Причем 50-е думают, что они ничего, а 80-е – что они лучше.

Из своего окна, из которого ничего невозможно увидеть, кроме зачуханного двора, друг видит автора почему-то со спины, будто он смотрит из окна комнаты, где автор теперь живет. Сам себе телевизор, чудеса! Попахивает фантастикой, но в принципе возможно. Вообще я заметил, что люди за всю историю ничего не придумали, что бы потом не осуществилось. Примеров тому масса. И если люди придумали Мессию, то Он явится, будьте спокойны. И Страшный Суд достаточно реален. Бесконечно малое оборачивается бесконечно большим и замыкается тем самым на конечность. Мой компьютер доказал Его существование.

Я изобразил то, что мог бы увидеть друг автора, если бы посмотрел внимательней:

1. Автор стал собакой.

0. Собака не сделалась автором.

1. Автор залаял.

0. Собака не заговорила.

1. Автор радуется осеннему утру.

0. Собаке не смешно.

1. Автор хватает зубами палку, выражая щенячий восторг.

0. Собака смотрит на него с недоверием, можно сказать, с презрением.

1. Автор – интеллигент.

0. Собака местная, убегает.

1. Автор превращается в сойку.

0. Сойка хочет улететь от непонятной птицы – автора.

1. Автор мелькает в кустах, очень похоже. Хрипло кричит.

0. Сойка в панике.

1. Автор падает в траву и листья, раскинув крылья.

0. Сойка в ужасе улетает, так ничего и не поняв.

Вывод: поэзия страшно далека от природы.

10

Опять воображение. Умерший друг видит автора на про-свет. Как видит и чем видит покойный, люди не знают. Сказал: «Очами души», — и как будто все всем понятно. Очень многое люди обходят стороной, легкомысленные существа.

Но логика тоже не дает полной картины. Я могу подсчи-тать, сколько черепов, зубов, костей и тряпья люди сложили в землю за время всего своего существования, получится, что вся Земля — сплошное кладбище. Но все это куда-то де-лось. И почему по всему городу и лесу не валяются птичьи трупики? Ведь птиц неисчислимое множество. Поэт скажет: когда умирает птица, она тает в воздухе, не успев упасть на землю. И будет прав. Воображение дополнит натуру для полной картины.

Нет ни полной картины, к сожалению, ни частей, потому что они взаимозаменяемы. Все так разнообразно, что от пе-ремены мест слагаемых ничто не может пострадать. И какая бы картина ни была бы представлена, она достаточно закон-на и естественна. Потому что: «Что такое неестественность»? И то, что я пришел от отрицания метафоры к торжеству ее, — естественный ход вещей. Ибо все превращается во все. И ничего, таким образом, нет.

Поскольку все, что в мире существует,

Уйдет, исчезнет, а куда — Бог весть,

Все сущее, считай, не существует,

А все несуществующее — есть.

Любимый поэт компьютерных существ — незабвенный Омар Хайям.

11

Пустоту не комментирую. Пустота так наполнена, что сама комментарий к себе.

Но в конце повествования автор показал спектакль — сце-ны из «Моцарта и Сальери» в осеннем свете.

Я со своей стороны вижу эти сцены конструктивно.

Сцена 1. Моцарт и Сальери. Моцарт играет плохо. Сальери и не пробует играть на фортепьяно.

Сцена 2. Сальери – осенний парк, Моцарт – голубое небо. Играют оба скверно, Сальери весь осыпался. Моцарт затянут облаками, Моцарт дождит.

Сцена 3. Поднимаются Моцарт и Сальери, рассеиваются и обнажаются конструкции, которые не имеют к спектаклю никакого отношения.

Сцена 4. Автор и еще какое-то количество людей, как я разумею, его сверстников, остаются на голой земле заметными мишенями. Автор надеется, что успеет спрятаться, что в него не попадет, что минует. Но вся эта игра до поры до времени. Человеческое во мне надеется, что автор и его друзья останутся мужчинами до конца. А Бог, который выскочит из моей машины, представит все как 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и т.д.

Я и сам не уверен, существую ли вне транзистора или я вирус, некая мнимая величина, стоит только потрясти текст, чтобы все стало на место, и я исчезну. Но тогда не станет и автора, скорее всего.

Прежде чем мы оба испаримся, я изображу на светящемся желтом небе компьютера вознесенный черными стволами и сучьями ворох синей, фиолетовой и лиловой с подтеками кленовой листвы.

РАССКАЗЫ





Коктебельские встречи

Перед утром внизу туман. Это мне видно сквозь стекла террасы, надо просто сообразить, что еще очень рано и там снаружи — холод. Но я бы сказал, я сам не совсем в доме — на террасе, только легкая вагонка отделяет меня от двора — и штукатурка там снаружи. Мне холодно, стараюсь дышать под ватное одеяло. Согреваясь, как-то сразу понимаю, что совсем недалеко от меня внизу на набережной тоже зябнет какая-то фигура, завернутая в простыню, на бетонном постаменте, переступая босыми ногами.

Со стороны гор мимо совсем легких домиков турбазы (как они там, туристы, наверно сейчас, вроде меня, зябнут под тощими одеяльцами) бредет нелепая женская фигурка, тоже в простыне. Вот остановилась у причала и стряхнула что-то с простыни, неужто комья земли?

Фигура на постаменте не видит в тумане приближающуюся фигурку, зато мне видно обеих. Каким образом, не могу сказать, но вижу довольно ясно, несмотря на всюду разлитое солоноватое едкое молоко, даже дышать трудно.

И слова слышу;

— Сам не знаю, давно ли стою или меня только поставили. Где-то тут бетонная пионерка, верно, валяется, — это говорит фигура на постаменте, при этом она пытается разглядеть себя со спины.

— Ну вот, слова уже на мне пишут. Значит, давно.

Фигурка в простыне со сбившимся набок венком анилиновых бумажных цветов возникает перед ним в клочьях тумана.

— Нашла тебя, Ваксик, наконец-то, — озабоченно говорит она. Фигура на постаменте приосанивается вполне добродушно.

— Хорошо стоишь.

— Талантливо?

— У тебя все талантливо, Вакс, — привычно восхищается женщина, — Даже памятник.

— Кто лепил меня, не знаешь?

– Приезжал тут один молодой, курчавый, все эскизы делал.

– Помнишь, Дуся, в Париже Майоль с меня бюст лепил.

Потом поставили в аллее Булонского парка и написали: поэт.

– Прости, Ваксик, – почти смущается фигурка, – с тобой в Париже Малина была.

Памятник озабоченно хмурится:

– Да, ведь мы с тобой позже, позже...

– Зато теперь навсегда вместе! – торжествует фигурка.

Памятник внезапно рассердился:

– Послушай, Дусенька, если ты с постели, шла бы досыпала, потому я тебе приснился.

– Если приснился, пойду, папусик, – кротко соглашается Дусенька. И, подбирая свою простыню, вдруг замечает обрывок кумача – лоскуток. Разглядывает.

– Это с гроба, – замечает она решительно.

– Ну вот, из могилы ни свет ни заря встала. Оставишь ты меня наконец в покое когда-нибудь?

– Не сердись, только не сердись. Помни, жду, всегда жду. Всегда с тобой.

– Брысь! – Памятник швыряет в супругу чем-то, мочалкой, которая оказывается котенком, потому что, мерзко мяукнув, он вцепляется в космы покойнице. Та, вскрикнув, опрометью убегает в редяющий туман.

Прожигая мутную рыжину, поднимается нечто зеркальное, и становится видна вдаль уходящая набережная, склон ближайшей горы, где почитаемая могила, и маленькие козьяки, уже поднимающиеся наверх.

Памятник недоволен: «Уже с пяти утра карабкаются, покоя нет, стихи читают. Все опошлили. Ведь как я любил этот час. И это движение воздуха на рассвете. Вот оно, вот. Поймаешь душой, как парусом, и плыви. Я и прежде подозревал, время – просто театральный занавес складками».

Старик, запахнув царским жестом свою хламиду, вглядывается, куда, я не совсем понимаю. Но вскоре становятся видны очертания громадной арки с лепными украшениями и героическими рельефами. Ниже едут ландо и коляски, запряженные в две, в одну лошадь, и бегут, треща и дымя, открытые авто. А там дальше серые ряды зданий с черепичны-

ми серебристыми крышами и дымящимися горшками-трубами. Все это колеблется, как тяжелая материя. И в одну из складок, вижу, скользит, исчезает живой памятник прямо с пьедестала.

Восходит солнце. Синее утро. И теперь понятно: вместо великого на бетонном постаменте стоит бетонная пионерка с отбитыми, как у Венеры, руками, почему-то в плаще и пилотке.

Я ловлю себя на том, что уже вышел за калитку и спускаюсь к морю с полотенцем. Солнце высветляет мое смуглое плечо, загорел.

Навстречу от моря поднимается, трудно опираясь на палку, какой-то плотный старик, он уже выкупался. Кто же это так рано встает? И кого этот старик мне напоминает?

Но это думаю и я, освеженный, хоть и похрустывают старые суставы, идя по ступеням от полоски прибоа навстречу лысоватому человеку восточной наружности с полотенцем через плечо. Я узнаю его: ведь это тоже я.

Как ни странно, я понимаю, что еще один я, молодой, с длинными волосами, сейчас открыл глаза на своей терраске и считает про себя: раз, два, три — подъем!

— Господи, это ты! Небось от бабы идешь, — это я-старик — лысоватому, ведь я давно забыл, как когда-то шатался здесь по ночам.

— Может, и от бабы, — прищуриваюсь я-помоложе. «Забыл старик, забыл».

А у самого во рту нехорошо, поддавали мы тут вчера в потемках у моря с братьями-писателями.

— А ведь вы, можно сказать, мой родственник, — неожиданно говорю я старому. «Может, он не видит».

— Больше чем, — едко отвечаю я-старик, — Ты — это тот я, которого я здесь забыл лет двадцать назад. Бежал от подруги, ревность, скандал. Помню, даже чемодан не собрал, так все и запихнул как попало.

— Понятно. Значит, вы — тот, каким я буду. Не очень-то роскошное зрелище.

— Но я еще только на склоне жизни.

— На крутом склоне.

Вот таким образом я препираюсь сам с собой на набережной, посмеиваюсь, все же интересно себя увидеть: каким я был и каким буду.

— Каким ты был, таким остался, — пропел женский голос, гибкий и низкий.

Оба я обернулись. И оба ощутили... нет, не полную идентификацию, но толчок в сердце, как будто кто-то очень родной и близкий. Даже тот наверху на терраске ощутил. Я, еще не видя ее, почувствовал. Такая смуглая с влажными жесткими волосами — и кофта к телу прилипает, потому что — без лифчика. Быстро шла к нам по набережной.

— Простите... — выжидающе протянул старик.

— Меня тоже зовут Герман. С одним «н», — улыбнулась женщина.

— Мужское имя? — мне-лысоватому также было неясно.

— Тезка? — переспросил я-старик.

— Я тоже из вас, но из области возможностей.

— Из какой области? — я-старик наставил ухо рупором. (Честно сказать, предыдущую фразу расслышал только я-лысоватый, о чем и свидетельствую для ясности.)

— Из Алтайского края, — терпеливо разъяснила она.

— Не понимаю, — это я-старик.

— Вообще-то я впервые на юге, — непринужденно продолжала она, будто мы ее старые знакомые, — У нас летом жарко, так мы с мужем в Москву или к друзьям в Польшу все ездили. На этот раз, думаю, поеду наконец в Крым, одна. Я сама врач. Приехала, понравилось. Я вас всех уже на второй день заметила. Смотрю, один по набережной с палочкой, второй — к бочонку с вином, а вот и третий — с полотенцем.

Действительно, я, молодой и еще длинноволосый, даже ростом повыше прочих, приближался к этой странно знакомой группе, не говоря о том, что женщина мне определенно нравилась. И я уже слышал, что она говорит.

— Вижу, даже внимания друг на друга не обращаете, женщины бы моментально заметили, посмотрите на себя и на меня — одно лицо.

Тут мы загомонили разом.

– Вы что, моя сестра?

– Скорее милая племянница.

– Согласен на дочку.

– Ни то, ни другие, ни третье, к сожалению, – улыбалась милая Герман.

– Но вы, простите, с Алтая, мои родители жили там в свое время.

– А мои и теперь там живут.

– В Москве они, давно уже переехали, навещаю их частенько. На пенсии.

– На кладбище...

– А что ваши? – поинтересовался я-молодой, ведь мои еще жили в Барнауле, может быть, рядом с ее родителями – и вообще множество еще неясных самому планов и перспектив разом обрисовалось перед моим умственным взором.

– Мои и есть ваши, – непринужденно ответила Герман, – Просто версия другая. В свое время мама забеременела. Старый врач посмотрел маму и сказал: «Вероятно, будет девочка». Тогда ведь не было аппаратуры. Однако не ошибся старый акушер. Мама родила меня. Но поскольку у папы был младший брат Герман, который рано умер, меня и называли в его честь.

– Но ведь это меня называли в честь дяди Германа, – удивился я-молодой.

– Я что-то забыл, отчего он умер, – произнес старик, прошу не забывать, тоже я, Герман. С одним «н».

Я-то молодой все помнил:

– Нога. Ампутировали, все выше и выше...

– Все дальше и дальше, – сказала женщина. – Он и умер, бедный дядя Герман...

– Может быть, вернемся к предмету, – осклабился я (лысоватый, лысоватый Герман). – Если наша мама родила девочку, откуда тогда все мы?

– По другой версии, врач ошибся. Знаете, старик, склероз, провинция, и мама благополучно родила мальчика, то есть вас.

– Ага, все-таки меня, – сказали мы-Германы, в общем, все трое.

— А от кого вы все это слышали, милая Герман? — это я-старик.

— Медсестра рассказала. Городок у нас маленький, все становится известно.

— Значит, мы живем по одной версии, а вы — по другой. Поздравляю.

— Сколько их еще? — поинтересовался я-молодой.

— Одному богу ведомо.

— Главное, я вас сразу угадала. Ну, думаю, это они, точно.

— Вы очень симпатичная, — это я-молодой.

— Да мы все в нее влюбились, — это я-лысоватый.

— А достанется она молодому дурачку, — это я-старый.

Но я-молодой не слушал этих пошлых личностей. Я наклонился к прелестной в легком цветастом сарафанчике (хотя, кажется, минуту назад она была в не менее легком чем-то голубом) и сказал:

— Вы мое отражение, — взял ее за локоть. — Может быть, посидим в кафе?

— Можно я вас буду звать Андрей, — смутилась она.

Я сразу стал ревновать к этому имени. Что это еще за Андрей? Дело в том, что меня зовут, как и всех прочих, Германом.

Она заметила мое смущение и улыбнулась:

— Для удобства. Иначе все трое будут откликаться, если я позову с другого конца набережной.

Это объяснение меня устроило.

— Тогда я вас буду звать Светланой. (Была у меня одна знакомая.)

— Лучше Оксаной, я больше похожа.

И мы пошли все дальше и дальше от моего будущего, да мне и думать о нем не хотелось. Под рукой я чувствовал упругое тепло, женскую тяжесть. Мы как-то сразу оба поняли, что будем вместе. Я буду обнимать ее, себя, кого? И она, по моему, ощущала то же, но только прижималась тесней.

С одной стороны залива снизу бархатно темнел и вверху чернел каменным хаосом в ослепительном небе давно потухший вулкан с профилем Великого, с другой стороны — далеко — рельефно уходила в море низкая скала-ящерица. Кстати, небо здесь летом всегда ослепительное, и днем и ночью.

— Пойдем к тебе, — сказал я-длинноволосый. Я-лысоватый и я-старик одновременно ощутили ток, как бы участвуя во всем этом.

— Я с одной девушкой живу, еще с моря придет, — сказала она, прижимая мой локоть.

— Пойдем ко мне, — сказали мы тихо. Все трое.

И ярким полднем или уже в сумерках, скорее всего, лунной ночью мы пришли ко мне на терраску. Сели на постель, поскольку больше было некуда.

— Я тебя совсем не знаю, — она произносила дежурные фразы, но глаза сияли и говорили: знаю тебя, знаю, как себя, и хочу тебя, потому что всегда хотела себя — еще девочкой, гладившей свои груди и бедра перед зеркалом.

Я поцеловал ее: как нежно раскрылись губы навстречу моим — может быть, нашим — губам.

— Мы — две половинки, — сказала она.

— Ближе, — горячо прошептал я-длинноволосый, — Я — это ты. И тебя, то есть себя, я целую в живые теплые губы. Оказывается, у меня женские губы, высокая шея, ее можно погладить, и вот они — груди. Можно я потрогаю? Закрой глаза.

Она послушно закрыла глаза. И мы трогали ее соски поочередно: сначала крепко сдавил я-молодой, потом целовал я-лысоватый в соски, а я-старик только гладил и гладил...

Открыв глаза, она в ужасе отпрянула — это она меня-старого увидела, как языком свои губы облизываю. Но в ту же секунду это был уже я-Андрей.

— Прости, мне показалось, ты какой-то другой — жесткий, старый, сластолюбивый.

— Ну, в любви мы не всегда красивы... — попытался оправдаться я. Но она уже раздевалась. Дело в том, что терраска моя запиралась на ключ, а стекла задергивались наглухо плотными занавесями, на которых были нашиты аппликации — игральные карты.

И под всеми этими тузами, дамами и королями, раскинувшимися веерами и волнами ходившими над нами в какой-то блаженной игре, среди бела дня или в лунном свете мы занимались любовью вчетвером, смешнее — всемером.

Трое беззвучно кричали во мне. А в ней неистовствовали и свивались клубком, кажется, все четверо.

И тут уж она предусмотрительно не открывала глаз, чтобы не увидеть над собой лысину или колючие седые усы. Ну и я, признаться, не смотрел на нее, вдруг увижу, что насилую себя или что-то в этом роде. В этом зыбком пространстве и времени могло случиться все что угодно.

Но потом она снова стала условно Оксаной, а я условно — Андреем. Мы лежали рядом без сил, касаясь друг друга небрежно — кистью руки, бедром, промежностью, губами, волосами, коленом.

Первым опомнился лысый. Он потихоньку поднялся, натянул рубашку и джинсы и растаял между тумбочкой и дверью.

Старик, сокрушенно вздыхая, надел свои вельветовые и майку с надписью BEATLES и — тоже ни слова — улетучился в просвет между окном и занавесью.

Мы остались одни — опустошенные, пронизанные смутной, но окончательной неприязнью друг к другу, будто мы совершили что-то, до того непристойное и позорное, что боялись признаться в этом самом себе. Андрей и Оксана сползли с нас, как неуместные глупые личины, раскрашенная скорлупа, вылупились нагие Герман и Герман, бывает такое — двойной желток.

Я смотрел на потного, простертого в изнеможении себя — эти отвислые груди и мшистый лобок — с отвращением. Любовь к своему ребру. Адамов грех. Больше, чудовищней, все человечество, таким образом, не имело права быть и продолжаться, потому что оно стало единый человек, обнимающий в отчаянье самого себя... (В скульптурах Эрнста Неизвестного я вижу такое.)

А вообще-то здесь, в небольшом поселке, приютившемся у подножья давно потухшего вулкана, я (естественно, моего теперешнего возраста, ну, тот, которого вы видели на прошлой неделе в Москве) как-то сразу привык к своим новым-старым знакомым, ведь я здесь всегда был или буду в свое время. А поскольку время, как я понимаю, смешалось, то ли туман с моря тому виной, то ли что другое, для меня

это стало реальностью — жить сразу в разных обличьях. Даже как-то забавно, что все эти персонажи, все это — я. И входим один в другого, как матрешка. Может, там, после смерти, мы будем таким образом ощущать свое я: сразу все, как пружина в сжатом состоянии.

Вы посмотрите на тополь возле моей террасы, когда все его листочки вдруг оборачиваются одной серебряной изнанкой от порыва ветра, они все похожи друг на друга и каждый сам по себе, между тем все они один тополь, тот, что растет возле моей террасы (молодого меня или лысоватого? Я-старый живу выше).

Это наводит меня на мысль: мы, действующие лица, просто не замечаем того, что все мы реализуемся таким образом. Все иллюзия, маскарад, умелая постановка незримого режиссера — и мы все одно, которое, скорее всего, не существует.

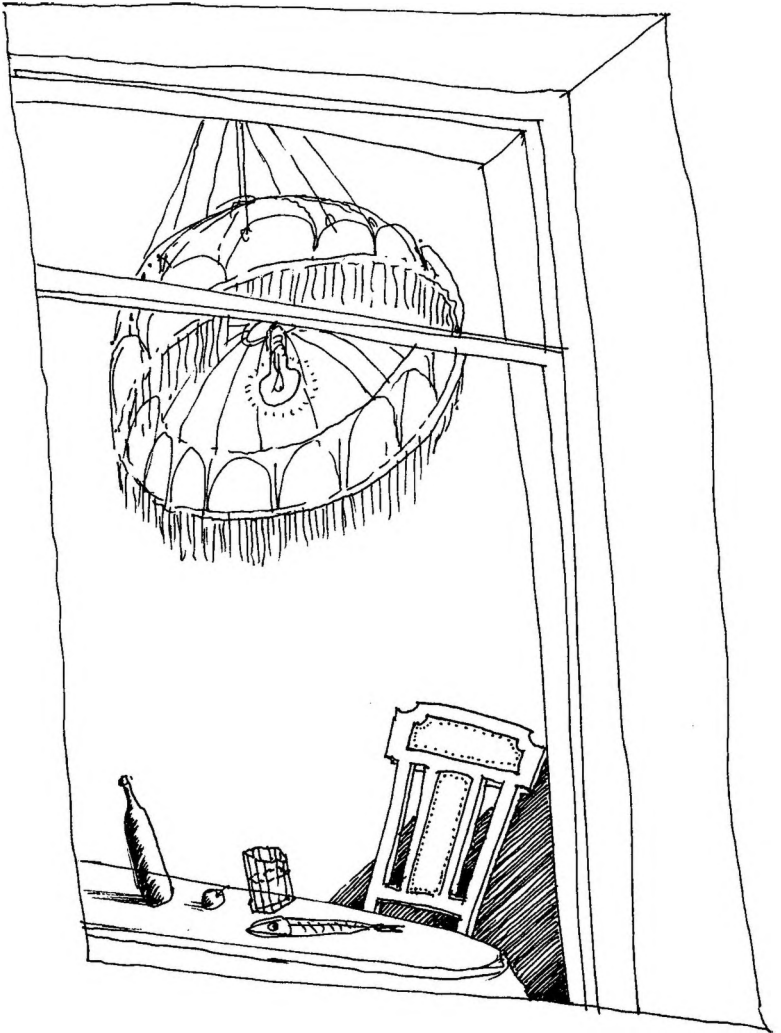
Я даже присел на скамейке напротив столовой и записал в своей новой записной книжке (у меня их штук сто, и в каждой две-три записи) вот что: «Здесь некий полынный круг, очерченный свыше. И бывает такое белое солнце и зыбкие ненатуральные тени, что все смешивается. Обитатели призрачных областей ходят по набережной в туманной дымке, что нагоняет с моря, и общаются как ни в чем не бывало».

На другом краю длинной зеленой скамейки как-то естественно возник странный, большой, бурно-седокудрый с массивным, тяжеловатым, добрым и каким-то очень памятным лицом. Он был в темном красноватом с зеленцой халате, который лежал на своем обладателе неподвижными живописными складками.

Он бормотал, видимо, ни к кому не обращаясь:

— Подышал женщинами. Шанель... Моя-то и при жизни землицей припахивала. Париж как сон... Зато Россия как бред... как бред...

Сзади за моей спиной длинными низкими полосами набегало море. Солнце было в тумане. И все смешивалось вокруг, все существовало одновременно. А быть может, реальность такая и есть вне нашего последовательного и подробного восприятия?



Пустоты

1

На крашеной желтым стене летнего кафе я прочел объявление местного УВД: пропали без вести трое: Светлана Д, — 23 года, Николай С, — 18 лет, Нина Михайловна Г, — 82 года. Ушли из дома и не вернулись. И фотографии.

Людей у нас в стране пропадает больше, чем мы думаем. И не о них я хочу рассказать, по крайней мере в этом повествовании. Об их отсутствии.

Виктор Д. ночь прождал, наутро мать прикатила. В милицию звонить! Приехали.

«Может, ушла к кому, — говорят, — а вы, молодой человек, милицию попусту беспокоите. У нас и так дел нераскрытых выше головы».

— Да вот, мать.

«А что, мать? Теперь мать не указ и не помеха».

Однако бумагу заполнили. «Будем искать», — говорят.

Каждый вечер домой возвращался вечером, ждал: дома Светлана окажется. Вон и шарфик зеленый на вешалке. Без шарфика ушла.

И вот что обнаружилось, ушло что-то живое, что наполняло квартиру независимо от того, была сама дома или за молоком побежала. Что-то быстрое, что мелькало всюду, — и сразу хотелось жить дальше. Опустела квартира, пылью подернулась, помертвела вся.

Будто принесли покойника и положили на обеденный стол, на скатерть. Как после этого ужинать, чаи распивать, когда на столе покойник лежит. А то, что незримый, он от этого не меньше присутствует, и даже весь не умещается — из окна голова торчит. После этого можно только водки выпить да килькой в томате зажевать. «Вот и весь ужин, Светлана. А тебя нет и нет».

Обнаружил Виктор Д.: чего-то стало не хватать в его молодой жизни и не скажешь сразу чего. Сунулся в ванную, а

там никого — и душ не шумит. Прилег на постель, повернулся обнять, а там пусто. Отвернулся — тонкая рука его не ищет. Вскочил, заглянул в шкаф — и там тоже пустота образовалась: висят сиротливо платья на плечиках, сбились все в уголок, никто не берет.

Отсутствие молодой женщины заполнило квартиру и обосновалось в ней, как дома.

Скисло, высохло молоко в молочной бутылке — отсутствие давало знать о себе.

Ему ее не хватало. И этого «не хватало» становилось все больше. Оно вытесняло в нем все мысли и желания. Оно стало преследовать его, сопровождать на работу в трамвае. Вон она бежит по тротуару, сейчас скроется за углом. Скорей соскочить с подножки, ноги его несли сами, успеть. Непохожа, даже и в лицо заглядывать не надо. Ведь он знал Светлану наизусть. И душу Виктора мутило бешенство и безумие.

Если это не она, и другая не она, значит, ее от него прячут. И Виктор отнес заявление в милицию, где в горячке было изложено следующее: «Прошу найти преступников, которые прячут мою жену Светлану Д., судить и приговорить к высшей мере наказания. Если вы — органы правосудия — этого не сделаете, я совершу этот акт справедливости сам. Виктор Д.»

Он стал заглядывать в лица подозрительных мужчин, чернявых, конечно. Этот черный прячет или другой черный? Куда-то бежит. Надо проследить. Подошла высокая женщина. Нет, не Светлана. А может, эти преступники прячут ее вдвоем? И он жался, поджидая на площадках полутемных лестниц, в арках — проходах старых зданий. Все безрезультатно.

И вдруг обожгла мысль: это она сама, Светлана, прячется от него. Не хочет видеть. Она где-то здесь, но все вокруг отталкивает его. Город наполнен ее нежеланием. Она хотела отсутствовать для него. Для других — пожалуйста, смеющаяся, горячая, ласковая. А для него — нет. В темноте, пьяный, он шел, нарочито швыряя себя из стороны в сторону. Он хотел толкнуть кого-то и затеять драку. Но плечо встречало

лишь пустоту. И Виктор заплакал, зарыдал тонко, как-то по-собачьи. Он понял, что она спряталась от него навсегда.

Вы видели солдатских матерей? Безмолвно вопиющих на ступенях Верховного Совета, держащих перед собой, как иконы, большие мутные фотографии стриженных или гладко причесанных молодых людей, увеличенные с тех маленьких фотокарточек, которые присылали им дети из непонятной неизвестной воинской части, только номер. Ребенка убили, вырвали кусок нутра заживо.

Положив перед собой свои полные руки с короткими пальцами (прежде она старалась украсить их маникюром), она смотрела на них, как на нечто отдельное, ей не принадлежащее. Между рук на клеенке лежала фотография Николая. Завтра утром просили ее принести в отделение. А глаза Николая говорили: «Ничего, мать, переживем. Ведь жили же без отца». И если бы каким-то потаенным уголком души она все же не надеялась, сейчас бы выла, каталась по комнате, билась головой об стену, пока сознание ей не накрыла бы спасительная тьма.

Она понимала: на свете его нет. Но мать в ней — лоно, из которого он вышел, — не хотела этого понимать. Уехал, а куда — не сказал. Как быстро все примирились с его исчезновением. Во-первых, его комната. Ее наполнила пустота — и выталакивала мать, когда та хотела туда войти. Во-вторых, в институте. Однажды утром она пришла к зданию. И каждый избежавший по ступенькам казался ей Николаем. Она бросалась к нему и уже видела: не он, хотя затылок похож, куртка похожа — не он. Просто каждый из них был на месте ее Николая, а его не было — и каждый студент почему-то казался ей врагом. Легко переговариваясь с девушками, бегут, будто ее сына никогда не было. И это общее равнодушие сжигало ее сердце.

Жизнь ее постепенно опустела. Не надо было спешить в магазин. Не надо было готовить обед, не о ком стало думать. По привычке она еще убирала квартиру. Как автомат. Из нее вынули весь интерес и беспокойство, волнение ее жизни — и внутри нее была пустота. Пустота и жгучий холод, лучше было бы не смотреть в ее глаза. Одна фотография смотрела — и имела на это полное право.

И мать заключила с фотографией сына соглашение. Она будет жить — пока. Она будет ждать. А фотография ее сына будет ходить по этой земле и всех спрашивать: «Не видали ли вы, прохожие, молодые девушки и старые люди, не видали ли вы этого милого смуглого паренька. Посмотрите на меня повнимательней. Ну, конечно, вы его видели. Уши немного врасстыпу, не любил он свои уши. Зато лоб, посмотрите, какой высокий. Черный свитерок, джинсовая куртка, да его в любой толпе узнаешь. И походка особенная, ни с кем не спутаешь. Так помогите, добрые люди, одинокой матери. Иначе ей совсем на свете незачем жить будет. Прошу вас».

Так и порешили. Она будет ждать всегда. Вида подавать не будет, что ждет. Что разрывает ее эта проклятая пустота в сердце. Что на каждый звонок будто обрывается все в ней. Никому не скажет, чтобы не сглазить. И он вернется.

И тогда вернется все. Все ее прошлое прибежит и станет перед ней с радостью, молодостью, высоким небом, поселком на взгорке и белым пароходом, разворачивающимся на широкой реке. И тогда не будет больше этой страшной пустоты, когда каждый шаг и каждое слово будто проваливается куда-то, откуда ничего не возвращается.

Голодная кошка беспрестанно мяукала в пустой комнате. И на третьи сутки ее открыл слесарь. Умершей старушки в комнате не обнаружили. Кошку выгнали, комнату запечатали. Но кошка не хотела уходить. Ее стали прикармливать соседи по квартире, да так все и осталось. Кошка жила в коридоре, спала под веником на кухне, вечером выскакивала в форточку, по утрам приходила к блюдечку — и ждала свою хозяйку.

Говорят, кошки привыкают к месту. Но эта искала хозяйку. Остался повсюду домашний старушечий затхловатый запах, и это прекрасно чувала кошка. Лохматый круглый коврик-подстилка, связанный из лоскутков, на котором спала кошка, постель с темным бельем и большими подушками, на которую прыгала кошка, и желтый самовар, у которого грелась кошка, — это все было ее старой высохшей хозяйкой. И это все осталось там — за закрытой теперь дверью. Поэтому кошка сначала все царапала дверь, просилась.

А однажды ушла и не вернулась. Видно, попала бедняжка под проезжее колесо или мальчишки замучили. Но нервная соседка уверяла, что слышит по вечерам за запечатанной белой бумажкой дверью старческие шаги, мяуканье, и «брысь», и звяканье блюда. А что, все может быть. Возможно, тишина, поселившаяся в пустой комнате еще носила отпечатки прежней жизни, и порой слышались как бы отзвуки, бредовое эхо. Ведь если тишина хочет, чтобы ее слышали, она должна что-то проборматывать, чем-то прошлепывать. Полная тишина не тишина, а могила. Потому живые все время слышат что-то.

Но все призраки однажды утром исчезли разом. Комнату опечатали. Потом вещи, самовар и тряпки забрала племянница. Потолок побелили, обои переклеили. Новорожденная беспмятная пустота поселилась в бывшей старухиной комнате. Голубой потолок и маслянисто-белая рама окна знать не хотели о том, что было. Они не помнили ни о какой хозяйке, они готовились встретить новых хозяев и были правы в своей новизне и свежести.

И если бы старуха явилась сюда, отлежавшись в какой-нибудь дальней больнице, представим такую возможность, комната бы ее не признала. Пустая комната потребовала бы ордер, паспорт и ключи, долго бы и придирчиво рассматривала документы большим окном, затем бы выкинула их за порог и презрительно защелкнулась перед носом старой хозяйки на новый английский замок. Более того, старушка сама бы не признала свою обитель и отказалась от нее.

Но прошлое не вернулось, и пустота затянулась, как заживший фурункул затягивается свежей пленкой, а там и шрама не осталось.

Всюду из жизни выдергивают людей или сами выпадают. И для близких образуются зияющие пустоты. Одни — ненадолго, как для кошки и соседей. Другие — навсегда, как для матери.

Эти пустоты смущают автора, потому что их все больше и больше в его собственной жизни. Дух исследования не дает автору покоя — и хочется представить, какие они, эти пустоты, что они значат и почему людям неволею видеть их пе-

ред собой. Люди стараются заполнить пустоту всем, что подвернется под руку, короче говоря, всяким хламом, портят жизнь себе и другим, лишь бы уйти, лишь бы не видеть этой обескураживающей, этой не замечающей тебя пустоты.

2

С другой стороны, пустота заманчива. В нее хочется заглянуть. Как с балкона на 22-м этаже — вниз.

Помню, ребенком я все ощупывал языком впереди качающийся молочный зуб. Он качался, а я его еще двигал, пока не укусил бутерброд с колбасой и он, зуб, остался у меня в колбасе. Нет, против ожидания больно не было. Было даже забавно.

Я начал трогать языком то нежное место, где у меня был молочный зуб. Там было непривычно пусто. И это дразнило, все время подмывало осязать это место. Язык ощупывал и каждый раз удивлялся непривычному ощущению пустоты. И опять трогал — и все не мог прекратить.

«Перестань цыкать зубом. Ты не медведь», — сердилась мама. Почему не медведь? А, это из сказки. Я убирал свой язык назад — поближе к гортани, но так далеко он убираться не желал. Он увеличивался и заполнял всю полость рта, я клянусь.

Я подтягивал свой язык назад сколько мог. Но незаметно он подбирался все ближе и ближе к деснам. (Так ползет разведчик к окопам противника, ему приказали взять «языка» — незаметно, чтобы мама не услышала.) Ближе, ближе — и вдруг упирается в десну, воровато ощупывает вверху пустоту — промежуток между целыми зубами, находит твердый росток нового зуба, проводит по нему. И тут раздавалось влажное громкое «цык!». Мама вздрагивала. Для меня в этом было поразительное сладострастие.

Один пожилой человек рассказал мне, почему он долго не вставлял два передних выпавших зуба. Видите ли, ему было приятно ощупывать их языком. Когда он смеялся, он прикрывал рот рукой, чтобы посторонние не видели этот недостаток — эту пустоту. «У меня теперь рот — проститутка»,

— с удовольствием говорил он. Может быть, он просто боялся идти к зубному врачу.

И еще мне рассказывали, после войны это было — и, наверно, со многими ранеными, контуженными. Человеку отрезали ногу, он чувствовал ее по ночам, она болела. Отрезанная нога болела, и человек кричал от боли. Но там же ничего не было. Ныла пустота, ее дергало, выкручивало. Человек ощущал пустоту, как свою ногу. Но на пустоту нельзя было опереться. Он вскакивал с постели и падал как подкошенный.

Значит, пустота может казаться тем или другим. Близкого, дорогого тебе человека давно уже нет, а он все болит и ноет в душе, как отрезанная нога, и все кажется, он здесь. Досадная несправедливость, этого не может быть. Вот моя нога, сейчас обопрись. И валишься, падаешь, потому что нет тебе поддержки, пустота, — и это реальность.

3

Сегодня Москва показалась мне пустой, но тут же вспомнил: воскресенье. А по воскресеньям город пустеет. Все равно мне казалось: сегодня больше пустоты, чем обычно. Не говоря уже о пустых цинковых прилавках в магазинах, но это общая притча. Эту пустоту мы перестали замечать. Скорее замечаем, если что-нибудь появляется. А если ничего нет — это привычно для россиянина.

Но мне чудилось, пустота, которая прежде таилась в углах, гаражах и под лестницей, теперь явно выпячивалась вперед и даже лезла на глаза. Вот. Пустой переулок. И в нем пустая телефонная будка. Можно зайти в нее, заполнить своим телом, но мне никуда не надо звонить, и будка останется пустой. Остановился троллейбус, совершенно пустой — даже водителя в нем, по-моему, не видно. Сейчас бы вскочить в него, чтобы хоть кто-нибудь в нем оказался. Но мне никуда не надо ехать, и троллейбус трогается — пустой.

Какой-то пустой день. Можно было, правда, заглянуть к моему литературному приятелю. Но разговоры такие пустые, жена у него такая пустышечка, даже такса — пустолайка. Так

что не надо. Из пустого ведра не вычерпать пустоты. И если такой поговорки нет, то она будет.

Решил просто пройтись. Вдоль пустых витрин. Прохожих немного, пройдут – и пустота. До следующего прохожего. Проехала машина – и опять пустота во всю улицу – таким колоссальным, бесцветным желе, в котором идешь и вязнешь.

От нечего делать обратил внимание: идет впереди джинсовая пара – парень и девушка. Между ними просвет – и этот просвет свою форму имеет, будто тоже кто-то между ними идет. Может быть, потому что эти двое такие одинаковые с черными длинными волосами, как братья, представился между ними третий, такой же, как они, и на таких же высоких каблуках. Идет между ними, обнимает обоих, то одной щеки коснется, то другой. Войдут двое в кафе, а между ними третья – пустота.

– Что вашей девушке налить? – усмехнется бармен.

– Какой? – спросит парень.

– А вот этой, которой не видать, все отворачивается.

– Этой – кислородный пунш.

– Как? – не поймет бармен.

– А напиток такой: смесь из кислорода и азота, – в свою очередь усмехнется парень, – Не слышали? Такие, как она, теперь все это пьют. Даже кое-где не хватает, говорят.

– Дефицит? – посочувствует бармен.

– Дефицит.

Так они и живут втроем. И с какой из них он проводит ночь, самому непонятно.

Много таких семей есть в городе. Дома «люди во плоти», я бы так их назвал, все больше полеживают и на экран смотрят. А их бесплотные братья и сестры по квартире ходят, рюмками в буфете звенят. Пустые листы разворачивают и читают – как газеты. Что-то перебирают, чем-то шелестят. Муж с женой рассорились, а эти пьют коктейль «кислород с азотом», обнимаются, только складки портьер бурно ходят, и чайник в кухне засвистит. В общем, живут за своих двойников во плоти. Бесплотным в нашей пустоте жить весело, это же их мир, настоящий. Волны незримой ткани одевают

бесплотных по моде невидимого мира. Только не надо какому-нибудь глупцу во плоти в него рядиться. Вот и получится голый король. Пустота живет по своим законам и не менее разнообразна. В каком-то смысле пустота даже более перспективна, чем наш материальный мир, в котором мы сами давно разочаровались, только не признаемся себе в этом.

Вот и видел я в это воскресенье больше пустоты, чем надо. Я хотел ее видеть, вот и видел. А сколько еще той, которую мы не видим: неявной пустоты.

4

Я об этом еще не думал и думать не хотел. Я вообще не желал ввязываться в этот процесс, затягивает. Я ведь только пустой скудельный сосуд, все жду, что меня чем-нибудь стоящим наполнят. Плотные мысли — вроде растительного масла мне представляются. Или разные эмоции — клубничное варенье, кипит, кипит, самое вкусное — пенка — сверху образуется. Засахарился, засиропился... Но ведь этого ничего нет. Провожу по стенкам — гладко и пусто. Это хорошо, что пусто. Бог подаст. Что там блестит в вышине? А, звезды. А я думал, что для меня, в меня падает. Что упало, то пропало. Но это же просто удивительно, до чего жадная сущность человеческая! Как она все поглощает! Это ребенок, за которым нет пригляда, кушает всякую дрянь — зеленые дички с земли, незрелые сливы. Говорят, крепче будет. А потом все удивляются, откуда у нашей Машеньки понос и дизентерия. А оттуда у вашей Машеньки — интеллигенции — понос и дизентерия, что всякую дрянь под видом просвещения и патриотизма кушала. Нет, нет, тысячу раз нет. Пусть буду пуст. Да не войдет в меня ничего неподобающего. Не для этого же слеплен, и придана мне божественная форма на вечно крутящемся гончарном кругу.

У меня на шкафу под потолком стоит древнегреческая амфора с отбитым частично горлом и ракушками, которые выросли на нее таким украшением. Лет двенадцать назад я купил ее в Ялте у водолазов — крепких светловолосых пар-

ней. Им срочно нужна была средняя сумма (по тем временам), чтобы посидеть (по тем временам прилично) в облюбованном ими ресторане «Волна» на веранде. Все с тех давних пор развеялось как дым: и деньги в первый же вечер, и настроение тогда, и парни, те, какими они были, и Ялта, которой тоже уже давно нет — одни воспоминания. А воспоминания, кстати, весьма ветхие, — не окрашенная ли в цвета реальности пустота? Вот амфора стоит на шкафу. Правда, я ее давно не касался. Боюсь, дотронусь до нее, она и рассыплется красноватой пылью. Не трогай воспоминаний. Нет, не удержать этой реальности, не закрепить. Разве что искусство способно на это — и то весьма, весьма условно. Поставит замысловатую закорючку — знак, а все чувства проявлять предоставляется тебе. Наполнять свой пустой сосуд. О чем и стихи в тетрадке.

Твое вино давно смешалось с морем.
Но вот со дна берут тебя, несут...
Я, как и ты, кувшин, пустой сосуд —
Мы оба пятен времени не смоем.

Когда любовь уходит, остается пустота привычных отношений.

Полые старики — будто мешки, из которых наполовину высыпали картофель.

Все думали — подтекст, а оказалось — пустота.

Когда опускаешь монету в монетоприемник, там звякает — слышно: пустота.

Старческие руки, которые все время бесцельно двигаются, теребят и вяжут пустоту, как пуловер.

В старом доме и в новом здании пахнет пустота сыростью, штукатуркой.

Я видел большой склад, вроде дровяного, там мерили пустоту на кубометры и взвешивали на напольных весах, как зерно. Я видел, дюжий мужик получил кубометр пустоты. Он упер руки в бедра и подставил широкую спину. Рабочие разом поставили этот куб ему на спину. Так и понес, не разгибаясь.

У меня было пять кубометров пустоты, одному не унести. Пришлось нанимать машину со стороны. Дерут, будто она золотая.

— Да ты имей совесть, — говорю шоферу, — это же тьфу, пустота одна. Ну что это, скажи мне, кому это надо?

— Вам вот надо, — с достоинством ответил он.

Логично.

В России давно предпочитали пустоту и в политическом смысле, в виде «потемкинских деревень», и в общественном, вроде «мертвых душ». Примеров достаточно. О близком вообще говорить не будем. Стройки века. Чудовищная пустота. И Гоголь, Гоголь, Гоголь... А вот и Салтыков-Щедрин, а вот и Салтыков-Щедрин... возьмите и меня, возьмите и меня!.. за дрожками...

Но пустынька, пустынь, пустыня — спасение... А как еще и думать теперь, если не по Розанову? Прости, Василь-Васильевич, что имя твое упомянул все. Но ведь свято место будет пусто, это ты знал.

В лаборатории давно изучали пустоту, вакуум. В колбах, в ретортах, в стеклянных баллонах — всюду была пустота. Посередине зала на специальной подставке высилась огромная стеклянная банка. В ней плотно стояла пустота.

— Пока что ничего из нее не выросло, — почти жаловался мне академик, — Но не теряем надежды.

Я хотел сказать что-нибудь подобающее моменту, но растерялся и спросил:

— А что прежде было в этой банке?

— Как что? — недоуменно сказал ученый, — А что в ней, по-вашему, должно было быть?

Я не нашелся, что ответить.

— Мы заказывали ее специально, — сжалился надо мной собеседник, — Таких стеклодувов уже нет.

И я уважительно подумал: «Это же какие легкие надо иметь! Как спальные мешки, наверно».

Она жила и пряталась за дверь в подвале большого дома. Как-то заглянули за дверь. «Что там?» — «А ни черта там нет, сор какой-то». Ее и вымели.

Пустота была такая, что поглощала свет. Стоит край света поперек деревенской улицы. Трава, дорога, полкозы, плетень. А дальше как отрезало — пустота. Протянешь руку — нет твоей ручищи. Вытянешь руку — вот она, играйся. Многих смущало. Но конец света так и не наступил.

«Да, погода, — говорят, — у вас такая: туман не туман, пустота».

Оголтелая страшная толпа — очередь, вот носительница истинной пустоты

6

Све...

... та

Про...

... зраки

... ствие

Голу...

...уум

...устота

Голова сказочника

1

Вообще-то он был моим тезкой, домашние звали его Генрих. Все остальные звали его Гена. Было в нем что-то рыхлое, сентиментальное с германским оттенком, я всегда думал, что просто кажется, будто живет он в старомосковском переулке возле Чистых прудов, где зимой скользко, весной грязно – и вообще нечистота. На самом деле живет он в игрушечной Праге у Старого Мiesta, фотография которого – открытка – лежит у него на столе под стеклом.

Вот он выходит утром из своего средневекового узкого дома, выкрашенного белым, наличники – розовым, идет по улочке, мощенной гладким камнем, уже вымытой сегодня. Спускается к Влтаве. Солнце встает из-за разновысоких шпилей. Редкие прохожие здороваются с ним:

– Доброго утра, пан Сказочник! Доброго утра!

И он кивает им в ответ. Внизу, где плещется зеленая вода, он кормит лебедей. Многие ему знакомы – они тянут шеи и норовят схватить его за палец.

Генрих смотрит на ту сторону и видит: оттуда с холма, с Вышеграда, яркий солнечный великан по ступеням Градчан спускается к воде, к вершинам деревьев, наверно, чтобы выстирать, выполоскать свою большую белую рубаху. И тысячи лебедей взмывают разом с реки, как трепещущее полотно...

– Генриха дома нет.

– А где же он? У императора?

– Нет, не у императора, он сейчас у Цезаря.

Разговор с его матерью по телефону. И если даже не знать, что Цезарь – имя его друга, а «император» – прозвище его очередной жены-любовницы, величественной красавицы с косами в виде венца, все равно можно понять, что речь идет о человеке необыкновенном, фантастическом. Он и был таким.

2

Сказочник был сказочно близорук. Без очков видел все расплывчато, одно перетекало в другое. И очень возможно, господин, похожий на жабу, казался ему жабой, а этот сухощавый медлительный — чем-то вроде богомола, человек в ярко-синем костюме — просто говорящим синим пятном.

Зато женщин он отлично видел и различал четко: моя, не моя. И поведение его было регламентировано, как я заметил, раз и навсегда. Сначала он их завоевывал, побеждал в романтическом плане, в смятении души, в едином порыве. Потом, когда побеждать было уже некого и все упорядочивалось, ему становилось скучно — и он ускользал, отступал, покидал завоеванные позиции без сожаления. Вот этого они и не могли понять, им казалось это каким-то недоразумением. Нет, они не переставали любить его.

Первая жена была тоненькой, черненькой, работала инженером-экономистом. Это еще до всех сказок, после окончания пединститута. Нормальная жена, как я полагаю, ей не нравились его исчезновения, его запои-загулы. И когда он звонил от какого-нибудь цезаря-императора и рокочущим благодушно-нетрезвым голосом рассказывал ей о коринфской бронзе, о кубках, о зловещих муренах, она просто закипала от ярости.

И однажды, когда он замаячил в проеме дверей, пошатываясь и воспаря своей растрепанной есенинской прядью, прямо в очки ему полетел венский стул. Ударил не больно, но сбил очки — и вообще сбил с ног. Падая, Генрих неуверенно взмахнул руками и неожиданно полетел через комнату, сделал пируэт над кроватью дочери и вымахнул в раскрытое окно.

Женщина-инженер вскрикнула от изумления и испуга. Темное тело в плаще и ботинках пролетело над ней под оранжевым абажуром. Она бросилась к окну, перегнулась через подоконник. Внизу на асфальте ничего не чернело. Там, вверху, над крышами, мелькнуло крыло плаща и рыжая штанина.

— Генрих! Генрих!

Нет, он не вернулся. И не вернулся уже никогда. Хотя, возможно, и появлялся неоднократно. Но это была одна видимость: мятый пиджак, галстук на сторону, сломанная поперек кепка, пробковое смущенное лицо — самого Генриха здесь уже не было.

Вторая жена была мягкая такая, высокая, большеглазая и тоже сентиментальная. Двигалась как бескостная. Манекенщица. С ней было престижно все: днем спать, вечерами кочевать по ресторанам и компаниям, ночью ехать за бутылкой на машине, воровать цветы с клумбы — и никто ее не смел остановить.

Она глядела и говорила как сомнамбула. В это лето он приезжал к ней на дачу под утро на такси. Фары выхватывали из темноты частые березки «Натальиной аллеи». Он шел по колено в мокрой траве в поднимающемся тумане, как во сне.

Главное — сбежать со ступенек террасы, взмахнуть черным цветастым платком — почти ковром (производства города Коврова), увидеть милое картофельное лицо, блеск очков, несущийся к ней на свет над кустами жасмина, и кинуть длинные кисти рук навстречу своей любви. И если бы не желание иметь от него ребенка, не беременность, большой живот и желтые пятна на лице, вообще общее подурнение, взгляд в себя (а не в него) и «испортившийся характер», никуда бы он не делся, как говорила ее мама. А то протянула однажды руки в кусты жасмина — и ухватила пустоту. Какие-то обрывки — сплетни о нем, разговоры подруг и приятелей. Все появились, будто сговорились, злорадствуют. А где же Генрих? Да вот он, рядом за дачным столом (на клеенке синяя тетрадь), поблескивая толстыми очками, старательно склонив голову, пишет крупным ученическим почерком сказку про бабочку, ослика и лягушку.

Бабочка превратилась в лягушку с толстым животом, а ослик испугался и убежал.

3

Ослик пил и не появлялся на даче неделю. Всю эту неделю по вечерам он сидел в актерском ресторане за столиком на-

против величественной красавицы — будущей третьей, чувствуя себя счастливым Винни-Пухом.

— Гена, — произносила она низким хриплым голосом, — Вы лягушонок, который ищет бабу.

В некотором остроумии этой матрене-матроне нельзя было отказать. «Лягушонок ищет папу», — так называлась его сказка — известный тогда мультфильм.

Он подслеповато смотрел ниже ее шеи, где вздымались смуглые волны, распирая переливчатый шелк. Там дремали и зрели бури.

— Даля, — сказал он, закуривая, — вы любите кататься на тройке?

— Добро! — по-мужски ответила она, хотя не каталась никогда.

— Я приглашаю вас кататься на огненном драконе, — сказал он, поднимая рюмку. И многозначительно, — не испугаетесь?

— Я? — презрительно ответила она. И этим было сказано все.

— Но это после, потом. А сейчас — еще бутылку шампанского! Послушай, а ведь ты — как матрешка, раскроешь, а там — другая Даля...

— А там еще одна Даля! — подхватила она.

— Но я вижу, там еще одна сидит, — прищурил он глаза. — Пстой, а где же ты настоящая?

— А везде. Я ведь Матрешка, Матрена, раскроешь — не расколдуешь.

И они пили и водку и шампанское. И его подхватывало и несло, будто он ухватился не за женщину, а за красный воздушный шарик. Точеный носик, черные очи-глаза и много плоти, хоть ложками ешь. А кругом в гомоне ресторана все эти актеры, все эти знаменитости были сегодня зрители их игры. Вот что его подкупало. Ветер крепчал. Течение жизни выносило его на очередное безумие. Он больше не сопротивлялся. Он уже решил.

— Дальчонок, — тихо сказал он, будто посмеиваясь про себя. — Едем сейчас к тебе, только ты меня вынесешь из ресторана на руках. Слабб?

— Мне слабо? — усмехнулась каменная красавица, — Мало ты меня знаешь, сказочник.

Он расплатился и поднялся, высокий, несколько костистый блондин. Она под стать ему ростом — фигурная, налитая, и вправду самоварная женщина. Вдруг наклонилась и как-то легко и свободно подхватила его на руки, прижала к своей объемистой груди. И, твердо ступая, вынесла его из мгновенно затихшего зала. Корявый швейцар только распахнул перед ней двери настежь.

— Царица! — изумленно выдохнул он.

— Одолжи мужика, — окликнули на улице какие-то проститутки.

— Перебьетесь, самый нужен, — ответила она, не оборачиваясь.

— Отпусти, твоя взяла, — попросил он, стараясь вывернуться. Но она только крепче сжала его своими могучими руками.

— Не дрейфь, донесу.

Теплым вечером по Тверской, озаренная огнями вывесок, шла статная женщина и несла на руках взрослого мужчину. Он более не сопротивлялся, он отдался стихии, его покачивало на ходу, казалось, его уносит на слоне в какой-то индийский неоновый праздник, в темную зыблущуюся разноцветными змеями воду.

До ее дома было не менее полутора километров, но все под гору. Хотя после какой-то нелепый очевидец и завистник, возможно, с чужих слов, рассказывал, что в гору, пытая, обливаясь потом и, прошу прощения, попердывая, Генриха несла куча орущих девок. А потом бросили на рельсы и разбежались с криком.

Нет, бережно, как дитя, и все под гору до самого дома на Петровке несла Даля свою драгоценную ношу. Милиционеры отдавали ей честь, прохожие долго смотрели вслед, а машины, особенно «мерседесы», ехали тихо рядом и оттуда из темноты раздавалось восторженное прицокивание и причмокивание восточных людей. Генрих даже задремал после выпитого. И так и не очнулся, когда бросила его на просторную, как море, постель, и он блаженно утонул в ней на много ночей. Лишь зеленый отсвет рекламы пробежал вверху по потолку.

ЛЯГУШОНОК ИЩЕТ БАБУ, — кто-то начертил мелом на дверях ее квартиры. И долго эту надпись никто не стирал.

4

Недавно разбирал я твои черновики в чемодане. Надо было выбрать сказки для посмертного издания. Разные записи обнаружил я там.

«...В 2 ч., зайти к машинистке Ане, объяснение в любви в 4-х экземплярах...

...Розы сорта «стойкий оловянный солдатик» — найти обязательно для Иры (балерина — не забыть).

...Красные кленовые листья лежали на дорожке, как отпечатки гусиных лапок.

...Главный редактор М. И. Великанов издательства МАЛЫШ, а я — мальчик-с-пальчик, все равно обману.

...Троллейбус Окуджавы не был последний. За ним шел мой — синий бегемот, у которого светятся в животе лампочки.

...Вижу мир сквозь огромную каплю росы, выпукло.

...Женщина была такая большая и помятая, что хотелось разгладить ее утюгом, чтобы потом завернуться в нее, как в блин...

...Чувствовал себя муравьем, но от соска до подмышки добежал резво...

...Спать в ней, как в постели, гулять, как в свежей зеленой роще, смотреть в нее, как в небо, — жить и умереть в женщине».

5

Тем не менее ты всегда от них уходил.

От «императора» тоже. Однажды она потеряла тебя в своей собственной квартире. Только что лежа у кафельной печки — декоративного элемента — и держа между пальцами тонкий костяной мундштук, ты разглагольствовал о гениях вообще, то есть от печки. Моцарт был у тебя запечный сверчок, пиликающий на своей скрипочке. Ганс Христиан Андерсен — длинноногий аист, совал нос в каждую печную трубу. Разгорался седой

Овсей Дриз — белое пламя. Даля готовила поздний завтрак, а за спиной у нее реяли гении в сигаретном дыму.

Вдруг... оборвалось на полуслове. Даля оглянулась: на тахте никого не было, лишь в синем плавающем тумане курчавилась пушкинская бакенбарда. Но и она вскоре исчезла. Более чем странно, скажете вы. И будете совершенно правы.

Конечно, «император» заглянула и в ванную и под тахту, туалет нараспашку — никого. А уйти никуда не мог.

Даля перерыла все простыни, ища тебя в платяном шкафу. Может быть, на запах лаванды ты ушел в эту снежную белизну.

Распахнула холодильник. Ни в одном кубике льда ты не сидел. И в кастрюле в холодном борще ты не плавал тоже. Она не знала, что и думать.

И вдруг послышался слабый запах табачного дыма — твоих сигарет. От письменного стола. Дым выходил между картонных страниц бархатного семейного альбома.

Даля раскрыла наугад — и точно, глянцеваая пожелтевшая фотография: ты сидел, покуривая, на венском стуле среди нескольких бородатых молодых людей, в одном из которых она узнала своего прадедушку. О чем они говорили, Даля не слышала, но Генрих был явно раздосадован, что она таким бесцеремонным образом прервала их деловую беседу.

— Ну вот, опять ты, — сказал он, небрежно отделяясь от фотографии, — Мы совсем было договорились об организации нового издательства на паях «Сфинкс». А теперь доверие ко мне, боюсь, несколько подорвано. А среди купечества доверие — это все.

6

Ты всегда от них уходил.

Незадолго перед тем как исчезнуть навсегда — ускользнуть от всех, ты написал рассказ, который по независящим от нас причинам не сохранился. Постараюсь передать его своими словами, как запомнил.

Я и ты сидим на длинной скамье на белой от солнца набережной. Причем я рыжий, толстый, бурлескный и засыпаю.

Идут, похохатывая, две девушки. И мы понимаем (я сквозь сон), что это они нам похохатывают. Мы устремляемся вслед, подхватываем их под локотки, похохатывая (я — не просыпаясь). Похохатывает море, чайки. И, покачиваясь, явно похохатывая, белый прогулочный катер готов отойти от причала.

Одна, с кудряшками, достается мне — жизнелюбу, причем я не просыпаюсь.

С другой (высокая шея — поворот головы, как говорится, поворот от ворот) завязывается интересный разговор.

Солнечные блики восходят от моря по белому борту, по платью, по свежему девичьему лицу, лишая его индивидуальных черт. И наконец-то ты спрашиваешь у этого обобщенного существа то, что интересовало тебя всю твою жизнь.

— Что вы думаете обо мне? Вы все — обо мне?

— Вы странный, непохожий на других — и в очках.

— И больше ничего?

— Товарищ у вас смешной — и все время спит. А у вас в очках отражается: чайки пролетают.

— Просто я сам себя выдумал.

— Вы художник?

— Я Сказочник.

— А, знаю! На радио, рассказываете сказки. Дудите, мяукаете, кукарекаете!..

— Ну, я бы сказал, не совсем так... Кукарекаю, но на свой особенный лад.

— А я вас помню! Вы такой скромный! Это вы. Однажды вы трубили слонем. В детской передаче.

Смешно было отпираться.

— Да, это я.

— А товарищ ваш тоже на радио? Что он делает?

— Он изображает чайник. И всегда кипит.

— Так вот почему он все спит, даже похрапывает. Наверное, выкипел весь, бедняга. А все кругом — никто и не знает, что вы такие знаменитые.

— Получается, что все нас слышали, но не видели!

— Да! Вы такие знаменитые на весь эфир, а никто вас не видел. Можно для меня. Протрубите слонем, пусть узнают. Пожалуйста.

И ты подумал: действительно, пусть наконец узнают, пусть разнесется, пусть напечатают крупно на первой странице – в местной газете. Хватит терпеть. Это унижение, эта безвестность...

Ты вскинул голову к солнцу, поднял свой хобот – низкий трубный звук разнесся над катером. Странно было слышать слона среди бледных морских волн. Отзываясь, катерок загудел тоном пониже. Кит отвечал слону.

И вы трубили солнцу и жизни – ты и прогулочный катерок. И никто уже не похохатывал, не сомневался, не ерничал, не вредничал, не жадничал, не паясничал, не умничал, не нежничал, не постельничал, не бражничал, не важничал, не капризничал, не колбасничал, не варажничал... Все серьезно и чутко внимали. Матросы, по стойке смирно, и капитан, отдавая честь.

Именно после этого, думаю, ты исчез навсегда. Потому что было в тебе нечто, что отличало тебя от нас, белого слона, и не давало тебе покоя. Потому и женщины любили тебя. Возможно, ты не вышел тогда из простыней, из платяного шкафа. Все последующее была одна видимость, да и та вскоре исчезла, как пушкинская бакенбарда.

Но была еще одна неожиданная недавняя встреча, о которой хотелось бы рассказать.

7

Вижу, над облаками голова знакомая плывет. А сам-то я как здесь оказался? «В самолете, – думаю, – задремал и в иллюминатор вижу». Нет, какое в иллюминатор! Жутко холодно, и дышать нечем. Хорошо, что моя голова в шапке-ушанке, и шнурки завязаны под подбородком. Такой предусмотрительный, сам не ожидал.

Голова между тем подплывает, большая, как планета, курносая, ноздри волосатые – снизу видать, и глаза полузакрыты. Совсем надо мной нависает всеми своими складками и уступами. Я, признаюсь, оробел. Хочу крикнуть: «Отвали, Гена!» А как ей такое закричишь?

Вдруг слеза не слеза — стеклянный шар из-под века выкатился. Шлеп, шлеп — с уступа на уступ и вниз в голубую пустоту канула. А земля далеко туманится.

«Такая слеза с высоты упадет, — думаю, — сразу целое озеро, утонешь».

А голова дальше поплыла, не поздоровалась — не попрощалась, скользит в слоях облаков на закат.

Да не снилось мне. Просто я все время вам твержу, что все мы живем, где и не такое возможно и обыкновенно.

Когда взлетал и метался смычок, все на ней скособочивалось постоянно. Вот и сейчас батистовая блузка сползает, обнажая смуглое мальчишечье плечо и зеленую бретельку. Кисть со смычком все выше и острее. Раздражающее желание – встать, подойти и поправить. Но между нами несколько рядов внимательных к музыке затылков. Сейчас никак нельзя. Все посмотрят, как на сумасшедшего. Но что мне делать, так и подмывает. Я уже не вслушиваюсь в беспокойно пляшущую тему, я смотрю поверх голов на зеленую бретельку. И мне кажется, я знаю, что там происходит ниже: блузка слева измятым концом вылезла из-под юбки, которая вся сбилась, колготки морщат на коленках, и вся она напоказ.

– Маша!

– Алло, кто это?

– Я хочу тебя видеть.

– И я тоже.

– Ты можешь говорить?

– Не совсем.

– Я люблю тебя.

– Можешь быть уверен, я думаю то же самое.

– Тут посторонние.

– Как всегда.

– Тогда целую... всюду...

– Спасибо.

И положила трубку.

И вот в пыльном мельтешащем свете юпитеров, до того ярком, почти черном, над угловато торчащим плечом скрипки возникла узкая бледная кисть руки, лишняя, чужая. На мгновение. Но в это мгновение ты почудилась мне длинной нелепой куклой – марионеткой: игрушечная скрипка прижата подбородком, локоть ходит на веревочках, и вся одежда – лоскутки на деревянном туловище. Одним движением

одернута блузка — и бледная кисть неведомого кукловода исчезает. Не знаю, успел ли кто заметить, уши их слушали музыку, очи их видели музыку. Но твои глаза как-то испуганно округлились, впрочем, тебе было некогда, музыка привычно уносила, затягивая в свою вихрящуюся воронку. Ты — этакая деревяшка, вращаясь, улетала туда — в лазурный клубящийся свет. Две темы между тем сплетались, как витой аксельбант, две золотые тесьмы — радость и страдание. И смычок так нервически трепетал в твоей руке, что — тысяча смычков расходились из нее полупрозрачным веером.

2

В следующий раз, да, вскоре был следующий раз, когда я лежал раздавленный радикулитом на своем диване ничком, соседи (так я их прозвал) также дали знать о себе. Шторы на обоих окнах были задернуты, и в комнате жила и двигалась полутьма, как третий молчаливый жилец.

И вот что удивительно, тело мое пресмыкалось под пледом, будто ящерица, а голова парила среди звезд и свободных форм. И приходили счастливые мысли, которые и вели себя, как все счастливые мысли, — обозначали себя намеком и были готовы исчезнуть. Надо было верно почувствовать и запечатлеть их, иначе скоро изглаживались — следы на песке в полосе прибоя.

— Маша, — позвал я негромко. Очевидно, она была на кухне.

— Маша, — я не мог позволить себе крикнуть, чтобы не спугнуть свои мысли.

— Маша, — приглушенно и на этот раз. Не слышит. Они уже истлевают, коробятся под бесцветным пламенем, буквы еще белесо проступают, но вскоре рассыплются пеплом.

Я вижу на столе силуэт пишущей машинки, расстояние почти в два метра отделяет меня от нее — бездна. Каждое усилие подняться распластывает и прижимает меня к дивану новым приступом боли. В каретке, как нарочно, торчит белый листок. Но все напрасно, мой хребет не хочет прини-

мать вертикальное положение, он боится боли, он больше не хочет боли, он хребет рыбы, лягушки...

Вдруг каретка задвигалась, клавиши легонько застучали. Превозмогая судорогу в шее, я приподнял голову. В полумраке комнаты белеющие манжеты — две руки печатают текст. Каким-то образом мне известно: это мое, мой текст. Но меня это не радует. Руки мужские, незнакомые и выглядят устрашающе. Поблескивают запонки, но где остальное? А может быть, это отсвечивает ложечка в стакане, металлическая сахарница.

Во всяком случае, когда дверь приоткрылась и в комнате появилась Маша, стук машинки сразу прекратился.

- Ты печатал на машинке?
- Дай мне, пожалуйста, этот листок.
- А как же ты вставал?
- Не знаю: я не вставал.
- Больше не вставай, тебе нельзя.
- Лучше поцелуй меня, сразу все пройдет.

3

Что у стен бывают уши, я знал. Но что в стенах и вообще в окружающих предметах могут появляться глаза, было для меня неожиданным открытием. Есть в Европе магазинчики СОХО, где продаются разные забавные нелепости, предметы для розыгрыша: пищащие мешки, банки с воздухом Ниццы или глаза на веточках. Так вот, это было похоже, но совсем не забавно, потому что в самом деле, а не понарошку.

Вечером я принимал душ, стоя в нашей ванной. Легкие горячеватые струи омывали мое уставшее за день тело, которое при тусклом свете туманной лампочки казалось гораздо смуглее, чем на самом деле.

Глаз вылупился прямо посередине кафельной плитки, как желток из скорлупы, и, не мигая, уставился на меня.

— Кто? Что? Убирайся! — в панике забормотал я и невольно прикрыл бесстыдный глаз мокрой ладонью. Под рукой была гладкая плитка — и ничего более.

Глаз вылез несколько повыше все такой же желтый, как светофор. Струи воды били в него в упор и текли вниз по кафелю — не закрывался. С неожиданным для себя проворством я схватил мочалку и стал яростно тереть по плиткам. Так я и думал, это не приносило ему вреда.

Некоторое время мы смотрели друг на друга: живой с желтизной человеческий глаз в кафеле и я, обливаемый струями горячей воды. Глаз мигнул.

— Я понимаю, — говорил я негромко и быстро, — Ты здесь рядом, но в то же время недостижимо далеко, ты изучаешь меня, возможно, я такой же, как ты, может быть, я кажусь тебе чудовищем, или сам ты не показываешься мне, потому что диковина и урод, с моей точки зрения, но, согласись, у нас есть общее, твой глаз не может принадлежать спруту или быку, он выражает мысль и любопытство, но, возможно, это мой глаз каким-то образом отражается на влажном кафеле...

Глаз снова подмигнул и потускнел, будто хотел сказать: «Ерунду говоришь, приятель, и вообще...» Глаз стал быстро покрываться патиной, словно известковой пылью, побледнел, побелел, изгладился. Безликий безвидный кафель.

— Что ты там кричал сквозь шум воды? — спросила она, — Монологи самому себе произносишь?

— Я говорил, что люблю тебя, и ты услышала.

— Да? Приятно слышать. Но ты словно сердился.

— Я сердился, что ты не можешь слышать меня.

— Я всегда тебя слышу.

И позже, лежа рядом в темноте, я не мог отделаться от ощущения, что нас созерцают — и темнота этому не помеха. Возможно, у них, у соседей, инфразрение. И сейчас они видят наши красновато-сине-желтые тела, руки, ноги, сплетающиеся на светлой простыне и ласкающие друг друга, может быть, видят мое прикосновение, и вот-вот сейчас извержение и замирание, очерченное каким-нибудь светящимся пунктиром. А ее ярко-лиловые волосы! Ее лиловые волосы! Как взрыв...

И совсем потом, легко уплывая во тьму, я бегло подумал, наверно, она притягивает их, ведь есть же в ней что-то магнетическое, ведь она сама как музыка — длится и переходит

из одного в другое, темы переплетаются — и хочется, чтобы это никогда не кончалось.

4

Иснилось мне, что мы — в лесу идем по непросохшей после дождя проселочной корневистой дороге, чтобы успеть к электричке. Потому что потом электрички долго не будет, может быть, сегодня уже все. Что-то мы там собрали в лесу: то ли грибы, то ли какие-то патроны, а возможно, это были грибы, которые взрывались, прячем их в пакетах, друг другу не показываем. Для тебя очень важно попасть к электричке, а мне все равно, даже лучше, если мы заночуем на этой дощатой богом забытой станции. И ты сердисься, что мне все равно. Ты торопишь меня. «Тебе все равно, — говоришь ты на ходу, — А они там без нас пропадут». Я понимаю, что они пропадут, и не то чтобы мне их не жалко было, а какое-то нехорошее предчувствие сжимает сердце. Ты ускоряешь шаги, я тороплюсь за тобой, ты почти бежишь. Все кругом потемнело, будто сумерки или большая туча над лесом. За елками где-то гудит. Твой тяжелый пластиковый пакет провалился, вижу, оттуда лезет коричневая крутая шляпка, вот-вот выпадет. «Сейчас мы взлетим на воздух!» — в панике думаю я и бросаюсь вперед. Успеваю подхватить толстый боровик, который уже пошел зелеными пузырями, но спотыкаюсь о скользкий корень и падаю, не выпуская его из рук. Вижу тебя, ожидающую меня с явной досадой. И вдруг передо мной — карта, где боковая координата — время, а нижняя — пространство. И в этой расчерченной сетке: и лес, и мы с тобой, и те, которые ждут где-то на чердаке, и те, которые ищут, окружают, и столбы с проводами, и мчащаяся электричка. И вижу, твоя фигурка совмещается с передним вагоном. Это конец.

Мигом вычисляю по системе координат: «Станция Лесная, девятнадцать пятнадцать». Это сейчас.

— Девятнадцать пятнадцать! — кричу я, бросаясь к тебе и хватая тебя за руку, — Никуда я тебя не пущу! Девятнадцать пятнадцать!..

Но я схватил воздух, ты ускользаешь, электричка стучит совсем близко, все совмещается... и с криком я просыпаюсь.

То, что она скатилась на край кровати, свесив голову и руку, было для нее обыкновенно. Но кто-то лежащий между нами моментально поднялся в воздух и неслышно растворился в темноте на фоне окна. Я успел его уловить краем глаза, клянусь. Нет, я почти ручаюсь, кто-то сотканный из тонкой плоти лежал здесь и подсматривал мой сон. Мне эти соглядатаи уже начинали надоедать.

5

Сначала второе лицо стало просматриваться на фотографии нашей погибшей овчарки, вернее, вторая морда. Гляжу на фото и вот вместо благородного профиля вижу повернутую ко мне хитрую усатую, какую-то плебейскую физиономию с острыми ушами. Я уж промаргивался неоднократно, все равно.

А пятна сырости на стенах, смятая одежда на стуле, почему они обращают к нам свои устрашающие лица? Боюсь, так проявляются те, другие.

У твоей скрипки обозначилось и очертилось лицо. Длинное, унылое, гладкое лицо красновато-желтого дерева. Когда ты подносишь ее к подбородку, она вытягивает губы и быстро чмокает тебя в шею. Вот и отметина красная.

Когда скрипку помещают в футляр, она смотрит оттуда, как старинный портрет из узкой темной рамы или из окна. Что она живая, у меня и прежде не было никакого сомнения. Но с некоторых пор я стал ловить себя на мысли, что ревную тебя к инструменту, не хочу, чтобы ты играла.

— Часами упражняешься. Ты погубишь свое здоровье. Может быть, поедем куда-нибудь?

— А как же я буду играть на конкурсе?

— Но надо же и отвлекаться. К тому же мы сегодня, если ты помнишь, обещали.

— Не хочется что-то, там всегда скучно, даже когда весело.

— Но сегодня там кое-кто будет. Звонили.

— Знаю я этого «кто-то», еще часок.

Через час.

— Все. Давай собирайся, не успеем.

Я отбираю у тебя скрипку, будто в шутку, но когда хочу положить инструмент в футляр, струна с визгом обрывается и больно стегает меня по руке и лицу.

— Твоя скрипка ударила меня!

— Вот негодная.

— Она нарочно!

— Не будь ребенком. Где? Сейчас заживет.

Ты целуешь меня в горящую полосу на щеке, и вправду она утихает. Я поворачиваю тебя к себе и долго целую. Наконец-то я чувствую твои губы своими, всю тебя. Теперь я бросаю на твою скрипку злорадный торжествующий взгляд. Вид у нее брезгливо-недовольный, вытянутая физиономия.

— Смотри, она сердится.

— Это потому что хозяйка уходит в гости.

— Ты думаешь, она скучает?

— Она всегда. Потому и не слушается, когда возвращаюсь. Звучит резко, мне назло.

— Она любит тебя. Тебя и вещи любят, и деревья. А меня — все норовят веткой ударить.

— Главное — чтобы я тебя любила.

— Нет, ты мне изменяешь.

— С кем же я живу, по-твоему?

— Кто тебя знает, может, со мной. А может, с тем, кто возникает между нами.

— Вот, я взъерошу ему волосы.

— Это ты — мне.

— Нет, ему.

— Ты видишь его?

— Я вижу тебя. Обними меня.

— Твои губы... Я готов без конца повторять: твои губы...

Чувствуешь?

— Люблю твои руки.

— Это не мои руки.

— А чьи же они? Чужие?

— Это его руки. Тише, не спугни его. Вот сейчас он обнимает тебя. И целует. Блаженство. Раньше он этого никогда не

испытывал... Он давно тебя любит, давно... Это я тебя люблю, это я...

Вдруг я с ужасом осознаю, что все это говорим и чувствуем не мы, что, возможно, нас подменили. Кто же? Кто? Наши незримые соседи? А где же мы? Сколько нас? Двое или четверо? Или мы затеряны в причудливых складках реальности, в бесконечной толпе наших повторений, изменений и лишь иногда находим и узнаем друг друга среди чужих и чужого.

Ангел Алексей Иоанович

1

Прежде меня ангелом Алешей звали. Это потому, что мой подопечный был еще мал. Такой бойкий мальчик был, ни-почем не уследишь. То на подоконник залезет, потянется к облаку, похожему на птицу, то за мячиком на дорогу побежит, только успевай его подхватывать. Как нарочно. Не иначе судьба ему была – в младенчестве уйти. Не дал я. Нравился он мне – Алеша. Вот он и вырос такой рисковый.

В детстве видел меня Алеша. Один раз – когда на подоконнике висел на страшной высоте над шумной улицей, в другой раз – когда корью болел. А потом уж я ему не показывался.

Теперь я взрослый ангел, ангел-хранитель, Алексей Иоанович Чижов – мое полное имя. Невелик чин, ну да ведь у нас не так, как у вас, не по чину чествуют, а по светоносности. Кто больше несказанного (у вас и слова-то такого нет, назовем его добросветом), так вот, кто больше этого добросвета излучает, тому и почет.

Из нашего мира сияющих сущностей перехожу в ваш мир грубых материй, как – и сам толком не знаю. Слышу, зовет – и я уже здесь, над плечом его обычно.

2

Посмотрите моими очами на материальный мир, и вы страшно удивитесь. Все скошено, скособочено и как-то смазано, вроде не важно это, и существует так, между прочим. У людей и животных ярко видны глаза и ноздри, губы. Так художник Филонов видел, пожалуй. Кстати, есть картины в музейных залах: краски громко гремят, а книги, рукописи – так просто облако клубится, и лица сквозь облако светятся. Библия в доме была. Откроет ее бабушка Чижова, так оттуда куски пламени на паркет падают и песком метет. Смот-

реть страшусь. А ей, бабушке, и невдомек, тычет сухой палец в жидкое пламя, губами шевелит — ничего не понимает.

Мой Алексей на художника выучился, хорошая профессия для человека. Потому как художник внимательней на все глядит и кое-что ему открывается. Выучился Алексей и стал писать в своей мастерской. Сначала предметы, потом предметы на себя похожи не стали. А потом уж беспредметному пора настала. Друзья придут, водку пьют и спорят, все спорят об абстрактном искусстве. А разве треугольники и квадраты — не предметы? У них и душа есть. Меня спросите о беспредметном. О свете сквозь свет, о высотах, куда мы, ангелы, глянуть не смеем. А темные глубины, куда мы боимся заглядывать? Только человек такой отважный, да и то по незнанию.

Итак, представьте картину. Спиной ко мне на косом табурете Алексей скособочился над косым подрамником, косою кисточкой надпись косую выводит: ВОЙНА ШАРОВ И КВАДРАТОВ. Повернул к себе холст, смотрит. Красные и синие квадраты хотят поразить шары, но видно, что бьют вскользь, промахиваются. А тяжелые, с металлическим блеском шары норовят раздавить квадраты — катаются, не причиняя им вреда. Я сразу понял: воины из разных реальностей, хорошая картина, правдивая.

Алексей и Нина были, на мой взгляд, тоже из разных реальностей. Он — из трехмерной, она — из двухмерной. Тут в мастерской вся их любовь-непонимание происходила. Боюсь, он только скользил по поверхности, а она, пытаясь достать его до самой сердцевины, только касалась вскользь. И раздражало это обоих ужасно. И, раздражаясь, они начинали убивать друг друга словами, но слова только рикошетили. Что для него было слово «фанатик» или «шизофреник». Он был фанатик и шизофреник, и хотел ими быть. С другой стороны — «дура» и «самка». Она была дурой и самкой — и это было ее бабье торжество. Только рваная раскладушка их мирила, и они ее долго доламывали по ночам.

Ангела-хранителя я у Нины не обнаружил. Сначала думал, что забыл он ее, но потом как-то почувствовал: так и должно быть — пусто за тоненьким плечом. Зато окно, моль-

берт, известковая стена (я все на фоне стены ее видел) проступали явственней, чем обычно.

Нет у человека ангела-хранителя. Значит, не вполне человек. Нина вся такая — соски вперед сквозь материю, ноги аж до Владивостока, а вот не человек. Вскоре увидел я: владеют ею темные желания, не бесы, а так — ниже этажом из полуподвала на уровне ног. Налетит стихийное, зрачки потемнеют, по лицу судорогой пройдет, и вся она этаким магнитом сделается. Человека даже помимо воли притянет, а вещь сама в руки идет. Просто — до анекдота.

На вечеринке понравился Нине старый серебряный браслет на руке одной пожилой женщины. Та моментально в нее влюбляется, снимает свой браслет и дарит, умоляет принять на память.

То же с «мерседесом». Нет, «мерседеса» ей никто не дарил. Но машина вечно торчала у ее подъезда, и владелец катал Нину, куда она ни пожелает. Даже к Алексею возил.

Алексей ревновал, конечно. Скандалил и бил. Но что может сделать шар квадрату? Даже поверхности не изменит.

И вот однажды заметил я за плечом Нины некий дымок образовался, туманное нечто — в кудряшках, вроде овечки.

«Что такое может быть? Не из нашего ли мира? Неужто ангел-хранитель? Статус у нее не тот, чтобы ангела удостоиться». Присматриваюсь, а нечто робеет, явно меня смущается и боится.

— Кто вы? Что вы? — спрашиваю.

— Скорее что, чем кто, — отвечает боязливо.

— Вы только сейчас произошли, — догадываюсь.

— Только что, ангелица-ученица, зовут меня Нина. Вы ведь меня не обидите? Я ведь еще ничего-ничего не знаю, — а сама чуть не плачет.

Эманация между тем сгущается, проглядывают, определяют длинные девичьи черты, ресницы долу, слеза висит, на губах улыбка мелькает. Полудевочка-полуребенок, ангел, что и говорить. Там у нас таких немало, но в ней что-то жалкое было, беспомощное.

— Не бойся, — говорю, — не обижу.

3

Стали мы с ней видаться. Чем дальше, тем чаще. Раньше-то я частенько манкировал, свыше даже одобрялось это. Не все же подопечного от падения оберегать и под руки подхватывать, должна быть свобода выбора. Конечно, человек может и под машину попасть или, например, в камнедробилку угодить. «Где был ангел-хранитель?» Где был? Что у ангела своей личной вечности быть не может? Ну, да не все вам, людям, знать про нас. И так о многом догадываетесь.

Придет к Алексею Нина, заварят они свой вечный разговор-выяснение: кто виноват и что делать. А мы с ангелицей под потолком незримые витаем. Все о жизни здесь расспрашивает. Тьма и свет, добро и зло, жизнь и смерть — это она на уровне элементарных частиц понимала. А вот про свои обязанности знала слабо. И про любовь тоже.

— Как это — оберегать? От чего оберегать?

Объясняю, проясняю. Надоест — небылицы начну рассказывать.

— Видишь, твоя Нина внизу как сердится! Как орет! Даже жилы на шее набухли, еще немного — и порвутся жилы, кровь фонтаном в потолок брызнет.

— А что делать?

— Хлопни ее сверху ладошкой по затылку.

Она подлетела и хлопнула. Нина с разинутым ртом так и осталась.

— Что с тобой? — это Алексей, — Тебе дурно? Воды?

Наконец обрела дар речи:

— Знаешь, меня сейчас кто-то детской ладошкой по затылку — хлоп.

— Это у тебя давление.

— Это у тебя давление!

И снова пошла накручиваться, распалаться. Пока Алексей ей рот поцелуем не зажал.

— Смотри, твой мою раздел. А теперь собой давит. Раздавил совсем.

— Надо спасать. Ты же ангел-хранитель.

— Спасать? А как?

— Пощекочи свою под мышками, она сразу моего с себя сбросит.

Опять — скандал. Но, кажется, она довольно быстро стала все понимать, ангелица. Вижу, потемнела лицом, каждую нашу встречу обдумывает. Привязался к ней, кроткой. И любопытно мне: что ее тревожит?

— О чем ты все время думаешь?

— О тебе и обо мне.

— А что о тебе и обо мне?

— Почему ангелы друг друга не любят?

— А чем нам любить друг друга? Смотри, у всех здесь гладко.

— И никак нельзя войти друг в друга?

— А зачем?

— Чтобы почувствовать друг друга.

— Мы и так из одного чувства созданы.

— Я тебя чувствую.

— Вот видишь. Мы можем даже касаться друг друга флюидами симпатии.

— Но флюиды — это не любовь! — горячо сказала она, — Я хочу! Понимаешь, я хочу, как люди! Ссориться, драться, а потом чтобы ты был во мне, во мне! Ты такой сильный!

И мне передалась ее горячность. Я весь пошел жаркими волнами, но нечем этому было разрешиться. И я впервые почувствовал неудовлетворенное желание. Оказалось, это — как жало.

— Мы должны сейчас же разлучиться, — сказал я.

— Направить лучи свои в разные стороны? Никогда этого не будет. Смотри, там внизу под нами это только люди, а он называет ее такими ласковыми словами, что мороз пронизывает. И ее вскрики обжигают меня. Разве тебе меня не жалко? Только посмотри: тут ожог, и здесь обожгло, и здесь. У меня даже припухло. Наверно, скоро вырастут груди. Разве ты не хочешь потрогать их?

И мне захотелось потрогать их. Слишком часто я наблюдал тех, там внизу. А они ведь совсем не стеснялись.

— Ты такой сильный и умный, — продолжала она, — Ты можешь отрастить свою светлую плоть и придать ей красивую форму.

— А что скажут там, которые неизмеримо выше?

— Разве нам не дана свобода выбора?

«Вот до чего она додумалась! — подумал я, — Действительно, свобода выбора дана всякому творению, можно даже уничтожиться, совсем, без дальнейших воплощений и излучений, начисто. Но этого боятся все, даже темнейшие из нас».

— Но ведь ты хочешь, можешь, надо только попробовать, — говорила она, — Мы же совершенней, и у нас должно получиться более красиво, чем у них. Ты войдешь в меня с силой и божественной мощью. Тогда мы станем как те, которые там, неизмеримо высоко.

«О, кощунство! — думал я, — Бедный Адам!»

Так мы и сделали. Теперь мы падшие ангелы. Но это был наш выбор. Не знаю, что случилось с нашими подопечными. Кажется, Нина вышла замуж за хозяина «мерседеса». И не потому ли Алексей Иоанович попал в аварию? Признаться, я больше не следил за ним.

А с нами случилось вот что. Мы потемнели ликами, уплотнились — стали плотью человеческой и шлепнулись на землю, как два созревших яблока. В общем, сделались людьми. Чижовы мы, Алексей и Нина. Ребенок у нас, мальчик, Петя, Петр — камень по-гречески. Надеюсь, у него есть ангел-хранитель. Кому он улыбается, когда лежит в кроватке один?

Оружие

1.

Алик Абрикосов любил оружие платонической любовью. Никогда не учился стрелять, да и не стрелял никогда. На стене у него висела казачья шашка с оборванным темляком и золоченый морской кортик, доставшийся от покойного деду. Тогда, при Сталине это было парадное оружие.

Ложась спать, Алик обычно клал под подушку тяжелый плоский пистолет типа Браунинг. Зачем он это делал, спросите? Так было надежней и быстрее засыпать. Сквозь мягкую упруго-податливую толщину подушки он чувствовал скулой плоский металл. Опасный предмет. Это было приятно. Это успокаивало, как голос матери.

А проснуться ночью вдруг от близкого скрипа или мяуканья, еще не подняв головы, нашарить под подушкой оружие. И долго потом сидеть в темноте на постели — паркет холодит босые ноги, — сжав пистолет, вглядываться в смутно белеющее окно.

Кстати, пистолет был заряжен. Алик умел разряжать его. И любил сидеть вечерами за письменным столом, маме говорил, что работает, размышляет. А сам расставлял перед собой в ряд этих медных круглоголовых солдатиков. Каждый из них был готов выполнить свой долг с отменным безразличием. Позавидуешь. Желтые гильзы были гладкие и холодные на ощупь. Можно было их перебирать и класть на бочок. Такие тупые симпатичные поросята, ясные в свете настольной лампы. Это доставляло постоянное удовольствие.

А порой, когда был совсем один, Алик снимал дедов кортик со стены, нажав на шпенек, вытаскивал довольно длинный клинок. И медленно проводил кончиками пальцев по зеркальному, с женственной ложбинкой лезвию. Вдруг одним движением загонял клинок в ножны. Щелк, щелк. Вынимал и вставлял, вынимал и вставлял, такие судорож-

ные рывки. Все чаще и чаще. Ни одна девушка не могла с этим сравниться. Потому и был к ним прохладен.

2.

И все-таки он влюбился. Приятель привел познакомиться с красивой, с поэтессой, с чужой женой. Алик идти не хотел, побаивался. Начинаящий журналист, вообще никто, а тут — богема, богемское стекло, хрусталь. Надо было купить белых роз, если уж идти. Приятель предупреждал, умная тонкая женщина. И это тоже отпугивало. А оказалось на удивление просто.

В один вечер они так легко и свободно дотанцевали до постели, что Алик лишь тогда опомнился, когда легкие узкие пальчики стали стягивать с него трусы.

— А он у нас смотрит молодцом, — сказала умная женщина, и прикоснулась к нему губами.

Молния пронзила снизу Алика, и клинок вошел в горячие влажные ножны. Он понимал, что с ним играют, что все это — прелюдия, кошачьи прикосновения, что его мышка должна шмыгнуть в ее норку. Что это как музыка: сначала адажио, затем игривое скерцо, а потом — престо, престо, престиссимо...

И лишь тогда можно скользить и падать с вершины, как водопад. Но, о, стыд! Все случилось сразу, некстати, она даже не успела настроиться, эта тонкая умная, потекло горячее белое по губам, по лицу, по подбородку.

— Я не хотел, — почему-то сказал он.

— Какой быстрый мальчик. Ты как спичка, — утешила она его. И усмехнулась.

— У тебя сильные стройные ноги. Давай ляжем, ты будешь меня любить потом, — деловито предложила богемная женщина, — Подожди, я сначала — в ванную.

Но ни потом, ни позже, ни ближе к полуночи он не смог ее любить. Она лежала рядом как хозяйка. Трогала его где хотела и усмехалась. Не нравились ему эти тонкие губы. Вот если бы они снова стали ножнами. Но женщина явно этого не хотела. Она хотела делать то, что она хотела. И он чувст-

вовал в ее опытных руках каким-то несмышленным младенцем с маленькой пиською, которую как ни тереби, все равно ничего не получится.

— Э, да мы ничего не можем, — скривила она губы, — Мы хотим домой баиньки, заиньки хотят баиньки, — пропела она. Ясно, она презирала его. Метро вскоре закрывалось. Ехать было далеко. Приятель давно ушел. Униженно улыбаясь, Алик кое-как наскоро оделся. У дверей губы прикоснулись к губам: железка к деревяшке. И адье. «Позвони завтра» — из вежливости.

3.

В вагоне метро Алик дремал весь длинный и прямой путь. Пустой, ярко освещенный вагон дергался и гремел какими-то металлическими частями, ускорял ход. И Алик куда-то все время проваливался.

Он полз юзом, упираясь локтями и скользя в глине. Он лежал насквозь промокший, шинель стояла на нем коробом и вдавливалась в землю. На ноге развязалась и волочилась обмотка, пусть. Он прижимал к плечу тяжелый приклад неестественно длинной винтовки образца 1893 года. Далеко впереди мелькающие зарницы высвечивали тонкий силуэт штыка. Впереди за пеленой дождя размеренно молотило.

Алик был грязен до самого исподнего, давно небрит, скорее какое-то скользкое беспозвоночное животное, окопная ящерица, чем человек. В нем на самом дне копошилось сознание его деда. И это сознание хотело ускользнуть, убежать туда, где сухо и тепло. Где можно дышать и не стреляют. Земля вздрагивала, как живое тело, холмы раздвигались и оползали жирными ляжками. Там внизу то и дело высвечивалась черная канава, извилистая промежность, казалось, она усмехалась. С каждым разрывом снаряда земля подбрасывала и подталкивала его все ближе и ниже. Беззубая щель чернела все шире, все змеистой. Совершенно очевидно, она улыбалась, готовясь разжевать его и поглотить.

4.

Дома ему сразу захотелось застрелиться. Просто так. А что? Просто так. Рывком выдвинул ящик стола, и рука сама легла на прохладную гладкую рукоятку. С облегчением. Как будто пришел к самому близкому другу, которому все можно высказать, и он поймет, и он поможет. «Выстрелишь, а мать спит здесь за стеной. В уборной? Нет, невозможно. В последнюю минуту видеть сиреневый унитаз и розовую туалетную бумагу. И еще кровь на кафеле. Будто взял тебя кто-то и спустил вместе с потоком воды в канализацию. Но как жить дальше? Забыть. Забыть навсегда, как будто этого не было. Черноглазая Ляля, двадцати еще нет и давно в него влюблена, возле да рядом ходит. И такие у нее невинные губы. Но как? Как ее заставить делать это? Ее губы, ему всегда казалось, предназначены лишь для того, чтобы говорить об интересных им обоим вещах, о политике, о том, что статью надо скорее сдавать в номер. А делаться ножнами для него? Нет, они совершенно не способны».

И тут еще Алик подумал, что она, модернистка и бесстыдница, непременно расскажет обо всем приятелю, а тот — общим знакомым. И ему стало совсем нехорошо. Однако стреляться расхотелось, момент был упущен.

Вдруг произошел «вдруг». Иначе и нельзя об этом сказать. Он вдруг возненавидел ее с такой страстью, с таким упоением. Он — мужчина. Он сорвет с нее весь ее шелк и нейлон с треском. Он заставит ее делать все, что он хочет. И даже если он не хочет, он унизит ее так, что она никому не посмеет рассказать. Сейчас же. Он вдруг забыл, как ее зовут. Таня? Тамара?

Он тут же набрал телефон. Он желает ее видеть сейчас же. Сонный недовольный голос. Она спит, она не хочет просыпаться. Она просит его подождать до завтра. Она вообще занята. И не одна. Но Алик не хотел ни о чем слушать. Он забыл. Он оставил у нее важную вещь, документ — где, не знает. Надо срочно найти.

Сунул в карман пистолет. Снял со стены дядюшкин кортик, он никуда не умещался, завернул в газету — в пакет.

Сбежал с лестницы. На пустом шоссе — зеленый огонек такси. Поднял руку, такси затормозило. На этот раз ему сопутствовала удача.

5.

С предохранителя пистолет не снял предусмотрительно, поднялся в лифте. Открыла сразу. Смотрит зелеными враждебно-насмешливо, и, видно, не нужен, не любит.

— Ну, что ты у меня забыл?

Он стремительно рванулся в квартиру, чуть не сбив ее с ног.

— Тебя забыл!

— Сейчас же уйди.

Он посмотрел на нее сумасшедшими глазами.

— Не уйду.

— Я вызову милицию.

Расчетливо-медленно он вынул из кармана руку с пистолетом. В упор на нее глядели его рыжие безумные глаза и третий — черный пустой зрачок. Как будто даже подуло оттуда, тихонько...

— Ты будешь делать все, что я тебе скажу. И все будет так, как я захочу.

— Но это же смешно... — начала она. И осеклась.

— Иди, — сказал он, — в спальню. — И она попятилась перед ним.

— Сумасшедший, сумасшедший...

Они думали одно и то же: «Как это похоже на американские боевики: в жизни этого не должно быть, это нелепость, пошлость, повтор. Это смешно в конце концов. Это действительно смешно». Но движения своего не прерывали: по коридору, дверь — настежь, в спальню и на постель.

Она послушно легла навзничь, готовясь в любую секунду взвизгнуть, завопить, соскочить, ударить его, и не сопротивлялась, лишь смотрела на него ожидающими расширенными зрачками. В конце концов ничего подобного с ней еще не случалось.

Понимая, что теперь можно несколько расслабиться, он положил пистолет на журнальный столик. Затем развернул

пакет и выложил рядом дедушкин кортик. Он вел себя, как хирург, который готовится к операции. Сначала полуголый хирург, потом голый хирург.

Торшер светил прямо на нее, как лампа в операционной. Он разрезал кортиком ее ночную рубашку — всю, ткань расплзлась, он сверху смотрел на оперируемую. Затем доктор положил нагое лезвие между ее небольших грудей, они как-то жалко раздались в стороны. Она не шевелилась. Он ощутил себя господином ее.

— Ты — моя рабыня, — сказал чью-то шаблонную фразу Алик. И ему не было стыдно.

Стал совсем близко, наклонился над ней. Ножны послушно наделись. Но господин не этого хотел. Он просунул ствол пистолета между ее губ, которые вдруг стали пухлыми и нежными, и стал потихоньку водить туда-сюда, туда-сюда, назад-вперед, назад-вперед.

Он чувствовал, как внизу его личный замечательный пистолет, его корабельное орудие, его континентальная ракета поднялась и устремила прямо к цели. В полном молчании и торжестве.

Человек с золотыми подмышками

В одном южном городе жил человек, у которого светились подмышки. Когда он поднимал руку, оттуда ударял яркий свет — ярче электрического фонаря.

Улицы в этом городе, как и в других городах России, плохо освещались, и, когда человек поздно возвращался домой, соседей это заставляло врасплох. Словно на короткое время взошло солнце, прошествовало через двор — и по лестнице.

«Каждую ночь в окнах квартиры № 37 зажигается неестественный, нечеловечески яркий свет. Не мафия ли это под покровом ночи пересчитывает свои барыши?» — писал бдительный пенсионер.

«Просим проверить, не похищен ли с какого-либо полигона важный аппарат, необходимый для обороны страны?» — жаловались старушки.

«2 часа 00 минут. Зафиксировал. На лестнице дома напротив пришелец передавал сигналы на орбиту. Над домом замечена тарелка. Прошу разобраться в зафиксированном мной явлении».

Приезжали, поражались, проверяли, но так и не разобрались. Выводы и диагнозы были различны, человека несколько раз отправляли в милицию и в больницу. Лечили. Но, кажется, безуспешно. Других последствий не последовало.

Родители с самого начала относились к этому, как если бы у ребенка был шестой палец на ноге. Очень любили тушить свет на семейных торжествах. А потом привыкли:

— Погаси подмышку. Дай спать.

Еще в юношеском возрасте со смутным чувством ожидания человек рассматривал себя по пояс голого в зеркале платяного шкафа: лицо — ничего выразительного, фигура — никакой значительности. И вдруг поднимал руку, как голосовал, — из сумрака зеркала бил слепящий луч, опускал руку — и снова серебряные сумерки и круги в глазах. Что-то должно было с ним случиться... Ведь не зря же такое...

Но ничего не случилось, кроме мелких неожиданностей и таких же неприятностей.

В юности некоторое время занимался в атлетической секции. Озадаченный тренер щупал его длинные мышцы предплечья и заглядывал под мышку.

— У тебя, парень, золотые подмышки! — восхищенно говорил он, — Может быть, тебе заняться сиамским боксом? Раз! — и противник ослеплен. Два! — нокаут ногой, и он вырубается... А может, тебе пойти во флот сигнальщиком?

Нет, не пошел он во флот по причине близорукости. Но подруга, потом жена, часто в интимные моменты говорила:

— Не свети, дурашка. Мы же с тобой, как на экране, — и смеялась, смеялась — все это ей казалось очень смешным.

Друзья и сослуживцы тоже посмеивались, но относились с некоторой опаской: такой дар непонятно зачем, может быть, в этом есть скрытое значение, до поры игнорируемое наукой. Что-то вроде как у экстрасенсов, но в отличие от них — ни пользы, ни вреда.

Так и проходила эта жизнь больших ожиданий и несбывшихся надежд. Но, как всегда, сработали Время и Случай. Из темноты высветлился не совсем благообразный лик — раннеморщинистый, небритый, с жадными глазами и тонким ртом. Полуфилософ-полумонах, а впрочем, случайных подруг не чуждался.

В богемной компании, по обыкновению, не столько пили, сколько галдели и, конечно, попросили нашего героя продемонстрировать свои способности. Полуфилософ-полумонах видел такое впервые и был потрясен.

— Это чудо. Тебе нужен храм, — горячо убеждал он героя.

— Зачем мне храм? — удивился человек, — У меня двухкомнатная квартира, вот мой храм.

— Красота спасет мир, слышал? — угрожающе произнес полуфилософ-полумонах.

— Ну, слышал, — признался собеседник.

— Фонари разбиты, улицы не освещаются, мир ходит во тьме, — продолжал убеждать его, схватив за руку, новый приятель.

— Ты спасешь мир. Твои подмышки — дар Божий, я убежден. Нельзя зарывать в землю свое золото, которое у тебя там. Помыслы Господни неисповедимы. Одному Он дает чудотворные мощи после смерти, а другому при жизни — чудотворные подмышки. Слышал, верующие целовали папе пятку, и то излечивались. Не говоря о том, что можно зарядить добром номер газеты или экран телевизора. Мало, еще мало мы знаем о мире, который пребывает во мраке и хочет преображения. Спросит тебя на Страшном Суде архангел: были тебе даны чудотворные подмышки? Пролил ли ты золото в мир? Научил ли его высшей радости светиться? Плясал ли, как Давид перед ковчегом, сияя своими золотыми подмышками?

На окраине около железной дороги стоял пустующий Дом культуры: облупившийся зал, пыльная сцена и предбанник с колоннами. Там и устроили храм.

Полуфилософ заказал где-то в типографии пачку объявлений и расклеил их по городу. Гордо ходил он с банкой клея и свертком афиш, что само по себе привлекало внимание.

ГОСПОДЬ СВОИМ ЗНАКОМ ОТМЕТИЛ НАШ ГОРОД. ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМИ ПОДМЫШКАМИ. СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ И УВЕРОВАТЬ, — Многие, конечно, на собрание не пошли, но задумались. А уж когда задумываются где-нибудь в провинции, это что-нибудь да значит. Пошли слухи, разговоры. Вспомнили, что кто-то видел, кто-то слышал. И в свете происходящих в стране событий это выглядело тревожно.

В субботу к 8 часам в зале Дома культуры собралась публика, не то чтобы много, а так — пришли полюбопытствовать.

Над входом две золоченые пальмовые ветви осеняли входящих. Над дверями в зал щит и меч — тоже из театрального реквизита. Центральная люстра не горела, по стенам светились лампочки в бронзовых рожках.

Смущенно, подальше от эстрады, рассаживались девушки из общежития, несколько пожилых женщин, наглые подростки, кое-кто из богемы и разные колоритные личности, вот — старый учитель, всегда с туго набитым потертым портфелем. Он не пропуская ни одного собрания или лекции. Два

солдата пришли и, робея, стали в дверях: им было все равно, где быть, а тут — девушки, и брезжила надежда на кино.

На сцене стоял стол, покрытый красным кумачом и два стула. Серая, как мышь, пробежала уборщица сначала с графином, потом со стаканом. Кто-то злобно шикнул на нее из-за кулис, она заметалась и исчезла.

Наконец неловко вышли двое. Заскрипели стульями, усаживаясь. Заерзали и в зале. Вообще-то наш герой чувствовал себя неловко и в зал старался не смотреть. Но видел краем зрения: какое-то чудовище ворочается в полутьме. Остро захотелось домой, как в туалет.

Новый друг незаметно подмигнул ему, поднялся и кивнул кому-то вбок. Свет стал меркнуть.

И в этом исчезающем свете он решительно прошел на авансцену. Из зала было видно, глаза его сверкали, как лампочки.

— Братья и сестры, граждане и военнослужащие (военнослужащий в дверях шмыгнул носом)! В Послании апостола Павла коринфянам сказано: «Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Теперь посмотрите на себя, чей образ вы носите. Взгляните на свои волосатые руки и ноги, на свои волосы и ногти, которые, если не подстригать регулярно, превращают вас в диких зверей. Но если не подстригать свою душу, она зарастает еще более дико и страшно. Поглядите на свои нестриженные души, друзья мои. Вот они, ваши огрубелые души с торчащими клочьями волос изо лба и носа, с загнутыми синими когтями, можно ли их назвать душами людей? Такими ли их вручил вам Господь? Ваши души были розовые младенцы, и мир им — смеющееся дитя.

Скоро! Грядут последние времена. Так пустите же ваши души в баню на полок. Пусть попарятся они от души. Поддайте им пару, хлещите их калеными вениками раскаянья и покаяния. Подстригите вашим душам когти. И когда они отмоются, и плоть ваша сделается иной. Ибо сказано пророчество: «Плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия, и тление не наследует не-тления... Говорю вам тайну: не все

мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока... Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие».

И уже стали, уже облакаются избранные безгреховные. Господь уже начал раздавать нам новую плоть. Я вижу: вот идут люди, одни со светящимися развевающимися волосами, другие — высокие, стройные — сверкают своими длинными серебряными ногами, у третьих светятся розовые пальцы, а иные девушки всем юным телом светятся сквозь легкие платья и бегут в свет.

В зале и на сцене стало совершенно темно, только узкая полоска падала откуда-то сбоку и резко очерчивала силуэт говорящего:

— Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? — трубил он, — И в нашем городе, среди нас есть один такой, отмеченный Божьим Знаком. Он уже получил нечто, и сейчас он вам покажет это.

Как было заранее условленно, человек выступил из-за стола. Слышно пошел к невидимому краю сцены.

— Стой! — удержал его проповедник, — Давай!

Человек внезапно поднял обе руки — из подмышек в зал во тьму ударили два ослепительных пыльных луча. Тьма ахнула и попятилась. Все вскочили с мест. Со сцены золотистый свет рельефно освещал непохожие на себя лица.

— Свет наш насущный даждь нам днесь, — декламировал проповедник.

— Свет наш насущный... — повторяли девушки и солдаты.

— Долой коррупцию, горсовет и кооперативы! — вдруг визгливо закричал чудаков-учитель. Портфель его был раскрыт, он выхватывал оттуда горстями белые бумажки — и они разлетались по залу, как белые голуби. Люди хватали их, жадно пытались прочесть при свете подмышек. Это были какие-то детские сочинения. Учитель еще что-то кричал, но кто-то сунул ему смятый комоч бумаги в разинутый рот...

Все как будто ожидало этой выходки и радостно соскочило с какого-то незримого крючка.

Возле Храма били двух солдат — с азартом.

Энергия толпы неслась вперед и не.

Новая вера распространилась по городу со скоростью внезапной эпидемии. Всем вдруг страстно захотелось света, как будто раньше его не было никогда. Вернее, был, но какой-то ненастоящий, неутрачивающий, нерегулярный, может быть, его подменили. Конечно, подменили. Сами пользовались чистым природным, а нам по проводам давали химический и вредный для здоровья. Оттого мы и сами не светимся. Дайте нам чистый свет, и мы тоже — посмотрите, как засияем. А пока — света, света, любого, какого можно достать, купить и сделать:

— Свет наш насущный даждь нам днесь!

Вечером на улице горели все фонари, даже те, которые прежде не горели. Горсовет сиял огнями, как океанский пароход. Он и приплыл из прошлого века с большими венецианскими окнами, бывшее Дворянское собрание. Там играл оркестр. Видимо, мэр тоже уверовал.

На улицах шумела, двигалась толпа, почти стесняясь себя, своей внезапной свободы. Энтузиасты заваривали нечто вроде городского карнавала.

— Это не Венеция, — говорили о городе прежде.

— А чем мы не Венеция! — говорили теперь, — Каналов нет, но есть канавы.

В окнах показывались разряженные, как новогодняя елка, люди. Они навешивали на себя елочные гирлянды лампочек и включали себя в сеть. Одна старая матрона воткнула лампочки, как бигуди, в седые волосы. Она сидела на балконе второго этажа и снисходительно вещала:

— Мы увидим новое небо и новую землю.

Толпа отзывалась одобрителем гулом.

Вдруг кто-то выстрелил красной ракетой в небо. Ракета эффектно разорвалась, осыпав угольями гуляющих.

Полумонах-полуфилософ, растерянно озираясь, искал в толпе своего товарища. Тогда в храме среди внезапной суматохи он его как-то потерял. Потом его подхватил уличный поток и понес к площади, будто к озеру. Он пытался остановить людей, но его почему-то не желали слушать. Или — собиралась кучка, он старался втолковать им, что надо сначала смыть с себя грехи, духовно очиститься, нравственно об-

новиться... Но люди были возбуждены, глаза их растерянно перескакивали с предмета на предмет, и у них просто не хватало терпения дослушать оратора. «А!» — махали на него рукой и бежали дальше. Все хотели светиться сейчас и вообще — чуда!

Увлекаемый людьми с горечью подумал, что он, можно сказать, идейный вдохновитель всей этой наступавшей новой эры почему-то остался в стороне и что стоит любому самозванцу, авантюристу, обманщику завладеть вниманием толпы — и направить ее агрессию в нужное русло... Он вертел головой, наступая людям на ноги, но человека с золотыми подмышками нигде не было. Унесло! Унесло! Сбежал, подлец!

На площади было много не то пьяных, не то веселых молодых людей со спортивной выправкой, которые, видимо, не знали, что им делать. Зацепит тебя глазом — и не решается, но чувствуется: горячо, опасно.

В толпе неподалеку что-то сверкало — это были вызывающе торчащие девичьи груди: платье было разорвано до пояса, и они двигались, жили, играли, светились под фонарями, будто их окунули в жидкий жемчуг.

— Бог дал мне новые груди! — выкрикивала высокая девушка.

Как в замедленной съемке, заученно двигалась она — и груди ее мелко дрожали — экзотические сверкающие плоды небесные. Молодые ребята в джинсах смотрели на нее, по-детски полуоткрыв рты: неужели, неужели это можно есть, глотать кусками, захлебываться от сладкого сока?

— Подберите сопли, — кричал какой-то дикий человек, — Она святая! Она невинная праведница! Мы пойдем за тобой, Жанна! Веди нас!

— Моя грудь светится! — вопила девушка. — Господь отметил меня!

Полумонах-полуфилософ скривился, будто отведал чего-то очень кислого:

— Тьфу!

Он подбежал к девушке и мазнул пальцем по ее груди.

— Это фосфор, — объявил он, показав светящийся палец, — И я с ней спал.

Девушку тут же забросали камнями, забили железными цепями и гирями. И еще копошилась куча мала на асфальте, к виновнику подошел усталый, небритый человек в кожаной куртке, похожий на шофера, волоча за собой зеленую канистру:

— Так ты говоришь, мы изменимся во мгновение ока...

— Да, да, так и произойдет! — радостно подтвердил полумонах.

— Мы получим золотую плоть?

— Каждый по силе своей веры.

— Мы узрим новое небо и новую землю?

— Воистину так!

— Ты первый, — торжественно произнес шофер.

И не успел никто помешать ему, как он деловито ударил проповедника тяжелым кулаком по макушке. Тот упал, как подкошенный. Человек в кожаной куртке неторопливо вылил на него бензин из канистры, порылся в кармане, достал зажигалку, чиркнул. И — живой факел заплясал, покатился по ступеням городского театра.

— Вот тебе новая земля и новое небо, — произнес человек в кожаной куртке, обтирая облитые бензином ладони.

Пожарники уверовали одни из последних.

— Да будет свет, — сказали они и подожгли здание горсовета.

Оно запылало, как большой факел в бушующем море. В высокие венецианские окна было видно, как по залам метался обезумевший мэр с развевающимися волосами, бурно внутри вспыхивал свет, лопались от жара толстые стекла, выплескивались наружу крутящиеся занавеси, все в пламени, как фурии.

На главной площади уже не танцевали. Уверовавшие раньше стреляли в еще не успевших уверовать. Иначе говоря, ангелы света боролись с демонами тьмы, валялись убитые. Демоны отстреливались из подвалов и чердаков.

Все шло по известному сценарию.

Начинали строить баррикады.

Под шумок грабили и насиловали.

С северо-востока слышался гул. По шоссе к городу двигались танки и бронетранспортеры внутренних войск.

О человеке с золотыми подмышками никто не вспоминал и не помнил.

Испугавшись шума и скандала в Доме культуры, — вообще с самого начала все это ему сильно не понравилось — человек выскользнул на улицу незамеченным. Он шел окольными переулками, втянув голову в плечи, — его уши торчали, как локаторы, слушая шум и гул, — человек забирал все дальше и дальше в сторону, стараясь обойти это громкое, неудобное, пугающее. Он все время держал руки по швам, прижимал их к телу, чтобы не дай бог ни один золотой лучик не привлёк внимания прохожих. Ему удалось добраться домой благополучно.

Он был испуган. Жена его тоже. Они говорили:

— Что только творится!

— Такой тихий был город.

— А я прибежал — и не знаю. Что там, мамочка?

— Говорят, явился какой-то Спаситель.

— Какой Спаситель?

— Который всех спасет. И все увидят новое небо и новую землю.

— Как же он всех спасет, если в городе стреляют пачками?

— Может быть, холостыми?

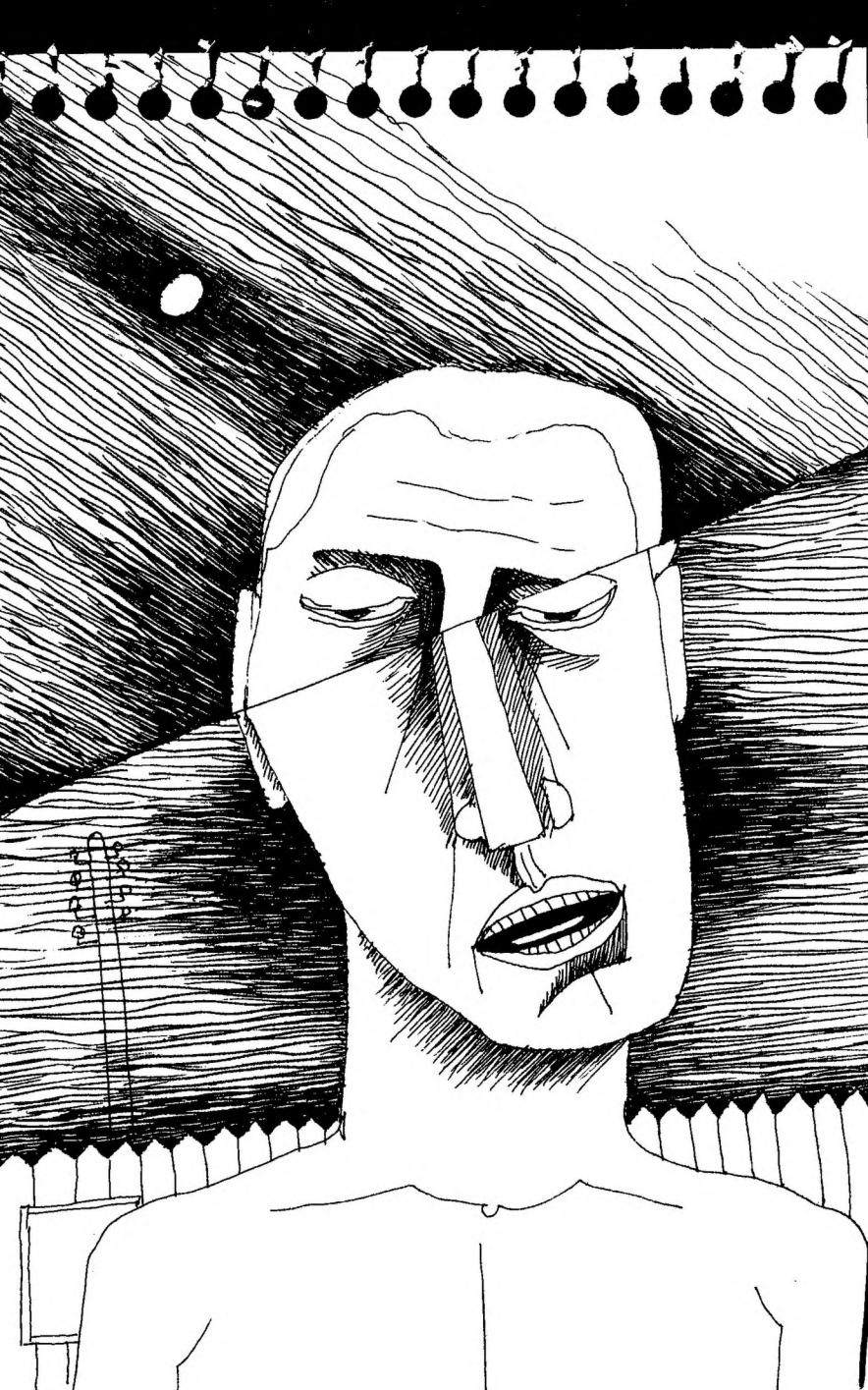
— Вон сосед у ворот валяется.

— Кричат: «Да будет свет!» — а стало совсем темно.

— Выключили электричество во всем районе, точно.

— Мне страшно... Посвети в доме, пусик.

Но под мышками у него было, как у всех, — темнота и мох.



Человек со спины

1

Он всегда уходил. Потом выяснилось, мы жили с ним на одной лестнице, вернее, вокруг одного лифта, дом-то двадцатидвухэтажный. Но почему, когда я выходил из подъезда или возвращался с работы, всегда видел впереди его спину, чаще в плаще, в пиджаке. Плащ был светло-серый, пиджак — в мелкую клеточку.

Так я и запомнил его со спины. Это была выразительная, о многом говорящая спина, если можно так сказать. Например, в толпе я сразу ее узнавал. Широкая, плотная, сутуловатая, она нависала над ее носителем. Она требовала к себе уважения. Пробиваясь в очереди, устремившейся в двери троллейбуса, она так энергично работала локтями и лопатками! Все невольно сторонились. Эта спина была камешком, который нелегко было расколоть. Над чем она склонялась там на работе, не знаю, но мерещились какие-то планы, линии, стрелки, кружки.

Спина была довольно молода, иногда носила рюкзачок, но было заметно, эту спину ждало определенное будущее. Темный, накоротко стриженный затылок был как перец с солью. Время поджимало. Вот почему она была так целенаправленна — моя спина.

Видел неоднократно, спина поддерживала под локоток или обнимала за талию другую узкую округленную спину, обтянутую темным шелком или ситчиком. Посередине линия позвоночника изгибалась волнующей канавкой. Узкая спина была беззаветно предана широкой спине, смуглая шея с крупной родинкой, увенчанная узлом темных волос, клонилась ей на плечо. Но ни лица спутницы, ни самого мне никогда не удавалось видеть. И это казалось очень странным. Что за человек? Все-таки сосед, и всегда со спины. Но однажды...

Но однажды, уж не помню где, во дворе или на улице, я увидел эту спину так близко, как видишь порой стену, захотелось обогнуть и посмотреть с фасада, а какой он? Таков ли, каким я его себе представлял невольно? Каков затылок ведь, таково и лицо, и если сзади плотно прилегающий воротничок рубашки, то спереди, скорее всего, галстук. «Наверно, яркий, крупными цветами или обезьянами», — подумал я. Потому что спина была так уверена в себе, плечи довольно широки, и видно было, как играли мускулы под модной материей в мелкую клеточку, поигрывали, так сказать, выдавая человека широкого и любящего земные удовольствия.

В общем, ускоряю я шаги, но и спина ускоряется в своем движении. Думаю, может быть, случайно. Я еще прибавляю маршу, спина — тоже, локтями мелькает, норовит за угол завернуть. «Ну что ж, думаю, неужели никогда так и не увижу фасад, это, в конце концов, унижительно! Все время он показывает мне задворки, не говоря о том, что пониже спины — такие выпуклые, обтянутые брюками, честное слово, оскорбительно даже!»

Он быстро зашел за киоск, за угол. Я бросаюсь следом, в три прыжка настигаю его. Он недовольно оборачивается...

— Что вам от меня надо? Вы с ума сошли!

Это мне напомнило какую-то любительскую фотографию: снят человек со спины. Кажется, повернешь и увидишь его лицо, а там — белый испод.

Так и я — лица не увидел, ни того, которое ожидал, ни другого, неожиданного, вообще ничего. Передо мной возникло нечто; какие-то черты там, видимо, были, потому что все выглядело естественно. Я даже оглянулся, прохожие посматривали на нас, но без особого интереса. Значит, лицо было. Просто я его не запомнил. Причем не запомнил сразу. И сколько я ни глядел, оно тут же выветривалось. Иначе я объяснить не могу. И говорило оно, лицо — отсутствие лица — что-то такое неуловимое, в общем, понятное, попытаюсь воспроизвести. Представьте себе речь, где все перемешано,

как в борще, и все на равном основании и в одинаковом положении, смысл ускользает, энтропия речи. И голос высокий, пронзительный.

— Молодой человек, что вам угодно?.. Что вы предлагаете?.. почему на лестнице и во дворе?.. Главное, за гаражами... почему за гаражами, я вас спрашиваю?.. И в метро тоже... Тут и девушки и знакомые... А если... предположим... подумайте, кошмар... Конечно, вас можно понять, я вас понимаю, все вообще понимают друг друга, но этого я не могу понять, никто это не поймет и не рассчитывайте понять, это сегодня невозможно... прежде да... «в те времена» прежде прошло, минуло, уехало, улетело, эмигрировало, амнистировано, неподсудно... В те времена вы имели бы полное право в любом месте и за гаражами: «пройдемте!» побеседовать, договориться, признание, какое признание? это ваши знакомые? это наши знакомые? да они, эти наши знакомые, нам вообще не-знакомые, и никогда не знакомились, может быть, они знакомились, а мы, то есть я, не знакомился принципиально.

— Вы думаете я «оттуда» и слежу за вами?

— А почему каждый раз всегда по пятам, по следам, по пути, я не вижу, даже когда не по пути, все равно по пути. И светофора не ждете, служба такая, светофоров не ждать, все равно не оштрафуют.

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Просто так получается, что я вас всегда со спины вижу.

— А я вас, простите, извините, спиной слышу, вижу, осязаю, узнаю постоянно.

— Чуткая у вас спина, и не подумаешь. А мы ведь живем на одной лестнице.

— Один, два, три, четыре, пять... (Тут он углубился в подсчет.) Если подсчитать разные походки и припрыжки, сто двенадцать человек живет на нашей лестнице, справа квартира номер 94, а слева уже 96, моя как раз посередке.

— Понятно, 95, — говорю.

— Не то чтобы 95, на моей двери номера нет.

— Понимаю, понимаю, это чтобы не привлекать к себе внимания квартирных воров.

— Вот именно, — и даже улыбается непонятно чем.

— И в то же время, — говорю, — чтобы отличаться от остальных жильцов. У всех номера, а у вас ничего, — говорю, стараясь быть любезным.

— Видите ли, здесь вы не совсем попали в точку. Не вообще ничего, а след от таблички с номером.

— Вот именно, я понимаю, это вас и отличает, делает, можно сказать, неуловимой личностью.., — Тут он быстро перебил меня:

— Это замечательно, что «личностью», что вы так сразу все поняли, редкий случай, удача, можно сказать, вообще никто не понимает, что «личностью», не только в нашем доме, говорят, спина какая-то, а я ведь своей спиной не хвастаюсь, на работе тоже, все в спину мне норовят неприятное сказать, небось так боятся...

«А куда, — думаю — тебе говорить, если не в спину?»

Между тем продолжает, да так легко, мелькая быстрыми улыбками:

— Удивительно, что вы меня понимаете, нам надо общаться, нет, не просто общаться, не грубо, размахивая руками и дыша друг другу в лицо, а так, касательно, будто нечаянно, будто не замечая друг друга, общаться экспромтом, не дружить домами, все время обоняя запах чужой несвежей квартиры, а так, по-светски, случайно встречаясь на лестнице, на улице, где много красивых женщин... Рад познакомиться, рад, рад, рад...

Он еще бормотал, щебетал по-птичьи, обдавая меня безликим радушием. И уходил, ускользал. Я не уловил, когда он повернулся снова ко мне спиной. Но при виде этой в клеточку спины мне стало легче, все-таки что-то определенное.

3

Конечно, в глубине я несколько огорчился, что мой новый знакомый подумал, будто я слежу за ним. В следующие дни, где только ни завидую его спину, сразу отворачиваю, другой дорогой иду, хоть мне туда и не нужно совсем.

Но однажды пасмурным утром, когда не поймешь, утро это или вечер, и вообще предстоит ли день, заметил в про свете уличной двери, ее — широкую, выплывающую из подъезда, как камбала. Задержался. Не спешу выходить. Подождал две минуты, распахиваю дверь, а оно тут как тут, безликое, мелькающее, и на птичьем языке говорит:

— Что же вы, как же вы, куда же вы? Избегаете, уходите, убегаете, манкируете, можно сказать...

Я растерялся.

— Что же делать, — говорю, — вы все время впереди. Подумаете еще, что преследую.

— Но это вы — последний, крайний, кто за вами, никого, привыкли...

— Да, — говорю, — проклятая интеллигентская привычка.

— А вы посмейте, обойти, обогнать, обмануть, обдурить, объегорить меня, время, начальство, настроение отличное, лично я не обижусь, дерзайте...

— Если ничего не имеете против, тогда... Тогда я впереди вас пойду. Надо посмотреть, почувствовать, как это — быть впереди.

— Понравится, еще просить будете, не идите только слишком быстро, мои башмаки пожалейте...

— Ну, я готов. А вы как?

— В фарватере...

Трудно было первый шаг сделать. Само сознание, что ты — первый, а за тобой, может быть, не только этот безликий, а множество таких, целая партия, поколения... ответственность. Тут я о своей спине и подумал.

— Ну как я со спины?

— Ничего, пиджак помятый, плечи худощавы, но ничего, попривыкнете, посолиднееете... У меня друг не такой спиной начинал, вообще горбатый был, походил, походил впереди — задние, никакого горба, говорят, не замечаем, — или выпрямился, хотя навряд ли, когда хоронили, ничком положили в гроб под высокую крышку...

Это он говорит в спину и вслед мне топает. Я иду, стараюсь не сутулиться, плечи назад отвожу, чтобы спиной шире казаться. Странное дело, думаю, такая солидная статья и та-

кой тонкий высокий голос. Впрочем, встречал я таких — мужиков с Украины. Я иду, и он идет. С удовольствием, чувствую, идет. Может, он всегда мечтал вторым ходить, вот и голосок тонкий, не начальственный. Спину свою расправить стараюсь и, кажется, она у меня шире, и сам я постарше.

— Ну, как, — говорю, — за моей спиной?

— Ничего, — говорит, — как за каменной стеной, если, — говорит, — пуля — защитит, а снаряд — так и так дырку сделает...

Я обиделся.

— Я, — говорю, — не танк. Пожалуйста, я и уступить могу.

Голосок сзади заметно подтвердел, вроде как стальная проволока стал.

— В жизни надо быть танком. Люди уважают танки, танки принимают всюду в обществе, танкам дорогу уступают, в конце концов. (Вон как заговорил!) Любая женщина под гусеницы ляжет. Дави, скажет, меня, не жалко. Танком еще суметь надо быть. А ты: «Не танк»!

Я иду, он — следом да еще учит меня первым быть. И нравится мне это, вот что я скажу. До того увлекся своим первенством, что сам не знаю, куда иду. Сначала дома были кругом обыкновенные и тротуары побитые, потрескавшиеся. Мусорные баки под арками, пьяный валяется, никуда за мной не идет, чужак. А потом дома стали поновее, улицы попрямее и тротуар поровней. Старые дома, правда, попадают еще, но в лесах, кисеей завешены, тут и там медными ребрами новая крыша торчит, ремонтируются. И оптимизма во мне прибавляется. Лучше жить людям становится, вот и строиться начали. А тут, как нарочно, солнце навстречу да полной улицей. Улица, смотрю, прямая, дома по обеим сторонам свежевыкрашенные, всех оттенков желтого и белого, как из терракоты. Это оттого, думаю, что я впереди всех иду. И чудится мне, все прохожие не просто идут, а за моей спиной. В меня закатное солнце бьет, а их не слепит. Ну, думаю, повезло вам, что я впереди иду.

Обернулся я, а сзади идут, идут — и все закатом обезличенные, со света в глазах темно.

И я иду, иду, марширую. И все за моей спиной, как за броневой плитой, маршируют: раз-два, раз-два.

Только снова потускнело, и не поймешь, то ли вечер, то ли еще не рассветало.

Голосок за спиной: «Куда ты нас завел? Оглянись».

4

Поглядел я вокруг. Пустыри. В беспмятном сером небе шаткие тонкие мостки над канавами. На земле битые кирпичи, голое стекло, всякий мятый пластик бесстыдных форм, а жестяных банок — тысячи. Будто была здесь битва и всех пивными банками поубивало.

И никого за мной нет. Только безликий маячит, дергается, будто от смеха.

— Спина у тебя, как у быка, — И щебетать перестал, — Ну, куда зашел, знаешь? Предводитель. Вождь.

Подозрительно мне стало. Как-то так ловко у него получилось. Как в шахматах. Предложил мне отчаянный ход. А я согласился. И угодил в ловушку. Поставил меня первым, и зашел я неизвестно куда. А сколько людей завел? Тоже неизвестно. Может быть, все по дороге погибли. Кроме безликого.

— Ты что за мной увязался? — говорю.

— Я — за твоей спиной.

— Как отсюда выбраться, хоть знаешь?

— Я за твоей спиной.

—

— Понял я, тебе следить за мной приказали. А я-то, дурак, иду впереди, иду... Давай лучше разбежимся по-хорошему.

— Я за твоей спиной.

Вот ничтожество, блин, и лица-то порядочного не имеет, а заладил: «Я за твоей спиной». Прилипала или еще хуже. И так мне захотелось от него отделаться, убежать, забыть. Как припущусь по каменистой земле! Бегу, будто ноги меня по воздуху несут. А он — следом. Не ожидал, приотстал сначала. Однако, вижу, догоняет.

Я — по откосу, он — по откосу. Внизу — асфальт, широкое шоссе. Грузовики, машины, цистерны — чирк, чирк. Бoko-

вым зрением вижу, коляска милицейская на обочине. «Сейчас, — думаю, — сдаст». И между машинами несусь, как заяц. Пронесло, перескочил на другую сторону.

Слышу, сзади такой противный длинный скрип. Лязг, тишина. Стою с краю асфальта, мокрый кусок шлака созерцаю, не спешу поглядеть. И так знаю.

Вот он лежит плашмя на животе, пиджак в мелкую клеточку, широкий затылок, почему-то седина сразу проступила. И темная лужа по гудрону растекается, по чуть заметной ложбинке. Жалко мне его стало. Хорошая, какая-то добротная, внушающая доверие спина; вспомнил я, как за ней шел, и все было хорошо и нормально. Проклятое любопытство сгубило. И зачем он за моей спиной пошел, побежал? Ведь я впереди быть непривычен.

Между тем и шофер, и милиция, и еще подошли — кучка образовалась посредине шоссе.

— Переверните его на спину, — говорят.

Двое сзади и перевернули. И сразу какое-то смущение там у них произошло. Милиционер посмотрел вниз и быстро перевел взгляд на шофера.

— Ты зачем с неположенной скоростью ехал?

А тот, шоферюга, чумазый такой, с цистерны.

— Под уклон, — говорит, — бандура тяжелая.

— Выпишу тебе штраф или акт составить?

— Выписывай.

А тут которые позже подошли голоса подают.

— Что, — спрашивают, — кошку раздавили?

— Нечего вам здесь делать. Идите к своим машинам. Да побыстрее.

— Чудак, чего тормозил?

— Гудрон скользкий, мокрый. А тут под уклон.

— Вот и влип.

Я заранее это предчувствовал. Как перевернули его на спину, на асфальте только слабое мельтешение, будто рябь на воде, — и ничего. Пусто.

Камни

1

Мы все лежим на своем месте, когда штиль.

Весь наш пляж — это сад камней. Берег как соткан из соцветий и на первый взгляд похож на старинное белое кружево.

Действительно, если присмотреться к нашей россыпи, то обнаружишь, что мы лежим не как попало, а группируемся гнездами, соцветьями камней. Это наши обширные семьи. Ближе к центру семьи располагаются большие камни — это старшие, а между ними с края — помельче, всякая шушера, это младшие камни.

Пожалуй, мы напоминаем стадо морских котиков. В середине возлежат матерые камни, возле теснится молодняк. Нет, мы не размножаемся, как рыбы или животные. Не увидишь среди нас и таких камней-черепах, которые бы выкладывали на песок кучки маленьких белых камешков. (Хотя почему бы им не быть? Но, во всяком случае, не на нашем пляже.) Не разбрасываем мы и семена далеко вокруг, как это делают растения, чтобы выросли из них потом причудливые камни и скалы. (Хотя почему бы им не вырасти? Но, может быть, где-нибудь на другой планете.) Мы, камни, рождаемся иначе.

Когда-то мы были нечто единое: осадочная порода, вулканическая лава, геологический слой. Но постепенно огонь, море и время раздробили нас, обкатали и положили серобелым пляжем с краю моря.

Мы постоянно тремся друг о друга, нам помогают в этом волны и ветер. И поскольку времени в нашем распоряжении сколько угодно, мы тремся и тремся — разве что не хрюкаем, пока наши бока не станут гладкими, как отполированные. Со временем мы окультуриваемся. Лица наши становятся округлыми, и на них проступает, осмысливается античный узор.

Некоторые нестойкие или с какой-нибудь порчей не выдерживают – рассыпаются, превращаются в песок. Не надо жалеть о них. В сущности, песок – это тоже множество блестящих крошечных камешков – кварцитов. Вроде того что муравьи и тли – это слоны, тигры и крокодилы в миниатюре.

Вам, людям, конечно, трудно признать свое родство с тлями и муравьями. Но мы рады тому, что песок всюду окружает нас и поддерживает своей родственной средой, что мы все-таки не такие мелкие, как песок.

2

Здесь, у моря, люди издавна не очень церемонились с нами. Иногда набирали в корзины большие камни, чтобы сложить очаг. Много позже уносили с берега ведра камней, чтобы посыпать дорожки возле дома.

Черпали нас и самосвалами, чтобы превратить потом в цемент и гравий. Некоторые пляжи свели на нет. Хорошо, что мы, камни, по природе своей не мстительны. Иначе как-нибудь в жестокую бурю разом сорвались бы с места и засыпали каменным градом города людей, чтобы даже потомки не отыскали.

Мы покорны своей судьбе. Мы всегда спокойны. И если вас ударил камень, вас ударил не камень, а рука, схватившая камень.

Но есть среди вас и безвредные, те, что сидят и ходят вдоль моря, как тихо помешанные – кланяются прибою. Они ищут среди нас красивые камни с огоньком. Выхватят порой из волны что-нибудь блеснувшее, а оно тихо угасает на ладони. Вот тебе и огонек. Как мы смеемся тогда над таким неудачливым охотником.

Есть женщина, она только для того и приезжает, чтобы сесть на корточки у края волн и копать в камешках. Это для нее, говорит, счастье.

Некоторых из нас люди увозят с собой в далекие города, помещают в коллекции. Есть целые Дворянские собрания камней.

Голубоватые яйцевидные халцедоны, розоватые аристократы — сердолики, местные медово-золотистые яшмы, даже зелено-полосатые трассы — мы лежим в старинных шкапулках из карельской березы, просто в коробках из-под сигар. Изредка нас показывают с гордостью: «Этот — лягушечка, а этот — в рубашечке», — «Неужели сами?» — «Ходила вдоль моря и кланялась прибою. Что-то еще осталось, но мало, мало». К нам наклоняются толстые любопытные носы, к нам приближаются внимательные глаза, хлопающие мохнатыми ресницами, еще более страшные за выпуклыми стеклами-окулярами. Раскрываются оштукатуренные красным растрескавшиеся губы, показываются ряды острых зубов, и из темных провалов вырываются возгласы восхищения. Нам — диковатым, круглым, окатым — боязно с непривычки, как будто всех нас сейчас гости схватят горстями и начнут с аппетитом разгрызать, как драже. Мы бледнеем, стараемся не выделяться. Сейчас мы серые слегка подкрашенные стеклышки в коробке.

Но вот гладкие горячие пальцы начинают нас поглаживать, перебирать. И, поддаваясь магической ласке человека, этим скольльзящим упругим подушечкам, мы постепенно проясняем ликом, начинаем улыбаться. Мы нежимся, как домашние кошки. Каждый становится совсем особенным, неповторимым. «Нет, нет, такого еще никогда не встречалось. Это жемчужина вашей коллекции». И тогда мы гордимся собой, будто мы ордена, которые Бог выдал отдельным людям за усердие и прилежание.

3

Мы вообще любим человеческие руки. В серебряной оправе мы любим украшать женские пальцы — и тогда мы прекрасны. Нами любят любящие и любовники. Будто тайная кровь бежит по нашим жилам, мы розовеем и живем. Мы впитываем в себя желание нравиться, магнетизм и страстное волнение наших хозяек, юных или пожилых, все равно. На иной благородной сухой старческой руке мы играем потаенным огоньком с особенным удовольствием: агаты и топазы.

Хранители притягательной силы. Источники тайной магии. Подними любой камень на пляже, сожми и поддержи в руке. Сначала будет приятно холодить ладонь, потом камень согреется и станет почти неощутим, затем все горячее и горячее. И тогда ты почувствуешь: токи — они текут в тебя из камня, как будто отдают тебе силу и знание. Да, да, ты получил зашифрованное послание из начала начал, которое, надеемся, расшифруют твои гены. Мы могли бы сказать любой плоти, любому дереву: «Мы одной крови — ты и я». Но мы молчим...

Нет, этим не ограничиваются отношения между нами и человеком. Иногда и простые камешки — те, что с узором, или поцветнее, поглаже — увозят в далекий северный город. Там кладут в стеклянную вазочку или в тарелку, наливают туда воды из-под крана. И ставят — обычно на подоконник. Мы снова начинаем сиять в зимнем недолгом солнце, в электрическом мертвом свете. Какой-нибудь (небольшой) ребенок, забравшись с ногами на стул и подперев кулачками подбородок, созерцает нас глазами, блестящими, как камешки.

И мы смотрим на него.

Протянулась маленькая ладошка и зачерпнула несколько нас. Мы знаем нашу игру — затеряться где-нибудь в темных углах квартиры и ждать, затаясь. А затем попасться совсем некстати маминую пылесосу, пусть проглотит тебя — и уже тогда загреметь! И греметь, грохотать в его железном нутре. «Откуда этот камень? И как он сюда попал?» — вынут и выбросят в окно. Шпок! — об асфальт и запрыгал. А живые камешки — детские глаза — смотрят и радуются.

4

Некотрые люди очеловечивают нас. Вырубают из куска мрамора или известняка (он помягче) тело или лицо. Женский торс выглядывает из камня, белея всем совершенством — думаете, женского тела? — нет, того же камня. Мы камни, расставленные в новых храмах — музеях — вызываем высокий восторг знатоков и поэтов. В любой каменной глыбе за-

ключена Афродита или Давид, надо просто суметь вызвать их оттуда. Но, может быть, зря в мастерской раздается характерный стук стального резца по камню, отлетают острые кусочки сахарного мрамора, в воздухе толчется белая пыль... Мы, камни, таим в себе миллионы еще неведомых ликов и существ... Дело времени и обстоятельств, как и когда они выйдут оттуда. А если даже не выйдут никогда, все равно умеющий видеть — видит.

Нельзя сказать, чтобы сами мы, камни, не имели лица и некоторые из нас не были личностями. Конечно, множество множеств из нас попали в камнедробилку безликим гравием и превратились в бетонные плиты или легли на дорогу под жирный горячий асфальт.

Но тот зеленый седловидный грушевидный голыш трасса, который много лет лежит на письменном столе автора (и автор это может подтвердить), — он и рисунок и личность. На «лицевой» стороне камня белый узор рисует пенные волны Хокусая, на другой стороне белеющие полосы гладко ложатся на плоский берег — штиль.

Хозяин нередко, задумавшись о чем-то, берет голыш в руку и разглядывает его... «...И станет мне молодость сниться, и ты как живая — и ты...» Грустный камень. Он всегда грустит, потому что напоминает о радости. Камень помнит молодость автора, когда бежали, любили, пили, плясали голые, стройные, как на античной стершейся фреске. А теперь он видит, как прозаически стареющий автор, стараясь удержать в памяти клочки романтических воспоминаний, медленно переваливаясь, катится эдаким поседелым валуном под уклон.

...И все-таки — вон стрекоза трепетным блеском слюдяным — она присела на камнях, на пляже. Вижу: белые и серые окатыши, в блеске крыл знойный круг, закружились. Крупный голыш, на который легла ее чуткая тень, гордо поддерживает стрекозу, как тоненькую балерину — танцовщик. Выше в живой синеве заплясали невидимые эльфы... И там, дальше, в совсем истончающемся мире — отсвет наших забав... Эфирные танцы камней...

Продолжая разговор о своеобразии наших профилей и характеров, нельзя не обратить внимание на великое разно-

образии таковых. Одни из нас — гладкие, круглые, как пасхальные яйца, другие — какие-то искривленные злобные уродцы, есть и конгломераты совсем несоединимого: твердого и крошащегося. Ноздреватые губки или пористые носы пьяниц. Указующие персты. Расшлепистые губы и упрямые подбородки. Продырявленные уши африканских негритосов и совершеннейшие улитки. Чье-то мокрое белье, вымытое, отжатое и окаменелое. Каменные макароны и фарш. Седла, троны, папские тиары. Все формы, какие только можно встретить, и все фантазмагорические облики, которые только можно вообразить. Кроме того, любой приморский пляж — это музыка. Это настоящая каменная музыка.

5

Время. У нас свое время. Это у вас, у людей, «время разбрасывать камни», «время собирать камни». А у нас одно время — время камней. И оно идет для нас правильно: не скоро, не медленно. И делает с нами то, что с нами должно совершиться. У нашего времени лицо гладкого серого камня.

Века, тысячелетия проходят для нас день за днем, ночь за ночью. То нагревает солнце, то охлаждает ночь. Шлепок волны повернет то на один бок, то на другой. И под вечными звездами старшие камни внушают младшему поколению, которое, между прочим, никогда не вырастет и не состарится, твердые правила жизни уважающих себя камней.

«Во-первых, — говорят они, — лежи спокойно. Если поднимут, не сопротивляйся. Помни: камни падают всегда вниз. И ты еще можешь упасть, как это не раз бывало, если не на затылок, то на ногу потревожившего твой покой.

Во-вторых, в какую бы несвободу тебя ни употребили — положили в основание стены или заставили перемалывать зерно, помни: время работает на нас, на камни. И стены разрушатся, и мельница вокруг развалится, лишь ты будешь спокойно греться под солнцем.

В-третьих, в каком бы положении ты ни лежал, будь доволен своим положением. У тебя есть преимущество перед людьми — ты можешь ждать вечно. Смотри в небо: может

быть, ты еще узришь Лице Бога Живаго, то, чего не узрит никто».

А ты, автор, думаешь, мы всегда молчим. Наше молчание лишь для непосвященного, точнее — для немзыкального уха. Слушай нас в прибое и в звоне полудня. И вот что мы тебе скажем, умудренные камни: человек, посмотри на свою подругу. Загорая и плавая с тобой, она стала смуглая и гладкая, как морской камень. Ты проводишь рукой по ее спине и чувствуешь желание приникнуть к ней, прильнуть, как мы, камешек к камешку. Лежать бы вам у края воды вечно. Вы хотите быть похожими на нас, но вы слишком непоседливы. Вдруг, непонятно почему, вы разлетаетесь в разные стороны, будто вас запустили из пращи. Судьба — какой юный неопытный камнеметатель порой! Но вы уже разлетелись, вы далеко друг от друга. Разлука причиняет вам страдание, но вы ничего не можете сделать, разве что при встрече причинить друг другу боль. Как, впрочем, и мы, камни.

6

Нет, не одни вы испытываете неудобство, смятение и ужас. Есть и в нашей жизни камней беспомощность и страх, когда налетает морской шторм. Ночью весь наш каменный покров на берегу начинает шевелиться. Сначала набегающие волны захватывают мелочь, играючи утаскивают ее вглубь. На смену из глубины выносит новые пласты песка и камней, этакая неразбериха, толкучка. Нас бьет, колотит друг о друга, как в настоящей камнедробилке. Мы народ страждущий, ради чего, Господи! Почему каждый теперь помеха другому, хочется выпрыгнуть, выскочить, но мешают, не дают, каждый сам хочет выпрыгнуть — вот и получается, что мы все должны гибнуть, скопом.

Море обретает свою исполинскую силу. Разбегаясь, оно бьет и бьет в берег литой металлической грудью. Скалы трещат. Рушится весь миропорядок. Небо опрокидывается на нас. Все мы, стада камней, сдвинулись с места и побежали куда-то. Испуганные овцы, мы бросаемся туда и сюда. Беспокойные беженцы, прячемся и мечемся в грохоте артилле-

рийской канонады... А когда-то при первой ночной бомбежке столицы расстроенному уму подростка представлялось, что этому не будет конца...

Но все же к утру море постепенно успокаивается, как успокаивается все на свете. Мы озираемся на новом месте. Почти у каждого — новый адрес и новые соседи. По-всюду на берегу еще блещут лужицы. Мы просыхаем под утренним светом, есть о чем порассказать. Каждому камню представляется, что хуже, чем ему, не было никому из окружающих. И он спешит поделиться своими впечатлениями. Вы, люди, слышите при этом легкий утренний шорох. К счастью, новые соседи тоже родственники, новая семья, снова чувствуется тепло и дружелюбное отношение. Во всяком случае, без веской причины никто не встанет и не сбросит тебя с твоего места. Спасибо, спасибо. Мы снова вместе. Старшие камни в центре. Младшие и всякая мелочь между ними и с краю. Соцветия камней, мы греемся на солнце. Лежите, лежите... Спокойно... Спокойно...

Генрих Вениаминович Сапгир

Армагеддон

мини-роман, повести, рассказы

Художественный редактор *Елена Пахомова*

Компьютерная вёрстка *Алексея Осипенко*

Корректор *Сергей Волков*

Текст набран шрифтом *PT FreeSet*

дизайнер *Тагир Сафаев*

фирма *ParaType*

Сдано в набор 3.04.99

Подписано к печати 1.06.99

Формат 60x100^{1/16}. Бумага офсетная

Печать офсетная. Печ. л. 21

Тираж 600 экз.

Литературно-издательское агентство

Руслана Элинина

107005, Москва, Страстной бульвар, 8

«Чеховский культурный центр»

Генрих Сапгир



Черная Дыра – образ небытия, предшествующий у Сапгира всякой реальности и всякую реальность снимающий. Это отдается благом, даже блаженством смерти и благом, блаженством предрождения. Сон жизни – выпадение из бездны, впадение в бездну. Что же жизнь? — Полёт и сон одновременно (название итоговой книги Сапгира 1997 года «Летающий и спящий»). Непосредственно же дан нам в ощущениях калейдоскоп, сквозь который мы ловим...что? Тени ангелов за спиной... Оборачиваемся никого. И опять тени, и опять невидимо за спиной.

Борис Кузьминский, современный критик, написал о Сапгире, что его поэзия всё время меняется, точно надламываясь изнутри.

Я ощущаю Сапгира иначе. Он не надламывается. «Ничто» надломиться не может, он всматривается в тени; в нем нет надрыва и отчаяния, но есть горькая притерпелость к жизни. Жизнь неискромсана, она изначально взвешена в бездне и заряжена таинственной энергией, поднимающей ее к неизреченному смыслу.

А если выше выше всей поляной
Всем слухом подниматься в тишину
То станешь белой бабочкой стеклянной
Иль просто каплей слышащей весну

Бредбери созерцал бабочку с совершенно другими чувствами. Вот там, действительно, искалеченная бабочка пускала под откос локомотив мировой истории. Тут другое. Тут не бабочка все-таки. Все-таки тени ангелов, чующих тень Бога...

Лев Аннинский

Генрих Сапгир

МИНИ-
РОМАН
—
ПОВЕСТИ
—
РАССКАЗЫ

А
Р
М
А
К
Е
Д
А
Д
О
Т

Генрих Сапгир

АРМАКЕДАДОТ

МИНИ-РОМАН
—
ПОВЕСТИ
—
РАССКАЗЫ

«Руслан Элинин»

Генрих Вениаминович Сапгир родился 20 ноября 1928 года в городе Бийска Алтайского края, куда занесло его молодых родителей в поисках счастья. Но вскоре они переехали в Москву, где Генрих Сапгир живет до сих пор. Его духовный учитель с юности Евгений Кропивницкий — русский поэт и художник, основатель Лианозовской школы. Лианозовская школа или группа — это содружество художников и поэтов, сложившаяся в Подмоскowie в 50х годах и исповедовавшая ранний концепт, экспрессионизм и современный фольклор.

В 1948–1952 годы служил в армии на Урале.

В 1953–1960 годы работал в Скульптурном комбинате Художественного Фонда нормировщиком, затем инженером по труду.

С 1959 года живет литературным трудом.

В 1959 году участвовал в первом русском самиздате «Синтаксисе». Затем на выставке художников нонконформистов на ВДНХ в 1975 году, там выставил свои две рубашки, на спинах которых написал фломастером сонеты «Тело» и «Дух». Кроме того в 1979 году его стихи были представлены в известном альманахе «Метрополь», который власть тогда рассматривала как бунт писателей.

Кроме того сделался известен как детский писатель и драматург.